231-14

80 коп.

ИНДЕКС 73274

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1990 И В 1991 ГОДУ ВЫ ПРОЧТЕТЕ В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

"Летопись России: история в лицах" –
новая рубрика "Нашего современника", в которой читателю предоставляется возможность ознакомиться с портретами выдающихся людей России с древнейших времен до наших дней, написанными лучшими современными литераторами, историками, критиками, а также авторитетными православными священниками. Для участия в этой рубрике приглашены Л. Гумилев, о. **Дмитрий Дудко, Д. Балашов, Р. Скрынников,** о. **Лев Лебедев, П. Паламарчук, В. Распутин, А. Панченко, В. Кожинов,** игумен **Андроник Трубачев, Ф. Нестеров, Ю. Лощиц** и многие другие.

Под рубрикой ***"Отечественная мысль"*** –
политические статьи **В. Розанова** из неопубликованной при жизни автора книги "Черный огонь"; "КАРЛ МАРКС КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ТИП" – малоизвестные статьи о. **Сергия Булгакова**; "ПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛУ НАСИЛИЕМ", "ПУТЬ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ", "ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ" (с предисловием **В. Белова**) – труды выдающегося русского мыслителя **И. Ильина**; "НОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ" – лучшая работа **Николая Бердяева.**

Под рубрикой ***"История Отечества: документы и судьбы"*** –
не известные советскому читателю страницы биографии В. И. Ленина – главы из книги Н. Валентинова (Вольского); "КРАСНЫЙ ТЕРРОР В РОССИИ" – книга историка С. Мельгунова – самое яркое свидетельство злодеяний "профессиональных революционеров" в первые годы Советской власти; ПИСЬМА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ ИЗ ЗАТОЧЕНИЯ; "ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ЗЛОДЕЯНИЕ В СВЕТЕ СТАРЫХ И НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ (1918–1978)" – работа зарубежного исследователя профессора **П. Пагануцци,** основанная на позднейших материалах и документах, приоткрывающая малоизвестные страницы екатеринбургской трагедии.

Под рубрикой ***"Зарубежная мысль"*** –
"ТАЙНА БАШНИ СО ЗВОНОМ", "ПРОСЕЛОК", "О ПОНИМАНИИ" – впервые в России публикуются философские эссе одного из крупнейших зарубежных мыслителей XX века **Мартина Хайдеггера**; "ЗАКАТ ЕВРОПЫ" – новый перевод глав о судьбах России знаменитой работы **Освальда Шпенглера**; "СПОР О СИОНЕ. 2500 ЛЕТ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА" – одна из наиболее острых и дискуссионных книг по национальной проблематике, принадлежащая перу известного английского журналиста и исследователя **Дугласа Рида.**

Круг чтения –
в этой рубрике мы обозреваем ведущий журнал русских зарубежных патриотов "Вече", отечественные издания сходного направления – "Литературный Иркутск", "Московский литератор", "Московский строитель", "Вече" (Новгород), "Эхо" (Вологда);
а также израильский журнал "Алеф", "Вестник еврейской советской культуры", "Московские новости" и другую советскую периодику.

…нник, 1990, № 7, 1–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК №7 1990

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№7 1990

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШОЛОХОВА,
ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ



"Почти всем нам известно, что в нашей литературе есть писатель мирового значения – М. А. Шолохов. Но мы как-то плохо отдаем себе в этом отчет...

Если сравнить шолоховский мир со знаменитыми произведениями о расколотом надвое народе, о гражданской войне... то нетрудно убедиться, что здесь впервые вышел в определяющее лицо народ и получил голос. Эта точка зрения в самостоятельной плоти еще не являлась, хотя и присутствовала среди других или угадывалась в запасе".

П. Паливеский.

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

№7 1990

ИПО
«ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГАЗЕТА»
МОСКВА

Содержание

Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректоры **З. С. Гуляевская, М. И. Кононова.**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-76 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией).

Сдано в набор 12.04.90. Подписано к печати 29.08.90. А-00876
Формат 70×108[1]/16 Бумага типографская № 2. Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 21,08. Тираж 465 000 экз. Заказ 1024.

НПО «Литературная газета», 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда»,
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.



ПОЭЗИЯ

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ



ТЬМА И СВЕТ

* * *

Когда сольется воедино
душа с высоким клубом дыма,
приму обличие судьбы,
приму величие равнины,
где на кругах гончарной глины
грибы в раздумье морщат лбы.

Над крышей старого сарая
всю ночь стоит луна сырая,
одна, а рядом никого.

Береза опустила веки
и думает о человеке,
о грустных радостях его.

Я не хочу ни с кем прощаться,
мы все умеем превращаться
(мы превратимся в лебедей —
удел в пространстве одинаков)
и размышлять о жизни злаков,
что превращаются в людей.

* * *

Пора вытаскивать из погреба картошку.
На вербе ввечеру увидел я сережку,
ночь примеряла платье, шелестела мгла.
Пора пойти в стройцех и заказать к лопате
осиновый рожон, а заодно и кстати
подумать о ремонте двери и стола.

Крестом нательным дрозд соскальзывает с ветки...
Да как бы не забыть в пути зайти к соседке
(улыбку превозмочь и расспросить про ночь).
Она живет одна. Весна стучит в окошко.
Пора вытаскивать из погреба картошку,
и нужно ей сказать, что я приду помочь.

МАКАРОВ Александр Михайлович родился в 1948 году в селе Еремеево Тамбовской области. Служил на Северном флоте. Работал бетонщиком, монтажником, плотником. Автор книг стихотворений «Красный мячик», «Излучина», «Светлый час», вышедших в Воронеже и Москве. Член Союза писателей СССР. Студент-заочник Литературного института имени А. М. Горького.

* * *

Нас трое в однокомнатной квартире
(как сотни миллионов в этом мире).
Погашен свет. И с горки-вышины
в окно на санках скатывались сны.

В одном из них —
мальчишка на березе.
В другом — мужчина пашет клин
в совхозе.

А в третьем дед — морщинки на челе.
Как быстро жизнь проходит на
земле!

Печальный ангел мой, ночная птица,
я слышу, звезд грохочет колесница.
Скрипит луна тележным колесом.
Сияет Путь. Мне снится вещий сон.

* * *

Пространство, которое я заселил
красивыми и простодушными
курами,
заполнил пустырник, лопух,
девясил,
а небо укрылось овечьими шкурами.

Старухи, надвинув платки на глаза,
простор подметают
холщовыми юбками.
Когда-то звенели, как медь, небеса,
они над землею летали голубками.

Теперь, как вороны, мятутся они,
свой век доживая
с красивыми курами.
Суровыми нитками тянутся дни,
а небо покрыто овечьими шкурами.

Касатка свистит, выполняя вираж.
Слежу, каменея, за думой летающей.
Студеным порывом наполнен пейзаж
до острого края воды замерзающей.

* * *

Эй! В ночной небосвод прокричишь — не дождешься при жизни
ответа.
Месяц — символ славянского страха — висит на железном гвозде.
Все обманчиво, кроме гуденья и тяжкого шороха ветра,
кроме мысли о сильной руке и тоски о великом вожде.

До людей не могу достучаться — на каждом невидимый панцирь.
Придавило всех время. В песочных часах не осталось песка.
Я впервые узнал, для чего наделен указательным пальцем:
чтоб тебя отослать в никуда и вослед покрутить у виска.

Все, чему научился я в школе, — вмещается в слово «молчите».
Совесть злою собакою будет вчерашний мой день сторожить.
Я хотел бы признаться (держать это в памяти трудно), Учитель,
что по-старому жить не хочу, — не умею по-новому жить.

Здесь по берегу бродят коровы, кусты обдирая рогами,
вместо рек — непролазный камыш, вместо рощ — обгорелые пни.
Но ведь это же мы, это мы натворили, кого же ругаем?
Наше мужество — это признанье, что мы виноваты одни.

Безумный оратор

О чем он, безумный оратор, надрывно кричит в микрофон?
В душе его умер оратай, посеявший ветреный звон.
Крестьянин, Хозяин, который был в грязь под ногами влюблен, —
у старой колхозной конторы о чем надрывается он?

Вернулись в родные пределы из Африки наши грачи.
И, радуясь, снова при деле, прижались к равнине лучи.

Гремят, но никто их не видит, в реке полевые ключи.
Никто из конторы не выйдет, не выйдет — кричи не кричи.

Не слышит никто его голос, не видит никто, что в руке
он держит расхристанный колос, который сорвал вдалеке.
Слова не слова — это зерна, им тесно в душе-колоске,
в ладошку равнины покорно улягутся в дальней луке.

С лицом, от земли потемневшим (в больнице его бы лечить),
в забытом селе опустевшем безумный оратор кричит.
Кричит на рассвете и в полдень, кричит, завернувшись в пальто.
Никто его завтра не вспомнит. И нынче не знает никто.

* * *

К сожалению, это слова. Ты права:
не помогут слова, не помогут слова,
потому не спешила со словом участья.
По зеркальности взглядом спокойным скользя,
глубины водоема измерить нельзя,
водоема, которому имя — несчастье.

Но какое великое множество слов
ты хранишь в голове для собранья ослов,
склонных к лести, и к похоти, и к ожиренью.
Посылаю в слова заключенную страсть,
я хотел бы в твое бессердечье попасть.
К сожалению, это слова. К сожаленью.

* * *

Ты плачешь, и слезы бегут по лицу,
как быстрые капли дождя по листу.
А ночью, когда все больные уснут,
в палате становится тише.
По небу прозрачные тени снуют —
мелькают летучие мыши.

В окне слуховом сеть поставил
паук
на лунную искру,
на радостный звук.
Тебя не заметило время, летя
звездой рукотворной над бездной.
Мать, слушая, слышит,
как стонет дитя,
свернувшись на койке железной.

И чувством трагедии полнится ночь.
Не в силах спасти я,
не в силах помочь
тебя унести за леса и моря,
где музыка, солнце и пенье.
Темно. И не скоро окликнет заря.
И нет никакого терпенья.

Старушка в пшенице

Старушка в пшенице почти не видна.
Тропинка похожа на черную нитку.
Ее протянула от дома она,
конец привязав за родную калитку.

Старушка сквозь время по полю
идет,
есть место во времени зверю
и птице.
Быть может, пространство тропу
не порвет
и время не скосит старушку
в пшенице?

Старушка в пшенице почти не видна.
Укрыла старушку большая пшеница.
Но я по наитию знаю: она,
держась за тропинку,
назад возвратится.

Перевозчик

Как плохо умереть в половодье,
когда водой разбит ветхий мост.
Тут лошадь не нужна,
брось поводья —
на левом берегу наш погост.

Мы лодку, стало быть,
ждем на правом,
на правом берегу черный гроб.
А перевозчик трезв, вопреки нравам,
и быстро, не спеша, к нам он греб.

Раздвинув руки, нас не пускал он.
Бутылку водки взял и стакан.
Тяжелая река не плескала,
последний снег водой истекал.

Хмелея, страх внушал и тревогу
веселый перевозчик Харон.
Но Лету переплыв, слава Богу,
продолжили мы ход похорон.

✦✦✦

Митрополит Иларион

I

Рим чтит и хвалит Павла, Индия — Фому.
Похвалим же и мы по малой нашей силе

родителей своих; не думая о сыне,
хранимом Господом, поклонимся ему.

Чудесна наша жизнь, поскольку нет другой.
И славен город наш, а в граде вашем не был.
Тут русский пляшет дождь под свадебной дугой,
и солнце по дуге по-царски сходит с неба.

Украшен город наш величьем, как венцом.
Ограды и мосты с искусною резьбою.
Народ здоров, но увлекается винцом,
а кое-кто и рэкетом, сиречь разбоем.

Великая страна! Проснись, стряхни свой сон,
возрадуйся и восхвали талант в народе...
Такие вот слова и что-то в этом роде
мне говорил митрополит Иларион.

II

...Ты не умер,
но спишь до общего всем вставания!..
Митрополит Иларион

Забыв науку расставания,
мы спим до общего вставания, —
от Казахстана до Литвы,
от Енисея и до Мурома
поля черны, леса нахмурены,
и кажется, что мы мертвы.

Что никогда мы не поднимемся,
друг с другом крепко не обнимемся,
не встанем в нерушимый ряд.
Забыв науку расставания,
мы спим до общего вставания,
друг другу — друг, сестра и брат.

ПРОЗА



АЛЕКСАНДР СЕГЕНЬ



ПЕТРОВ И ТОПТЫГИН

РАССКАЗ

I

Двоюродный брат моей матери, Михаил Михайлович Петров, служил егерем и дослужился до того, что на несколько лет его поставили заведовать правительственным охотничьим домиком. В то благодатное для моей жизни время, связанное с первой влюбленностью, окончанием школы и оптимистическим вглядыванием в собственное светлое будущее, мы жили в Смоленске, лучшем городе мира, который, если бы не особенные обстоятельства, я ни за что не променял бы на Вильнюс, где обретаюсь и по сей смутный день. И я знаю, что рано или поздно все равно вернусь в свой родной город и вновь буду жить на милом моему сердцу Красном Ручье, подниматься по утрам на Соборный Холм, обходить Крепость и чувствовать, что душа моя крепка и спокойна. Мне только нужно кое с кем разделаться здесь, в Вильнюсе, или найти в себе мужество простить его. И тогда я вернусь. Но речь, однако, не о том.

Итак, мне шел шестнадцатый год, мы жили в Смоленске, а дядя Миша со своей большой семьей в охотохозяйстве, туда, ближе к Вязьме. Мы нередко навещали друг друга, они — нас, мы — их, и постоянно переписывались, отчего всегда находились в курсе всего, что происхо-

---

СЕГЕНЬ Александр Юрьевич родился в 1959 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького и аспирантуру при нем. Работал в журналах «Филологические науки», «Литературная учеба», «Советская литература». Печататься начал с 1988 года. Автор статей о творчестве русских писателей, рассказов, романа «Похоронный марш» (1988 год). Публикатор трактата Н. М. Карамзина «О древней и новой России». Лауреат литературной премии имени М. Горького за лучшую первую книгу молодого автора. Живет в Москве.

дило в наших семьях. Дядя Миша, человек, получивший сельское советское образование, а следовательно, не получивший никакого, тем не менее был в духовном смысле сложен достаточно тонко и любил писать складные и обстоятельные письма, начинавшиеся непременно так: «Многоуважаемая и любимая тетя Катя, сердечная сестрица Танечка, муж ее Виктор и ты, дорогой племянник Андрюша, здравствуйте!» Правда, без запятых. Бабушка всегда просила прочесть ей дяди Мишины письма отдельно. Я, хотя и с небольшой охотой, все же читал, и всякий раз бабушка, выслушав, хлюпала носом, тыкалась лицом в носовой платочек и вздыхала: «Не забывает нас племянницек, дай Бог тебе здоровья, Мишенька!»

Однажды, ближе к зиме, от них пришло какое-то необычайно светлое письмецо. Оно было короткое, Михал Михалыч сообщал, что все благополучно, все живы-здоровы, и вдруг, нарушая свою обычную обстоятельность, словно перебивая от нетерпения самого себя, вклинивал: «И у нас случилась Находка. Находка такая. В лесу я нашел олененка малого и несмысленого. И того олененка я прибрал к себе потому что родителей ему не соискалося. Видать броконер матку ево и прочюю милюзгу пригреб и узял. И мы кличем ее Находкою так что эта Находка теперя живет при нас».

Всю зиму от дяди Миши шли веселые письма о том, как у них живет Находка, как она играет с ребятишками и что она за умница. Не знаю сам, что именно наполняло эти письма радостью и светом, ведь живописателем дядя Миша был никаким, и хотя мысль свою он излагал последовательно и стройно, будто шел неторопливо по лесу, все же, издай те письма отдельной книжкой, читать их будет скучновато. И как бы то ни было, от этих желтых разлинованных листочков, покрытых фиолетово-чернильным кругловатым дяди Мишиным почерком, пахло лесом, свежестью, радостью, вонючими дяди Мишиными папиросками и всем-всем, что наполняло его незатейливый, но весьма разнообразный природный быт.

На Пасху, оставив хозяйство на старшего, Михал Михалыч с женой Татьяной Артемьевной приехал нас навестить и поставить свечку, потому что у них там в округе все церкви были побиты. Нет, в Бога он не верил, говоря: «Бог на небеси, а я усе небеси цыгаркой закоптил», но все же главные церковные традиции уважал, помнил и про Пасху, и про Рождество Христово, и про Крещенье, и про Успенье, и, конечно же, про праздник Смоленской Одигитриевской Богоматери, ведь в нашем краю это едва ли не самый главный в году праздник. В простодушье его называют Игитрией. К Игитрии загодя готовятся, варят много самогона, запасаются продуктами, ездят в Вязьму или Смоленск за хоть какой колбасою, а к самому празднику режут скотину, обычно баранчиков, из которых наделывают разных кушаний. Особенно вкусны сваренные в молоке потроха, хотя, может быть, это лишь на мой вкус. А лучшее блюдо без всякого сомнения — запеченная в печи картошка, в которую к Игитрии никак не жалеют яиц и сливок. Напиваются и наплясываются на Игитрию до упаду, а частушек и песен наорываются до хрипоты. В какой яви, как счастливо я помню себя ребенком, очутившимся во всем этом разноцветном игитриевском хмельном круженье, мелькании цветастых женских платков, топоте крепких каблуков по тяжелому деревянному полу, из щелей которого выскакивает от пляски мелкая пыль и щекочет ноздри приятным запахом. А какими дико смешными кажутся тогда частушки, особенно те, с припохабщинкой, которые женщины, краснея, поют с ужимочками, а мужики басисто гогочут...

Возвращаясь от множества виденных мною Игитрий к той одной Пасхе, я вспоминаю ослепительно солнечный день, и вот как раз сейчас припоминается мне, что дядя Миша вовсе и не ходил в церковь вместе с бабой Катей и Татьяной Артемьевной. Видимо, значение того, что он именовал «вот, приехал у церкву свещщку поставить», ограничивалось для него сопровождением жены, которая одна должна посетить Божий храм. Не знаю, насколько это важно и насколько я, ныне посещающий церковь, причащающийся и исповедывающийся, лучше моего дяди Миши, который, может, ни разу и лба-то не перекрестил, но знаю точно, что тогда он переживал лучшую пору своей жизни: во-первых, он заведовал правительственным охотничьим домиком, куда постоянно ездило смоленское партийное начальство, а главное, изредка из Москвы наведывался член политбюро, за коим тот домик был непосредственно закреплен, так сказать, его охотничья вотчина, а следовательно, как егерь Михал Михалыч находился на завидной ступени общественного положения; во-вторых, жил дядя Миша крепкою семьею и хорошим хозяйством — здоровая и неиссякаемо трудолюбивая жена, четыре славных сына и одна, столь же неленивая, как мать, дочка Люда; полный двор живности: конь, корова, овцы, козы, свиньи, куры, утки, собаки, кошки; и в-третьих, венцом всему, — Находка. О ней только и было разговору. Каких только комических случаев не произошло за целую зиму, пока из смешного олененка Находка превращалась в юную и стройную косульку.

— Юрка, малой, малой-то наш, Гудоня, тот уже на ёй ездить, уже ездить. Уже уверхом на ёй, уверхом, — расплываясь в улыбке, говорил дядя Миша, сидя у нас на кухне и чадя папироской, хотя «Прима», сорт, предпочитаемый дядей Мишей, вовсе и не папиросы. Просто для него не было разницы, что папиросы, что сигареты, все едино — «Дай папиросочку», «Где там мои папироски?» И кажется, воняли они у него в сто раз хуже, чем у других людей, но тем не менее вонь эта была настолько неразрывна с дядей Мишей, что, сколь ни трудно это объяснить, она уже вовсе и не была вонью.

— Ну, Христос воскресе, племянницек! — И целуешь это губастое дяди Мишино лицо, губы слюнявые, как у теленка, горько пахнет табаком, а все равно — родное.

Через пару месяцев после их пасхального посещения к нам приехала сестра Татьяны Артемьевны, глухонемая тетя Маня. Ей нужно было говорить прямо в лицо, чтобы она понимала. От самой же от нее как от рассказчицы, разумеется, толку чуть. Пообедав с нами, она сразу же и уехала, оставив от Петровых посылку. В посылке оказалось килограммов семь-восемь мяса и записка: «Многоуважаемая и любимая тетя Катя сердечная сестрица Танечка муж ее Виктор и ты дорогой племянник Андрюша здравствуйте! Присылаем вам нашу Находку. Кушайте наздоровье. У нас все хорошо. Все живы здоровы чего и вам усем желаем».

2

Вскоре мы к ним поехали — я, мама и бабушка. У меня начались последние школьные каникулы, мама взяла отпуск, а бабушка решила пожить у племянника до самого октября, словно чуяла, что ей не придется больше побродить по лесу, походить за скотиной и птицей. Хозяйство у Петровых выросло еще. К уткам и курам добавились гуси и индюшки, да к тому же Михалыч начал разводить пчел, поставил два улья.

Охотничий правительственный домик — это, по существу, целое государство. Чего там только нет! Огромная территория обнесена солидным металлическим забором высотою в три метра, внутри проложены асфальтовые дороги, есть прудик под живописной горкой, где ум, честь и совесть нашей эпохи разваливается после удачной охоты вкушать дары природы и уничтожать алкоголь. Сам по себе домик члена политбюро с виду далеко не отель Ритц, но с другой стороны — в нем есть все, что нужно для отдыха. Там можно посидеть у камина, показать товарищам развешанные по стенам шкуры убитых лосей, кабанов

и оленей, есть чучела подстреленных птиц, есть и отличный бар со спиртными напитками разнообразных марок, и уютная спальня, и отдельный кабинет, и гостиная, и столовая, нет только ванной комнаты, но зато неподалеку от домика расположена роскошная, опять же только изнутри, банька. В подвале дома устроен гараж и еще что-то, чего никто не знает.

Один из углов этого государства отведен для тех, кто здесь живет постоянно, а именно: для егеря Петрова и его семьи. Егерь Петров сторожит хозяйство в отсутствие хозяина и необходим для охоты, когда хозяин или многочисленные подхозяйчики наведываются. У егеря Петрова тоже хороший дом. Конечно, далеко и отнюдь не такой, как дом члена политбюро, но он солидный, каменный, белый и с голубой, жестью покрытою крышей. В доме несколько комнат, а рядом тоже есть банька... Короче, есть почти все, что у хозяина, только в подчеркнуто уменьшенных размерах. Нет разве что шкур на стенах, камина и бара. И гаража нет, и нет еще чего-то, о чем никто не знает. Зато есть хозяйство, скот, и есть даже государственный «газик», проще называемый «козлом», который при необходимости можно выпросить у егерского начальника. Но главное не «козел» и не хозяйство. Главное для егеря Петрова — собаки и охотничья утварь, состоящая из небольшой коллекции ружей, боеприпасов, ягдташей, патронташей и прочего, прочего, прочего. Собаки же живут в вольерах, примыкающих непосредственно к хозяйству егеря Петрова. Это сильные и страшные, но глубоко под шкурой очень добродушные существа. Они составляют племя, имена им даются по составу из имени отца и имени матери и потому нередко звучат довольно причудливо, например, Аска, или Агур, или Ваир. В вольерах у них обычно пахнет не лучшим образом, но уйти, не постояв с полчаса и не поговорив с собачьим племенем, попросту невозможно.

Егерь Петров — незаменимый человек для охотящихся секретарей и их заместителей, он незаменим даже и для члена политбюро, хотя у того и свои ружья, и свои патроны, и он привозит и увозит их всякий раз с собою. Однако по феодально-партократическим законам егерь Петров подчиняется не только непосредственным слугам народа, но и множеству всяких мелких начальничков, главным же образом егерскому начальнику Виктору Семеновичу Лимончику, человеку, возможно, хорошему, но очень уж суетливому и смешному.

Вот и когда мы приехали в то лето, семилетний Юрка Петров первым делом рассказал нам, как самый боевитый в их хозяйстве бяшка Черныш круто боднул Лимончика в толстый зад, когда тот приехал распекать Михал Михалыча за какую-то мелкую провинность.

Конечно же, в тот же вечер мы все узнали и про судьбу Находки, и моя мама, уверенная в том, что не могли Петровы так просто зарезать косулю, оказалась права. Выяснилось, что, когда после Пасхи Михалыч и Артемьевна вернулись домой, вскоре приехал к ним Лимончик и объявил, что Находку придется отдать, потому как не положено. Михалыч попервости воспротивился. «Положено не положено, — сказал, — а для меня Находка все равно что родная». Вспылил он, конечно же, лишь от сильного чувства и сопротивляться властям ни за что не стал бы, но гнев его возымел некоторое действие — полтора месяца Лимончик про косулю и не заикался. И все же в один прекрасный день приехал грузовик с бортами, и двое егерей под командованием Лимончика Находку в кузов, как та ни брыкалась, усадили. Но далеко увезти ее не удалось. Едва грузовик тронулся с места, она заметалась из стороны в сторону, подпрыгнула и, перемахнув через борт, ударилась об асфальт. Поднялась было, но тут же и подкосилась — обе передние ножки переломились у нее от падения с такой высоты. Стала она как безумная биться и кричать, и тогда Михалыч вынес из дома ружье и застрелил ее. Содранную шкуру Лимончик забрал с собой, а мясо Петровы сами есть не смогли, разослали по родственникам. И осталась

от Находки одна лишь фотокарточка, которую в конце зимы сделал старший сын дяди Миши Геннадий. На серой, очень тусклой бумаге — заснеженная поляна в лесу, дядя Миша с ружьем, Славка, Валерка и меньшой Юрка верхом на стройной юной косуле.

До августа я жил у дяди Миши. Про Находку вспоминали иногда, жалели, но, вообще говоря, казалось, что всем уже давно не до нее, столько приятных впечатлений оставило то лето — и рыбная ловля, и вечерние походы вместе со старшими сыновьями Михалыча в ближайшее село на танцы и в кино — с потасовками, ухаживанием за местными кралями, впрочем, довольно безобидным, и многое другое, что наполняет летний деревенский досуг. А днем — сенокос и прикормка лосей, кабанов и оленей. Два раза мне довелось даже кормить лося с руки. Кабаны же звери очень осторожные, и я их лишь однажды видел, да и то из страшного далека. Охотники за этот месяц не приезжали ни разу. Несколько раз наведывался Лимончик. А однажды утром на нас напал цыганский табор. Крикливые цыганки ломились в ворота нашей правительственной территории, бросали камни, покуда Михал Михалыч не шуганул их, выстрелив пару раз в небо из двустволки, предупреждая особо прытких молодых цыганчиков, пытавшихся перелезть через трехметровый забор. Чего они, глупые, хотели? Не знали, должно быть, что это правительственная территория.

Потом мы с мамой уехали домой, оставив у Михалыча бабу Катю. Маме нужно было уже выходить на работу, а я с отцом еще поехал в Крым. Об этой поездке у меня остались самые неприятные воспоминания: на пляже отец познакомился с какой-то Галей из Ленинграда, закрутил с ней роман, а я вдобавок оказался у него в сообщниках, ибо пообещал ничего не рассказывать маме. Спустя несколько лет я, правда, это обещание не сдержал. Но тогда мы еще жили в Вильнюсе, а мама стала женой другого человека, не моего отца.

В октябре дядя Миша привез бабушку. По одному его виду можно было догадаться, что жизнь его озарена какой-то хорошей новостью. И правда. Не успели мы сесть за стол, как он уже взахлеб рассказывал про Топтыгина. Да, настоящий медведь, коих уж очень редко можно обнаружить в смоленских лесах, вдруг объявился в заповеднике, где служил Михал Михалыч. Было ли тогда прослежено, откуда он держал путь, но даже если и так, то теперь вряд ли кто-нибудь из егерей помнит. Очевидно было одно, что медведю территория заповедника полюбилась и он решил остаться тут на зимовку. Из рассказа Михалыча явствовало, что событие это необычайной важности, что оживило и встрепенуло оно всех егерей охотохозяйства, дня не проходит, чтобы кто-то не следил за мишкою, и в любой день егеря знали, где он находится в данное время, разве что только на карте района не отмечали флажком местопребывание косолапого. Еще бы! В кои-то веки такой настоящий зверюга объявился. Ведь пусть и опасное соседство, но оно крепит в человеке какую-то душевную бодрость, ощущение того, что живет человек на земле, а не на обратной стороне луны. Сила могучего зверя словно бы передается мужикам. Встретятся они друг с другом, заговорят про медведя и глубоко в душе понимают, что и они в какой-то мере медведи, а не мухоморы; или случится перед кем-нибудь побахвалиться, мол, эк какой я молодец, пойти разве за мишкой сходить, он сейчас не так далеко, рукой подать, в лесу, что за электролинией, пойти да побороться с ним, каков он.

Разомлев от водочки, дядя Миша сидел у нас за столом, курил свои вонючки и, расплываясь в счастливой улыбке, гуторил:

— Вещером дома сижу, телевизор гляжу, а сам все-таки приятно думаю себе: вот, мол, я тута, а он там ходить по лесу, копошится. Мы же с им тезки получаемся. Он — Михайло Михалыч, и я — Михайло Михалыч. Только он — Топтыгин, а я — Пятроу.

Этой зимой он писал нам письма немного реже обычного. Из них

мы узнавали, что жизнь в охотохозяйстве идет своим ходом, что Михалыч собирается всерьез расширять свое пчелиное ведомство, что у Аски случился невиданный по количеству щенков помет, множество других мелких и крупных событий, среди которых вести о медведе иногда выделялись особенно, иногда шли наравне с другими, но присутствовали постоянно. Топтыгин надежно улегся в берлоге, и не без гордости Михалыч сообщал, что ему одному известно место зимовки мохнатого, и даже делал намеки, будто он заведомо угадывал это место, когда Топтыгин еще только искал где лечь. В одном письме дядя Миша высказывал предположение о возможном продлении рода Топтыгина, только он не знал, где искать подругу и жену своему любимцу.

Можно себе представить, что это за зима была для егеря Петрова! Целыми днями он пропадал в лесу, в окрестностях берлоги, стережа, чтоб не дай Бог не привело какого-нибудь пройду поживиться медвежатинкой, уж очень многие знали о приходе лесного князя и о его воцарении в берлоге. И страшился он — вдруг нагрянет член политбюро да скажет: «Где, Михалыч, твой Топтыгин? Веди-ка меня к нему!» И как тогда? Вести или сказаться, будто неведомо местоположение зверя? Но ведь можно и уговорить, спокойно условиться — он Михалычу медведицу для Топтыгина добывает, а Михалыч ему гарантирует потом каждую зиму одного мишуту в похоть поставлять на убийство. Так-то оно умней будет, чем один раз задрать мохноногого и не оставить от него в лесу потомства. Многое, видно, перечувствовал егерь Петров в ту зиму, покуда тезка его спокойно почивал под толстым снежным одеялом.

Татьяна Артемьевна тоже писала часто. Ее радовало, что Михал Михалыч почти перестал выпивать, но огорчало, что он редко бывает дома, «все своего Топтыгина караулит, ровно ему за то медаль выпишут». Весной Гену забрали в армию, а Топтыгин вышел из берлоги.

3

В конце марта бабушка Катя поскользнулась на углу улицы Реввоенсовета и переулка Реввоенсовета. Она сломала ногу, а в больнице ее к тому же еще и парализовало на правую сторону. Забот с ней стало много. Отец мой почти перестал бывать дома — он завел себе другую семью. Мама все свое свободное время посвящала бабушке. В таких невеселых для нашей семьи событиях пришло лето. Мама безумно хотела, чтобы я поехал в Москву и поступил учиться в университет. Я тоже очень хотел этого, но, кажется, меньше, чем мама. Сразу после окончания школы, поддавшись уговорам мамы, я поехал к дяде Мише, чтобы там, на природе, где меня ничто не будет отвлекать, хорошенько подготовиться. Я к тому же горел страстным желанием сходить вместе с дядей Мишей поглазеть на Топтыгина. На эту Пасху Петровы снова к нам приезжали, но на сей раз не столько чтобы в церковь сходить, сколько чтобы навестить несчастную нашу бабушку. Тогда как-то было не до медведя, и дядя Миша обмолвился о нем лишь несколькими словами. А в письмах потом почти и не упоминал о нем, наверное, думал: до моего ли им теперь Топтыгина?

Я приехал в охотохозяйство превосходным июльским деньком, неся за спиной тяжеленный рюкзак с книгами, вещами и скромными гостинцами. Собаки встретили мой приезд дружным лаем из вольер: одни — радостным, по старой памяти, другие — злобным, по забывчивости или по незнакомству со мной. Дома была только Татьяна Артемьевна — ребята все пропадали на речке, а Михалыч — на службе. Пока она на скорую руку стряпала для меня чего-нибудь перекусить, мы разговорились об их житье-бытье и о нашем, смоленском. Узнав, что я собираюсь поступать в университет, она сказала:

— Ну, тут уж не волнуйси, мы тебя ничёва делать не заставим. Сиди занимайси кажен день.

— Нет, — возразил я, — мне так и ученье в голову не полезет, если я покосить не похожу. И Топтыгина вашего мне ужас как поглядеть хочется. Дядя Миша сводит хоть меня?

— Топтыгина? — усмехнулась Татьяна Артемьевна. — А чаво к ему далёко ходить? Ён нонче уже далёко не живеть.

— Как это? — не понял я. — Пюймали, что ли?

Татьяна Артемьевна молча вытащила из холодильника сверток, развернула фольгу и положила передо мной кусок копченого мяса:

— Попробуй-ка. Только укусного,поди, не доводилось пшшо пробовать исть.

И она рассказала мне, что произошло буквально за две недели до моего приезда.

Все шло хорошо, медведь явно не собирался покидать насиженного места, обосновавшись в вяземских лесах. По окрестным деревням распространялась тревога, что того и гляди косолапый начнет таскать скот. Но стада паслись мирно, никто их не трогал, Топтыгин довольствовался лосятиной. Уже более-менее вырисовывалась его страна, его княжество — территория не так чтобы маленькая, но и не очень большая. Егерям не трудно было следить за его местопребыванием. Лимончик лишь однажды поинтересовался: «Михалыч, что с мишкой делать будем?» — «А чаво ж с им делать? — сказал дядя Миша. — Нехай себе живеть. Прописку ему оформлять не требуетси». Больше Лимончик ничего не сказал, забрал трехлитровую банку самогонки, килограмм меда и больше про медведя не спрашивал. Он всегда брал что-нибудь у Михалыча — то десятка три яиц, то пару курей, то утку. «Одолжи-кз мне, Михалыч, сальца шматочек», — говорил он таким тоном, что слово «одолжи» звучало лишь символически. А как не «одолжить»? Место ведь у Михалыча завидное, а Лимончик — начальник, не понравится ему что — все сделает, но Михалыча места лишит. А Михалыч не жаловался; Артемьевна поворчит на него, а он ей: «Чего ж тут такого! И пшёлка с цветка узятку береть, за то и цветок дале расцветаеть».

И вот в середине июня — приехали.

Глянул Михалыч за ворота, и все внутри оборвалось: четыре черные «Волги» стоят в ряд и сигналят: отворяй-ка ворота! Все-то он сразу понял: приехали ответственные лица на большую охоту.

Член политбюро при всех наглядно Михалыча обнял, так что у того от эдакого счастья в горле сжалось. И многие из приехавших поручкались с егерем Петровым. А один даже сказал:

— Дайте-ка поглядеть на вас. Наслышаны много.

Обнял его, как и член политбюро, и добавил трогательное слово:

— Вот, братцы, на таких еше и держится земля наша. И на сыновьях его будет держаться, и на внуках.

— Ну уж так и на мне... — заливаясь краской, посмеялся Михалыч.

Далее от члена политбюро последовал подарок — ящик шотландского виски.

— Ты виски-то любишь? — хохотнул высокий гость, подмигнув своей свите. И свита хохотнула.

— А чего ж не любить! — хохотнул в свою очередь дядя Миша, понимая, что с ним шуткуют. — Я усё люблю, лишь бы б у глотку лилось.

Ответ пришелся всем по вкусу. Каждый про себя добродушно отметил, что народ наш за словом в карман не полезет.

Пока располагались в своей резиденции, Михалыча временно отослали за ненадобностью. После вызвали. Член политбюро лукаво спросил:

— Михал Михалыч, как у тебя в твоем ведомстве обстановка со зверьем складывается? Доложи, будь любезен.

— Со зверьем-то? А не жалуемси — со зверьем, со зверьем-то не жалуемси мы, со зверьем, — замялся дядя Миша.

— А крупного зверя много?

— И крупного имеем, что ж. Имеем и крупного, как не иметь. Слоноу нету, а щуть помене найдетси, — понимая, что с ним поигрывают, пытался поигрывать и егерь Петров.

— Ну, а, скажем, белые медведи есть? — ерничал член политбюро.

— Белые-то... — поник Михалыч, ибо уже никаких сомнений не оставалось. — Они-то щутощку не у нас.

— «Щутощку» не у вас? — хохотнул член политбюро. — До чего же я, братцы, люблю, как Михалыч это «щутощку» произносит! А еще «щаёк». Михалыч, «щайку» попьем?

— Попьем, — кивал, посмеиваясь, дядя Миша, хотя весело ему не было.

— По рюмощке щайку, а?

— По рюмощке-то? А как же ж! Но щайку! По рюмощке, хе-хе! По рюмощке можно.

Они еще какое-то время вели такой дурацкий разговоришко, покуда члену политбюро вдруг не надоело. Он резко оборвал:

— Ну ладно, Михайло Михалыч, пальца тебе в рот не клади, а значит, дело серьезное доверить можно. Медведя-то давно видел?

— Тезку моёва? Михайлу Михалыча Топтыгина?

— Его са́мого.

— Дак ён же ж ко мне у гости не ходить, у гости.

— Так ты, поди, его к себе и не приглашаешь. Михалыч, побалагурили — и баста. Где медведь сейчас находится — знаешь? Только не крути.

— Какой же ж я был егерь, ежели б не знал.

— Ну так приказ партии и правительства будет такой: готовность номер один, завтра на рассвете тревога, командование операцией возлагается на егерь-маршала Петрова.

Дядя Миша от горя замешкался, задумался, как бы еще подластиться да отговорить члена политбюро убивать Топтыгина, но тот уже увлекся разговором с одним из своих. Михалыч потоптался малость, и вдруг осознание бесповоротности гибели медведя обрушилось на него с такой новой силой, что он качнулся, пробормотал что-то невразумительное, взмахнул рукой и отошел.

И куда он мог бежать? К кому обратиться со своим горем? Кто бы понял его? Кто бы помог? Во дворе ему встретился Лимончик, особенно суетливый вблизи такого начальства.

— Что, Михалыч, завтра мишку пойдем навещать? — спросил он.

— Ну, Виктор Семеныщ! Это... Мне вроде того... Жалко Топтыгина.

— Да ну, брось ты, Михалыч, — ответил Лимончик, положив егерю Петрову руку на плечо. — Такой человек, такие дела делает государственные, а тебе для него медведя жалко?

— Оно конечно, — вздохнул Михалыч, закуривая.

На рассвете пошли за медведем. Дядя Миша еще пытался кое-как отговорить государственного деятеля, вспомнил, что сейчас у Топтыгина и шкура-то хуже, чем какая будет осенью, но член политбюро как-то сразу злобно осерчал и даже нагрубил Михалычу:

— Старый дурак, так твою! А если я до зимы не смогу больше приехать? Что ж, тогда его из берлоги будем поднимать? Драного?

Об одном молил Бога Михалыч, чтоб случилось чудо и Топтыгин исчез. «Хоть бы ты под землю провалился!» — заклинал медведя в своих мыслях егерь. Но как назло Топтыгин оказался именно там, где он был три дня тому назад. Дядя Миша, возможно, и мог бы увести охотников куда-нибудь в другое место, но, во-первых, он уважал государственную власть, какою бы она ни была, а во-вторых, другие егеря тоже знали, где примерно искать мохнатого князя, Михалыч же в первую голову был хозяином семьи, мужем и отцом, а уж потом тезкой Топтыгина.

Топтыгин оказался сильным зверем и, прежде чем пасть, загубил двух псов, вцепившихся ему в глотку, — Агура и Брата. Первому распорол брюхо, а второго вовсе разодрал пополам, прежде чем стрелки успели перезарядить ружья после первого залпа и дать второй. Добил Михалыч Топтыгина сам, ножом. Предложил было члену политбюро, но тот взял нож, приблизился и не решился.

— Нет уж, Михалыч, — сказал он, повернувшись к егерю с некоторой растерянностью в лице. — Ты у нас главнокомандующий егерь-маршал.

И егерь со скорбной торопливостью, какая бывает при одевании родного покойника, присел возле Топтыгина и резко взмахнул тускло блеснувшим лезвием...

Любимец Агур был привезен домой с вывалившимися кишками, но еще живой. Михалыч намеревался сам зашить ему брюхо, но пес тотчас же и скончался. Медведя ободрали не очень-то умело, и член политбюро остался страшно недоволен: «И пулями всего попортили, сукины дети!» Шкуру и верхнюю часть туши он взял с собою в Москву, в тот же вечер укатил, а несколько оставшихся его приятелей всю ночь и весь следующий день пьянствовали, стреляли из ружей в лесу по консервным банкам, поскольку идти далеко и еще охотиться были не в состоянии. Из медвежатины делали шашлык. Позвали и Михалыча, чтоб тот отведал, каков на вкус его Топтыгин. Егерь Петров поначалу отказывался, но его уломали. Он подсел к костру, тяпнул стакан и первым же куском медвежатины здорово подавился, так что думали, не отдышится. Он отдышался, но медвежий шашлык больше есть не стал. Когда гости на другой вечер уехали, от Топтыгина Петровым осталась одна задняя лапа.

4

— Щево ж не ешь-то? — спросила Татьяна Артемьевна, окончив рассказ об истреблении Топтыгина. Я стал ковырять яичницу.

— Медведя-то спробуй, ощень укусно.

Мне неловко было есть Топтыгина, но и отказаться от угощения тоже — ни то ни се как-то. И, честно сказать, примешивалось любопытство. Я взял кусок и попробовал. Надо признаться, мясо и впрямь оказалось великолепным на вкус, жестковатым, но не жилистым, а именно упругим, что придавало особую прелесть. И я не подавился.

— Щевой-то там раскодахталося? — встревожилась тетя Таня и ушла смотреть, что за шум и гам во дворе. Допив молоко, я тоже вышел. Тетя Таня ругалась с цепным кобелем Иртышом.

Он сидел возле своей будки в куче окровавленных перьев. Между передними лапами у него была зажата обезглавленная индюшка. Тетя Таня надвигалась на него с палкой:

— Ах ты ж сволощ такой! Щищас как огрею тебя жердиной!

Иртыш отдал добычу и убрался в свою конуру.

— Паразит едакий! — доругивала его тетя Таня. — Ты, Андрюша, к ему не подходи, ён, пакось едакая, любить ласкаться, а как подойдешь, так и цапнеть. Не пес, а зверюга какой-то!.. Кажись, Миша едеть, — увидела она подъехавший к воротам «козел».

Действительно, дядя Миша вылез из-за руля, растворил ворота настежь, и машина вскорости подкатила к дому. На переднем сиденье спал, уткнув лицо в грудь, Лимончик.

— Андрюшка! — закричал, увидев меня, дядя Миша. Он направился ко мне, но споткнулся и пьяно упал на землю ничком, не успев

выставить руки. Когда он поднялся, матерясь и чертыхаясь, к щеке его прилип куриный подарок.

— Щетвертый день лимонятся, не просыхають, — вздохнула Татьяна Артемьевна.

Через полчаса мы сидели за столом, в кастрюле уже варился индюшачий суп, Лимончик, сидящий на стуле и откинутый затылком в угол комнаты, постепенно начинал подавать признаки жизни, а дядя Миша, угощаясь и угощая меня пивом, скрипел с пьяной улыбочкой:

— У меня, Андрюшка, усё есь, я хозяин бога-атый, хозяин. Мы, Андрюшка, кажен день полы молоком моем, а яйцами блеск наводим. У вас это мастика есь, а у нас — продукт натуральный, продукт натуральный. А вот под обоями у меня, Андрюшка, усё десятками обклеено, под обоями. Десятками! Не веришь — отколупни.

— Мели, мели, Ямеля! — проворчала Татьяна Артемьевна, ставя на стол только что испеченную картошню, благоухающую и красивую.

— Цыц! — стукнул Михалыч кулаком по столу. — Я хозяин!

— Ты, ты, кто ж спорить? — спокойно ответила Татьяна Артемьевна.

— Я хозяин! — снова стукнул он по столу, игриво глумясь.

— Сиди, не стукай!

— Я хозяин! — Снова удар.

— Сиди, говорю, а то щищас я тебе по лбу!

— То-то от, щерт такая!

— А ну тебя к лешему!

— Видал, Андрюшка, какой я хозяин? У меня усё при усём. Хощу трактор покупать. Или снащала осётроу у пруд запущщу, осётроу. У меня тока птищьего молока нету, да и то есь. О, о, шавелитси, шавелитси. Семеныщ! Пиука хощешь?

Лимончик, шатаясь, как только что вылупившийся птенец, показывал, что не может вымолвить ни слова. Михалыч набулькал ему в кружку пива и протянул. Тот поморщился и отрицательно замахал рукою.

— Щево ж тебе? Самогонощки? Щищас. Эй, щерт! Принеси-ка самогонощки Семенышу!

— Сам ты щерт, — обиделась тетя Таня.

— Ишь ты! — заулыбался пуще прежнего Михалыч. — Дорогая и брильянтовая супруга! Сделай божецкую любезность, дай щеловеку опохмел.

От выпитой самогонки Лимончик как будто на некоторое время отрезвел. Закрякал, стал в платок сморкаться, потом меня припомнил:

— Племяша? Н-н-дрей, по-моему? Я по-омню, — погрозил он мне соленым огурчиком, будто помнил и впрямь что-то про меня эдакое.

— Нащальник мой, — сказал мне про Лимончика Михалыч. — Такой грозный! Нос-то, нос-то, погляди, у ево какой! А брови щерные, пощти как у Леванида Ильища, пощти как у ево. Казак! Орлоуский казак! Семеныщ, а Семеныщ! Ведь ты, Семеныщ, яурей.

— Нет! Я орел! Я казак! Орловский казак! — замотал и руками и головой Лимончик.

— А у Орле ж разве казаки есь?

— Есть! Казаки в Орле есть!

— Ты, Семеныщ, на яурея-то и не похож, нет. На яурея и не похож ты. Вот хощешь, голову режь мене, я и то скажу, что на яурея ты не похож ни щутощки! А по мне хоть яурей, хоть не яурей. Яуреи даже, говорять, ущёней нашего, яуреи.

— Они, Михалыч, ученей нашего брата, — подтвердил, хрустя огуречной попкой, Лимончик.

— Поди ж, они самогонку нашу хлестать не будуть. Андрюшка, а хощешь мериканской самогонки? Артемьевна! Там подарок от правительства ишшо остался?

— Какой кляп ён останетси? — откликнулась с кухни Артемьевна. — Учерась последнюю бутылку добулькали.

— До щево ж ихняя самогонка лучшей нашей, Андрюшка! Цвета — как конняк, а укус — щистая самогонка, токо щистая-щистая. И заборщивая — страх! От партии и правительства нашей родины достался мне ее целый яшшик. Щуть бы щуть ты пораньша б приехал! А знаешь, за что мене такая награда родины?

— Михалыч!.. — мыкнул Лимончик, видимо, желая повторить стакан.

— Молщи! Виктор Семеныщ, молщи! А, ты ишшо хощешь? Пей!.. Наградили меня, Андрюша, за то, чтобы я тезку мово, Михайлу Михалыча Топтыгина, им пустил у расход. Танюша! Принеси-ка Андрейке медвежащины!

— Ён уже пробовал.

— Я пробовал уже, дядь Миш. Бросьте вы, мне уже тетя Таня все поведала.

Михалыч развел руками и выдвинул вперед подбородок:

— А куды денисси, Андрей, куды денисси! Щево ж я, партию и правительство свое родное не уважу, что ли? Не, Андрюша, я не Солженисын, не Сахароу, я влась усегда уважу, как мене не горько будеть! — Он стукнул себя в грудь кулаком. — Сам я у партию не лезу и не стремлюсь, там поумённее меня найдутси. Бывають и у их кувырки, у кого их нету. Я вот, скажем, Брежнеу, я так вижу, ён щутощку зауралси, развитого социализма у нас щегой-то не ощень-то много, разве что токо в отдельно узятых квартерах.

— Ну ты ишшо, политик! — одернула мужа Татьяна Артемьевна.

— Молщу, молщу, жонка, молщу! — мигнул ей Михалыч. — Выппем ишшо по щутощке. Семеныщ, ты что, уже кувыркнулси? Андрюшка, сальцом закусывай, сальцом, а хошь, вот грибощкоу... Слыхал ты такой анекдот? Приходит заяц к медведю у берлогу, раз! раз! ему по харе. Косолапый ему: «Ты что, заяц, глумной, что ли?» А тот ему обратно — хрясь по харе! хрясь! хрясь! Ну, медведь тута уже узбеленился и говорить: «Теперя я тебе, косорылай хлышш, потрох по ветру пушшу!» А заяц: «Не, мишенька, урёшь, ты меня и пальцем не тронешь». — «Это пощему?» — «А твоя как хвамилия?» — «Топтыгин». — «А моя — Косыгин». Вот так, хо-хо! А ну-ка, игде там мой струмент?

Дядя Миша подскочил, нырнул в чулан запечный и вернулся со своей гармошкой.

— Эх, гармонь говорливая, ты одна моя подруга милая! Ты одна не подведешь да к другому не уйдешь!

Он заиграл долгий перебор-перелив, потом подмигнул мне три раза подряд одним глазом и запел:

Смейси, смейси громча усех,
Милое созданне!
Для тебя — веселый смех
Для меня — страданне!

5

Две недели, проведенные мною тогда в охотохозяйстве, оказались ужасны. Вроде бы ничего не изменилось по сравнению с прошлым годом — тот же сельский быт, окруженный живностью, та же природа, тот же лес, те же родные люди и тот же сенокос; но ежедневное дяди Мишино пьянство в компании с дурацким Лимончиком испортило, осквернило и изломало все до неузнаваемости.

В августе я отправился в Москву, но поступить в университет мне так и не удалось.

В октябре умерла бабушка Катя, Петровы приезжали на похороны,

и Татьяна Артемьевна горестно жаловалась на мужа: «Пьеть и пьеть, пьеть и пьеть, паразит!» Но на поминках дядя Миша напился в меру, не шумел, ничего такого, только медленно наливался свекольной краскою.

Михалыч с тех пор уже не писал нам писем, ни обстоятельных, ни радостных, ни грустных — никаких. Вместо него коротенькие весточки, в основном поздравления к праздникам, присылала Татьяна Артемьевна.

Примерно где-то в это же время или чуть позже члена политбюро, убившего Топтыгина, сняли с должности и проводили на заслуженный отдых. Вскрылись какие-то его темные делишки, но это по слухам, а так, снаружи, все тихо-мирно: с нахапанным добром — в уютную партийную пенсионную гавань. Он и посейчас жив-здоров, глядишь — внуки его в обозримом будущем будут еще нами править, добивать где еще что недобито.

Незадолго до того, как меня взяли в армию, Люда Петрова приезжала в Смоленск узнавать все насчет поступления в техникум. В ту весну у нее была такая славная пора, когда она только что расцвела как девушка, и мне приятно было походить с ней рядышком по городу, с такой красавицей-сестрицей. Особенно я залюбовался ею, когда она в восхищении застыла перед памятником двенадцатому году. Я и сам тогда впервые обратил на него особенное внимание. Так часто бывает, когда проходишь каждый день мимо чего-то прекрасного и не замечаешь его, покуда кто-то другой не похвалит, не остановится в восторге. А памятник двенадцатому году, тот, что в сквере Памяти героев неподалеку от Донец-башни, и вправду хорош. Высокая скала из розового гранита, на вершине которой гнездо с орлятами и грозная орлица раскрыла крыла, а к ней подобрался античный воин в легких доспехах и шлеме; ноги его, обутые в сандалии, стоят на крошечных уступах скалы; воин — явно отличный скалолаз, что забрался на такую кручу по столь едва уловимым уступчикам; левая рука воина тянется к орлице, заслоняя лицо от ее клюва, а правая, в которой меч, уже почти в гнезде, и огромная птица наступила на эту руку своей сильной лапой, так что воин уже не может вырвать ее из цепких когтей и взмахнуть мечом. Очень выразительный монумент.

— Красиво, — сказала Люда. — Охотник, а сам попался.

Два года я служил в армии, и за это время многое изменилось. Мама нашла себе пару — солидного полулитовца-полуполяка Пятраса Бальчюнайтиса, из-за чего нам пришлось впоследствии переселиться в Литву. Для меня переселение сыграло роковую роль, но это уже тема другого рассказа или даже повести.

Умер Брежнев, и наши дряхлые генсеки стали сменять друг друга, как в калейдоскопе, будто щедринские градоначальники.

Егерь Петров спился, его уволили из правительственных охотничьих домиков, и стал он рядовым егерем в своей родной деревне, куда вскоре переехал с семьей. Хозяйство их заметно оскудело, ни гусей, ни уток, ни индюшек уже не было, исчезли и пчелы. Помню, приехал я к ним как-то в начале мая, спустя год после возвращения из армии.

Татьяна Артемьевна копалась в огороде. Я издалека заметил, как она постарела.

— Здравствуйте, тетя Таня!

— Кто это? — Она заслонилась от солнца, глядя через забор в мою сторону. — Андрейка, ты? Один? А нде ж жана?

— Один я. Здравствуйте, милая тетя Таня!

Мы обнялись, расцеловались.

— Ребята дома?

— Никóва нет. Валерка у совхозе, Юрка у школе, ето... Слаука же ж у армии, Людка у Смоленске, а Генка теперя у Сафонове живеть.

— Чего это он?

— Да... Нашел себе там какую-то мухлю. Ну, пошли у хату. Молоко-то парное не разлюбил ишшо? Не? Смотри!

Дядя Миша лежал за печкой и спал, весь до трусов голый и весь облепленный горчичниками — даже под мышками.

— Чего это он? Болеет?

— Ага, болеет, пропади он пропадом! С утра накирзонилси, а тутова нащальник приехал: иде Миша? А я говорю: кляп его знаеть. Найди, говорить, живого али мертвого, и чтоб щерез щас прибыл. Нащальство там с Москвы на охоту приехало, стребовали его у помощь.

— Какая ж охота? Май.

— А кляп их знаеть. Им что май, что не май — шире разевай. Молока-то налить ишшо?

Она плеснула мне еще парного молока.

— А горчичники зачем?

— Дак они же ж усё у себя утягиваюпь. И эту заразу. А я уж его не впервой так. Ничо, скоро встанеть. Вон уже заворочалси. Ишь кряхтить. Пощуял жар горщищный.

Через час дядя Миша встал, облобызался со мной, угостив меня жутким перегаром, и, вылупив глаза, ругая на ходу за что-то Татьяну Артемьевну, убежал. Я весь день ходил по округе, пугал уток, забрел на погост, где ворочались в весеннем смятении косточки моих предков. Потом пришли Валерка и Юрка, и мы ходили на болото заниматься мелким браконьерством — стрелять уток. Но не убили ни одной. Когда вернулся дядя Миша, все уже спали. Да ему и не нужен был никто. Он пришел вдрызг пьяный, благоухая ароматами коньяка, запахи которого наполнили весь дом, и когда я вставал ночью выпить воды, то имел возможность удостовериться в неизменной щедрости московского начальства.

Утром я слышал, как Михалыч мрачно сказал Татьяне Артемьевне:

— Хорошо поохотилися. Двух лосей забили, кабанчика.

— От щерти! — проворчала тетя Таня. — Пока усех не побьют, не угомонятси.

— Нищего, — сказал дядя Миша. — Скоро Горбащ их за задницы возьметь, тезка мой.

Днем мы с дядей Мишей парились в баньке, а вечером пили бражку, которую он прятал в бане на чердаке.

— Жанилси, — говорил дядя Миша, сидя, положив ногу на ногу, и, улыбаясь, смолил «папироску». — Мужиком стал. Щево ж жану не привез? Хоть бы б глянули, какая. Как живете? Нищóва?

— Нормально.

— Ну давай, наливай помаленьку.

«Помаленьку» затянулось глубоко за полночь. Опьянев, я стал говорить Михалычу о своем отчаянии перед лицом нескладывающейся судьбы, о том страшном, что на всех нас надвигается; слезы потекли из глаз моих ручьями, как это нередко бывает, если я выпью лишнего, — водка плачет за меня. Успокоившись, я и протрезвел немного, пытался не пить больше и теперь уже слушал Михалыча, а он наливался и наливался самогонкой, покуда тоже не захрипел от своего личного отчаяния. Последнее опьянение навалилось на него как-то враз, будто ударило по голове бревном. Михалыч повалился на лавку и, закрыв глаза, бормотал:

— Умираю, Андрюшка! У меня медведь у глотке застрял!

На другой день Артемьевна сказала мне, чтоб я не обращал на дяди Мишины слова никакого внимания, мол, он всякий раз, как напьется, медведя поминает. И к врачу ходили. Тот посмотрел и нашел у Михалыча в горле какую-то незначительную опухоль, советовал не курить вообще или хотя бы не так много, но Михалыч отмахивался, якобы дело не в куреве, а в том, что у него медведь в глотке сидит.

Через полгода егерь Петров умер.

1990

ПОЭЗИЯ



МИХАИЛ ВОРОНЕЦКИЙ

СУДНЫЙ ДЕНЬ

Тишина степей

Моя земля.
Курганы да ковыль.
Вдали хребты
в молочных пятнах снега.
Горячим ветром вскинутая пыль
напомнит век
последнего набега.

Все это тяжким прахом поросло,
давным-давно землею
предки стали...
А нынче май, двадцатое число,
в застойном зное
притомились дали.

Но та же степь
и та же тишина —
бессмертное наследье человека, —
как нелегко
связует нас она
с истлевшими назад четыре века.

По-стариковски сны мои страшны,
железным гулом
заливает уши:
в моих степях
все меньше тишины
и голоса веков
во мне все глуше...

В моей родне умели умирать

В моей родне
умели помирать —
уж так велось из самых
древних буден.

Прадед и дед.
Дядья.
Отец и мать.
О, память! Мы с тобой
их помнить будем.

Как молотила
молотилка дней!
Подвластная строжеющему веку, —
жизнь напирала так,
что все трудней
от края увернуться человеку.

Всегда концы сводившая едва —
зимой в овчине,
а в дерюге летом, —
тянувшая кто в лес, кто по дрова,
была единодушная лишь в этом,
что первой в добровольцы шла она, —
моя родня, — на лесосплав,
в тайгу ли,
в облаву ль на медведя-шатуна,
а в сорок первом — на войну,
под пули...

Мир вам, ушедшим из земного дня?!
Я помню все. Кому какое дело,
что не красно жила моя родня,
зато спокойно умирать умела.

Зона отчужденья

Приверженец слабеющей морали,
я во вниманье много не беру:
попели, погуляли, поиграли —
расплачиваться надо за игру.

За пылкие сомнительные речи,
за всплески необузданной души...
Расплачиваться надо — да вот нечем
и некому. А были хороши!

Рвалась из рук восторженно
двухрядка
и девки поднимали голоса,
а после где попало спали сладко,
сверкала в черных волосах роса.

Любили жен, но отвыкали руки
от топора, от плуга. Сыновья
в войну погибли,
разлетелись внуки
в какие-то далекие края.

И половодья: мокло в огороде.
Стропила падали
и дотлевал плетень.
Не год, не два —
веками жили вроде...

Но как пришел внезапно
судный день!

Теперь здесь зона отчужденья —
зона
моей печали с мыслью об одном:
избушку б сгоношить,
да нет резона,
вода нахлынет —
берег станет дном.

Я в жизнь явился, может,
с опозданьем,
да вот иной масштаб владеет мной:
я думаю, что вечно мирозданье —
как ни стремился б в пропасть
мир земной.

Унесенные ветром

Чужим глаза́м
не так-то просто верить —
я это знаю. Но на склоне лет
не дай вам бог
прийти на отчий берег,
а здесь — ни дома, ни деревни нет.

И я, конечно, мог бы притвориться,
что нет тоски,
что вовсе мне не жаль
деревьев этих с незнакомой птицей
и этих гор, огородивших даль.

Я мог бы
сделать вид, скривясь уныло,
что по земле разъехалась родня,
а не сошла
в осевшие могилы,
к подножию повергшие меня.

Вода шлифует
мраморное лоно
реки, легко смывающей беду...
Стою —
последний
в крепком,
разветвленном
и подчистую срезанном роду.

Я знал,
я их любил,
таких живых...
С курганов смотрят
каменные бабы.
А ветер, сдувший родичей моих,
лишь волосы на мне
колышет слабо...

✦✦✦



МИХАИЛ ВОРФОЛОМЕЕВ



ДУША ЗАТОСКОВАЛА...

РАССКАЗЫ

Путь дальний

Старицыны сняли дом у старой Акулины Матвеевны Воронковой. Сняли не потому, что дом был большой, чистый, с садом, а потому, что кроме Акулины Матвеевны никого в деревне не было. Старицына привезли на «Волге», показали дом. Когда старуха увидела квартиранта, поняла, что жить тому осталось мало. Высокий, худой, с коротким серебристым ежиком волос. Жена Старицына, молодая, черноволосая, вместе с сыном, парнем лет семнадцати, провели его в дом. Его положили в комнату, окна которой выходили в сад. После жена Старицына, Ольга Яковлевна, села в большой комнате с Акулиной.

— Значит, договорились. Деньги за полгода мы даем сразу, — Ольга Яковлевна достала из сумочки пачку двадцатипятирублевок, отсчитав, положила деньги с краю стола.

Акулина, в черном платочке, неловко сидела на стуле и боялась пошевельнуться.

— За присмотр мы вам, Акулина Матвеевна, станем платить отдельно. Степан Иванович некапризный. Ест он мало. Я буду приезжать через каждые три дня. Продукты также... — Ольга Яковлевна запнулась и посмотрела на сына, который бил мух по стеклам свернутой газетой. — Юра! Прекрати, Юра.

Юра послушался мать.

— Ну, что еще?

— Дак одному-то ему как?

— Ему хорошо одному! Он любит. И потом он так меня просил! Ведь его родина тут! Неподалеку была какая-то деревня... Не помню... Ее уже нет. Мы нашли эту. Если что случится... — Ольга посмотрела в коричневое лицо старухи, на котором золотисто поблескивали карие глаза, и неожиданно спросила: — А вам сколько лет?

— Восемьдесят пять... — ответила Акулина Матвеевна так, словно ей было стыдно за свой возраст.

— Мама, поехали! — мотнул головой упитанный сын.

Ольга Яковлевна вскочила и кинулась к мужу.

— Степа! — радостно как на именинах подняла она голос. — Мы поехали! Скоро будем. Жди! — и помахала рукой, как обычно машут детям.

Мать и сын уехали. Акулина продолжала сидеть как сидела. В доме стало тихо, только ходики деревянно и мерно отбивали короткие щелчки. На русской печке проснулась черная кошка Мура. Выгнулась и неслышно спрыгнула на пол. Подошла к хозяйке и потерлась о шерстяной носок. Старуха огладила ее большой, с узловатыми мужскими венами рукой, поднялась.

Как случилось-то, что к ней привезли этого мужика, она и сама толком не разобралась. Приехали неделю назад, поохали, поахали, оставили задаток и укатили. После привезли постель, одежду, а сегодня и самого. И деньги за полгода вперед.

Акулина, испытывая неловкость, подошла к двери, за которой находился Старицын, и приоткрыла ее. Степан Иванович сидел на кровати в нижнем белье. Лицо его было серым, а под ввалившимися глазами чернели как лужи тени. По всему было видно, что он измучен болезнью и страданиями. Губы были белыми, с желтоватым налетом по углам.

— Чего ты поднялся? Али попить хоча? — спросила его Акулина и увидала, как побежали по его лицу две слезинки. Она подошла, вытерла их передником и спросила: — Степан Иваныч, а тебе сколь лет?

— Пятьдесят пять, — хриплым шепотом ответил тот.

— Помираешь?

— Помираю...

— А чё с тобой?

— Рак... Уехали?

— Твои-то? Уехали...

— Бросили! — прохрипел Старицын и замолчал.

Старуха не стала больше спрашивать... Она вышла во двор, закрыла ворота и выглянула на улицу. Шестнадцать лет жила она одна во всей деревне. Ходила за пенсией, в магазин, до которого было всего пять верст. Держала корову, гусей. Села Акулина на лавку и задумалась. Короткое слово «бросили» как-то застряло в ней. Видно было, что мужик мается не одной болезнью, а чем-то куда как тяжелым. Солнце пошло к обеду. Старуха вздохнула и пошла в дом.

Оставшись один, Старицын острее почувствовал приближение смерти. Ему было страшно в самом начале болезни, что какая-то неведомая тварь пожирает его изнутри. Постепенно у него сложился образ этой «твари». Он видел рак как большое насекомое, похожее на тарантула. Вначале он сопротивлялся этой заразе, но после неожиданно сломился. Устал, что ли? Прошло полгода, и все переменилось в его жизни. Еще недавно генерал... Ближний Восток, после — Афганистан... Его вывезли после того, как он внезапно потерял сознание на плацу. Когда его привезли в московскую квартиру, он ощутил то, что сам про себя назвал ужасом. Жену он видел редко, как, впрочем, и сына.

И когда он столкнулся с их жизнью, увидел, что живут они совсем другой жизнью, в которой ему, Степану Ивановичу Старицыну, места нет. Он договорился тогда, чтобы его увезли в больницу. Но и там он не находил себе места. Главное же, не было человека, который бы смог облегчить ему уход из жизни. Тоскующая душа словно подсказала, что надо уехать туда, где родился. Где именно и появилась сама душа. Ему нашли дом, куда и перевезли... И вот он лежал на большой городской кровати и слышал, как ходит по половицам старая Акулина Матвеевна. К вечеру Акулина накинула генералу на плечи телогрейку, на ноги надела тапочки и вывела его на лавочку.

— Ты, Иваныч, сиди, дыхай. Никого тута нету, нихто тебе не стревожит. Живи, дыхай...

Старицын сел на старую лавку и откинулся головой к забору. Солнце висело над лесом, а из сада громко неслось пение скворца. Откуда-то из-за дома Акулина Матвеевна пригнала корову. Она прошла мимо, пахнув навозом, молоком и полынью. Вспомнилось детство...

«А может, для этого я попал сюда? Для того, чтобы услышать этот запах и увидеть лицо Акулины?!» И тут он понял, что совершил в этой жизни ошибку, за которую и расплачивается. Он женился когда-то на хорошенькой Ольге, не любя ее, а скорее из-за какого-то форсу. Миленькая, глупая и пустая бабенка, которую он втайне стал ненавидеть, словно высасывала его жизнь. Она бегала беспрестанно в театр оперетты, на концерты, посылала записки эстрадным певцам, подписываясь «жена генерала»...

Через три дня Ольга приехала навестить мужа и никого не застала в доме. Только через два часа шофер прибежал сказать, что старуха и «шеф» идут из леса.

Генерал не шел, а скорее волок ноги в разбитых кирзовых сапогах. Но лицо его изменилось... Оно стало крепче, словно подтянулось.

Завидя машину, Старицын сплюнул и сел на лавку. Подошла Ольга, старательно улыбаясь...

— Вот что, дорогая... — жестко начал генерал. — Попроси шофера, чтобы он мне привез книги... И никогда больше, никогда... — голос его хрипел, — чтобы я тебя не видел! Возьми в моей комнате заявление о разводе...

Ольга Яковлевна перевела взгляд на все слышавшего шофера, на темноликую старуху и спросила:

— А хоронить тебя кто будет?

— Ненавижу! — генерал вырвал вперед свое тело и, потрясывая правой рукой, пошел в дом.

Когда жена уехала, Акулина погладила Степана Ивановича по голове так, как мать гладит своего ребенка.

— А давай-ка, Степа, я те баню стоплю?

— Стопи, матушка! Стопи мне, хорошая!

Акулина сама его парила. Старицын лежал на подстилке из клевера, а старуха, в линялом сарафане, в рукавицах, нахлестывала его сизое, умирающее тело. Вначале он ничего не чувствовал, и лишь через час-другой, когда уже раза четыре Акулина стаскивала его с полка отдохнуть, услышал он горячий, проникающий до сердца жар... Сперва тело шло «гусиной кожей», словно изморозью, а теперь с него текло, как будто кто открыл невидимые вентили. До самой ночи Акулина парила, мыла, а после отпаивала чаем генерала.

Осенью Старицын копал картошку с Акулиной. К вечеру накопали сорок мешков, перетаскали в подпол. Когда засветились звезды, сели ужинать. Старицын ел свежую картошку и зачерпывал из миски толченый лук с огурцами.

— Бог тебя помиловал, Степа, — сказала ему вдруг старуха.

Старицын и сам это знал. Он чувствовал, что нет в нем больше тарантула. Как-то так случилось, что победил он его! Но в душе знал, что победить помогла ему она, Акулина Матвеевна.

Зимой старуха умерла. Старицын пришел с улицы с дровами, бросил их у печи и почуял неладное. Вошел к ней. Акулина лежала переодетая в чистое, а то, в чем ходила, лежало свернутым на сундуке. Генерал подивился тому, как она все успела сделать...

Старицын нанял мужиков из соседнего села копать могилу, заказал гроб.

Хоронить везли на лошади. Под широкими санями скрипел снег, пахло конским потом. А поминки генерал сделал в колхозной столовой.

На поминках к нему подошел охмелевший председатель:

— Слушай, Степан Иваныч, а вправду, что ли, ты вроде как Акулинин сын? Мне сказали, вроде как во время войны ты у нее потерялся. А как нашелся?

— Случайно.

— А правда, что ты генерал?

— Правда.

Председатель, еще совсем молодой мужик, почесал щеку.

— Да... Дела... А мы ее завсегда боялись... У нее глаз был тяжелый... Дела!

Вернувшись домой, Старицын накормил корову, кошку и пошел спать в комнату Акулины. Когда он проснулся, ходики показывали четыре утра. Он встал, оделся и отправился доить. После затопил печь, прогнал через сепаратор молоко. Когда подошел к зеркалу, чтобы расчесаться, увидел, что смотрит на него седой старый человек, с седой бородой. Старицын улыбнулся.

— Сивый стал!

На другой год после смерти Акулины генерал женился на вдове тракториста Козьмина. Лида, его новая жена, была сухощава, с большими темными глазами. У нее было четверо ребятишек, старшему всего девять лет. Лида полюбила Старицына, ей всегда хотелось узнать, счастлив ли он. Но ни разу спросить не посмела.

Шахов

Андрей Иванович Шахов умирал, а умирать, когда тебе еще нет и сорока, тяжело и грустно. Шахов лежал в общей палате и думал о жизни. За окнами светало, показались верхушки деревьев, что росли прямо у стен больницы.

Андрея Ивановича привезли сюда месяц назад из поселка Кулаково, что от райцентра в пятнадцати километрах. Там он учительствовал, а последние два года даже директорствовал. Жена его Галина и дочь Наташа на все лето уехали к Черному морю. Дочь стала покашливать, и врачи порекомендовали увезти ее месяца на три к солнцу. Кое-как скопили нужную сумму из своих нищенских учительских денег, и как только закончился учебный год, жена с дочкой уехали. Шахов остался один.

С Галей они поженились еще на третьем курсе института и с тех пор врозь ни разу не были. Сразу, как получили дипломы, приехали в маленький шахтерский поселок, где поселились в длинном сером бараке, в двух комнатах. Каждую весну бараки эти заливало водой, и приходилось на пол класть кирпичи, а поверх настилать доски. Из подпола выныривали мокрые крысы и прыгали прямо на кровать. Задевать их было опасно, они могли броситься на тебя. Так убого, нестерпимо убого, жил почти весь поселок, за исключением работников райкома, райисполкома и шахтного начальства. Шахов, видя такое положение, пришел однажды на общее собрание шахтеров и выступил перед ними с гневной речью, в которой осудил районных, областных начальников, а главным

образом, осудил всю политику партии. Шахтеры встали и били в большие ладони. Шахов поклонился. На другой день прямо из школы его забрали и увезли в больницу для душевнобольных в райцентр. Поместили его одного. Вскоре к нему пришел гэбист и, сев на привинченный табурет, стал методично вести допрос. Шахов поначалу говорил с ним серьезно, но потом понял, что с этим человеком ни о чем говорить не следует. Он или переврет, или сделает по-своему. Шахов устал и сказал ему:

— Ступайте вон! Вы уже всё сделали!

Гэбист ушел, но его сменили санитары, они стали бить Шахова. Били в основном по голове, пока он не потерял сознание. Так продолжалось неделю. И всю неделю ему не давали пить; кормить, правда, кормили. Голова гудела, пол уходил из-под ног. День и ночь горела под сеткой электрическая лампочка. И когда в очередной раз пришел человек из органов и требовал подписать протокол допроса, Шахов набросился на него и укусил. Теперь Андрея Ивановича стали колоть. После каждого укола ему казалось, что через вены протаскивают ржавую проволоку. Он кричал от боли, бился головой о стенку, плакал. Выручили шахтеры. Дружно остановили шахту и потребовали вернуть учителя. Шахова отпустили...

Он пришел на шахту худой, бледный и, заикаясь, подергивая нервно головой, поведал обо всем без утайки. Через два дня, морозной ночью, когда он, возвращаясь из школы, шел медленно под большими звездами, его догнали и ударили по голове болтом. Галина, встревоженная, что мужа долго нет, побежала ему навстречу и нашла его лежащего без шапки и в крови.

В местной больнице хирург Храмов, зашивая ему рану, сказал:

— Кончай ты, Андрюша, политику! Ты что, не понимаешь, что это дохлый номер? Раз уж эти гады взяли власть, так они за нее не только тебя, половину населения погубят! Думаешь, я дурнее тебя? Нет! А в партию вступил. Ну, а что делать, сам знаешь, Андрюша, против ветра ...ть не надо!

Оправившись, Андрей Иванович задумался... Из школы его стали вытеснять. На собраниях говорили о его недостойном поведении. А он видел, что его коллеги ленивы, трусливы и что руками, голосами таких, как они, и делается все... Но не стал сдаваться и из школы не ушел. Родилась дочка, и все как-то успокоилось, но сам он стал все чаще и чаще прихварывать.

«Что же они мне вкололи?» — думал Шахов, чуя, что болезнь у него именно от какого-то укола...

Потом времена стали меняться, но Шахов уже твердо знал, что власть имущие и есть враги прогресса и всякого духовного развития.

Отправив жену и ребенка на юг, Андрей Иванович вдруг почувствовал слабость. Неделю как-то держался, но однажды упал в своем кабинете. Нашла его уборщица и вызвала скорую. После рентгена стало ясно — рак. Причем в такой стадии, в которой лечить уже бессмысленно. Шахов не стал об этом писать жене, не написал даже, что он в больнице. Кончился август, кончался и он сам... Жизни оставалось на считанные дни. И тут душа затосковала... Она еще не нажилась, его душа, не напиталась той сильной и властной энергией, что дает человеку долгая и праведная жизнь.

«Наверно, сейчас в лесу хорошо... — думал Шахов. — А хлеб стоит желтый...»

Помимо него в палате лежал машинист поезда Стеблов, которому отрезало ноги во время маневра, рядом спал старенький мужичонка из деревни, Курослепов. У него вырезали почку. Курослепов был худенький, синий, глаза его всегда слезились, и был он плаксив. В углу лежал Валерий Ипатьевич Мякин, тот самый гэбист, что допрашивал тогда Шахова. Тот же рак. Мякин сильно страдал, но надеялся выжить. У него было круглое лицо, белое от болезни и совершенно безволосое.

Андрей Иванович тихонько заглянул в угол. Мякин был в забытьи от наркотиков... Никакого зла Шахов к нему не питал, но теперь отчего-то Мякин ненавидел Шахова. У окна лежал прооперированный Коля Петров, студент.

Шахов лежал и думал, что хорошо бы умереть дома... И, подумав о доме, усмехнулся. Получилось так, что его домом стал барак, в который он приехал четырнадцать лет назад. За эти четырнадцать лет барак этот покрыли шифером... Шахов еще не знал, что главврач Владимир Викентьевич Бахтин дал телеграмму его жене, чтобы та срочно выезжала... Он не знал также, что эту ночь Галина тоже не сомкнула глаз. Ее поезд уже был в трех часах от райцентра. Рядом крепко спала загорелая Наташа. Волосы от купания и солнца у нее выгорели, и сейчас она лежала, выставив черные от загара лопатки. Галина почувствовала, что Андрей умирает... Умирает ее единственный, не просто любимый — боготворимый ею человек. Высокий, русоголовый, лучший игрок в баскетбол в институте, он привлекал всех девчонок. А выбрал ее... Галина родом была из деревни, из семьи сельского священника, Петра Федоровича Марпиского. Отец, овдовев, определил ее в институт. Он умер, когда она вышла замуж за Шахова. Больше никого у нее не оставалось, кроме Андрея. Шахов был детдомовский и, шутя, говорил:

— Я подброшен! Я переброшен оттуда — сюда! Новый вид шпионов! Иначе откуда у меня прямо-таки генетическая неприязнь к существующим порядкам?

Галина вспомнила и их первый поцелуй... Они поцеловались в музее, куда никто кроме них не ходил. Это было удивительное, легкое и веселое время. В музей они ходили каждый день. Шли дожди, а в нем пахло натертыми полами. В золоченых рамах висела темная живопись, с потолка свисали мощные, литые из бронзы люстры, чуть осыпанные хрусталем. Они медленно переходили из комнаты в комнату, и Андрей шептал ей на ухо стихи или рассказывал анекдоты... И так получилось, что вдруг она перестала слышать его голос, остановилась и, откинув голову назад, закрыла глаза. Когда его губы, горячие и такие желанные, властно поцеловали ее, она поняла, что любит его, любит больше жизни! Вскоре они поженились, а по окончании института попросились в шахтерский поселок. Не хотела, ох как не хотела она ехать в этот поселок. Она-то мечтала вернуться в село, где родилась и выросла, где могилы матери и отца. И хоть все это было рядом, все-таки ей казалось, что родина теперь далеко где-то...

Жили трудно. Кроме килек в томате да макарон в магазине больше ничего не было. Рекой лилось красное крепленое вино — «бормотуха». Ежедневно на шахте кого-нибудь убивало, каждый вечер подростки устраивали кровавые побоища... Похороны в поселке происходили ежедневно. Было такое чувство, что все воевали друг с другом! В школе было и того хуже. Учителя, наскоро отбарабанив уроки, бежали к своему подсобному хозяйству.

Оба они испугались одного, что ничего не могут сделать в этом закостеневшем и совершенно уродливом мире. На всем поселке лежала печать бедности, дикости. Было ощущение, что не сегодня завтра появятся здесь военные и обнесут поселок колючей проволокой.

Но самым страшным оказалась барачная жизнь. В первый же день, вернее в первый же вечер, к ним влетел с ножом сосед-татарин и, коверкая слова, завопил:

— Моя жена тронешь — зарежу! Всех зарежу!

Весь барак пил... Пропивались зарплата, краденый уголь... В довершение всего в поселок ссылались после заключения те, кого уже никуда нельзя было сослать. Андрей восстал... Сколько раз, обнявшись в постели, они плакали... Плакали над собственной судьбой, над будущей

судьбой своей дочери и над судьбой того последнего, что у них еще оставалось, судьбой России. Загнанная, униженная, измордованная за семьдесят лет, она была похожа на лошадь с перебитыми ногами. Хочет встать и не может! А эти палачи, что с таким злорадством покалечили страну, по-прежнему подъезжали на черных машинах к своим обкомам, горкомам и всевозможным цэка!

«Не было над ними суда, но будет. Суд божий!» — думала Галина.

Первым проснулся старенький Курослепов и, тихонько прочитав молитву, которую, по всей вероятности, сочинил сам, огладил свое лицо, шмыгнул носом и поглядел на Андрея, обрадовался, что тот не спит.

— Я думаю, хорошо, что у меня бабка жива! Ой, хорошо! — зашептал он. — Я таперича приеду домой, стану больше лежать. Пущай почечка отдыхает, пущай родненька без напряженья живет! А бабку за травой погоню. Она у меня, стерва, всяку траву знаить, а как же тогда довела до того состоянию меня?! Стервь и есть! — старичок шмыгнул носом. — Сама-то здоровехонька, полнехонька! Зад что перина... А ты-то, паря, помираешь! Ты, это, как помирать станешь, скажи, пущай тебя переведут отсель, а?

— Хорошо... — пообещал Андрей.

Старик даже повеселел. А вскоре проснулись все, кроме Мякина.

Коля Петров поднялся и убежал в туалет покурить. Пришла медсестра Вера Федоровна, полная, с распухшими ногами. Всем подсунула «утки». Стеблов, до которого никак не доходило, что он безногий, как просыпался, так щупал пустоту под одеялом. Телом он крупный, мускулистый. Видно было, что и ноги у него были сильные, большие...

Шахов смотрел на больных и думал: «Почему я сюда попал? И неужели я в самом деле умираю? Да нет... Ведь есть же еще какие-то резервы? Ведь мне тридцать восемь лет... Господи, всего тридцать восемь...» Но где-то жила в нем и другая мысль, которая говорила, что это конец... И что надо готовиться к этому концу и принять его достойно. Поражала необыкновенная слабость... Он с трудом шевелил рукой, с трудом разговаривал.

Уже было светло, и солнце по-осеннему косо светило на стенку. Мякин проснулся от собственного крика. Вначале он долго матерился, вытирая широкое лицо от липкого пота, потом вновь стал орать, пока не пришел сам Бахтин и не сделал ему укол.

После подсел к Стеблову:

— Что, Витя?

— Нормально... — устало ответил тот.

— Ты вот что! Другие у тебя не вырастут, верно? Потому думай, как поедешь на протезах. Мужик ты здоровый.

После подошел к Андрею. Оглядел его, взял за руку и понял, что сегодня его не станет... Комок встал в горле у Бахтина, но он сделал непринужденное выражение и сказал: «Хорошо!» А сказав это, понял, что проговорился. Глаза у Андрея сразу потемнели, он крепко ухватился за его руку, но ничего не мог сказать. Бахтин смутился.

— Ты, Андрюшечка, голубчик, если больно станет, ты меня позови, ладно? Я никуда из больницы не уйду! Я тут буду!

Бахтин ушел. Андрей лежал и думал, что обидно умирать одному... Повернув голову, он вдруг увидел странное лицо Мякина. Тот глядел на Шахова и улыбался... Андрей приподнял голову и тихо, но вразумительно сказал:

— Я тебя ненавижу!

— А, падла! — завопил Мякин. — То целую неделю не узнавал, а тут... «ненавижу»! Наплевать мне на тебя! На таких, как ты, антисоветчиков! Как мы вас убивали, так и будем убивать!

— Ты что базаришь, козел! — остановил его Стеблов. — Андрюша, ты его знал, что ли?

— Да... он меня пытал... гэбист он...

— Вот он? — удивился Коля Петров. — А как он вас пытал?

— Били... Не давали пить. Кололи чем-то... Ужасные были уколы... А этот засовывал мне в ноздри пальцы и давил...

— Вот этот?! — еще никак не веря, переспросил Стеблов и повернулся к Мякину: — Ах ты, мурло! Я же вижу, что мурло!

Мякин побелел, набрал слюны и плюнул в Стеблова. Тот заорал, схватил судно и одним махом разнес им голову Мякина.

Бахтин сидел в кабинете, курил одну папиросу за другой и никак не мог начать писать объяснение.

«Да что писать-то?! — в который раз он спрашивал себя. — Ну, убил судном... Убил! Почему? Нервный срыв... Отчего?.. Тот на него плюнул. Плюнул. Получи! О, господи...»

В дверь постучали.

— Войдите! — крикнул Бахтин.

Дверь отворилась, и вошла высокая сероглазая женщина с загорелой девочкой. И Бахтин догадался, что это Галина Петровна Шахова с дочерью. Галина смотрела на Бахтина почти не мигая.

— Что? — вдруг услышал он.

— Пойдемте! — Бахтин быстро встал и, не застегивая халата, выскочил из кабинета. Потом вдруг опомнился. — Девочку оставьте.

— Нет, нет! Ей надо!

— Ну, хорошо, хорошо...

У кровати Шахова сидел Коля Петров, а Стеблов, спину которого подпирали подушки, давал советы студенту:

— Коль, височки, височки потри!

— У него какая-то пена идет!

— Вытри! Идет... Ты, это, не брезгуй. Нам, брат, всем придется.

Старик Курослепов боязливо поглядывал на Стеблова.

— Как ты этого звезданул-то, Витек! У его ажно череп лопнул!

— Да помолчи ты! — обрезал его Стеблов. — Ну чего, Коля?

— Вроде живой...

На этих словах и вошла в палату Галина с дочерью.

Все стихли. Галя несмело шагнула к мужу. Под одеялом лежал худенький русоволосый мальчик с истаявшим лицом. Ни кровинки, ни одного признака жизни!

Галя присела, взяла его за руку и, прислонившись к его лицу своим, зашептала ему в ухо:

— Я приехала, Андрюша! Я приехала, слышишь, милый мой!

И, словно услышав, он вдруг открыл глаза.

— Это я! — крикнула Галя и, схватив за руку дочь, подтащила к кровати. — Вот Наташа!

Андрей твердо их оглядел и умер, глаз не закрывая.

— Успела, успела я! — зарыдала Галина и выбежала в коридор.

— Что ты успела? Мама, что ты успела, а? — спросила Наташа.

— Не знаю, доча, ничего не знаю!

Воспоминание

Вспоминая детство, я каждый раз вижу лицо Фрола Лазаревича Потемкина, нашего родственника. Так же как и наша семья, он был сослан в шахтерский городок как раскулаченный. Я где-то говорил, что род наш староверческий, семейский. Помню, как в чистых сапогах, шляпе, синей косоворотке, входил Фрол Лазаревич, от порога крестился на икону, после обстоятельно здоровался с бабушкой. Была ранняя

весна, дикая распутица и непролазная грязь в нашем душном, вечно пьяном городке. Однако же сапоги у Фрола Лазаревича чистые. Однажды я поглядел, как он тщательно их мыл в канаве, а после по кирпичикам добегал до крыльца.

— Ну, здравствуй, Федосья Вахромеевна! — И затем следовал низкий поклон.

— Здравствуй, Фрол Лазаревич, — и бабушка кланялась ему.

Дальше следовала общая молитва и уже после — чай.

Сидели на нашей кухне и вели разговоры.

— Никак земля под рожь поспела?

— Поспела, — понимающе отвечала бабушка. — На пригорках совсем уж. По низинкам раненько. С неделю пущай греет, еще три дня отстоит, а после пахать.

— Пахать, пахать...

Я тогда толком не понимал, о чем они говорят. Где пахать? Что? Лишь спустя годы я понял этот странный, волнующий сердце приход весны. Ведь у них была своя земля! Как это можно объяснить сегодняшнему человеку, будь он даже колхозником, что такое — своя земля?! Кормилица от века до века! Кормилица всего рода.

Как сейчас помню, вышли мы с бабушкой в лес за молодой крапивой. Но вот лес кончился и пошли еще непаханые, сизые поля. Крепко запахло землей. Это ни с чем не сравнимый запах, он словно проникает в глубинные человеческие ткани, и больно и сладко от этого на сердце.

Увидела моя бабушка землю. Еще не распустилась береза, но уже сиял от нее зеленоватый свет. Сон-трава цвела белыми, синими, желтыми фонариками. Было тихо. Гретая земля поднимала над собой едва видный покров влаги. И далеко-далеко звенел жаворонок...

Бабушка зачем-то развязала косынку, уткнулась в нее лицом и горько-горько заголосила. Так я ее и вижу. Невысоконькая, в длинном темном сарафане до пят... Лицо закрыто платком.

— Бабушка, ты чего, бабушка! — испугался я.

— Ой, Мишенька, ой, родименький! Кака у нас земля была... Да сейчас бы мы уж пахали!

Так что же загублено? Да целый пласт народной жизни загублен с такой жестокостью, от которой до сих пор мороз по коже идет! Вот потому и собирались по весне бабушка да Фрол Лазаревич и долго, словно и в самом деле вот-вот начнут пахать, обсуждали все до единой мелочи. Оторванные от земли, которую их предки подняли в таежных пространствах Сибири, окультурили, на которой стали выращивать невиданные урожаи ржи и пшеницы, овса и ячменя, гречихи и проса...

Вся их жизнь, с самого раннего детства накрепко, насмерть связанная с землей, с работами на ней, была нарушена.

— У Кондрата Богомазова ох и справны кони, ох и справны! — умилялась моя бабушка.

— Серы, да которы в яблоках. А спины толстющи да гладки. И главное, заметь, Федосья, при пахоте каки спокойны! Твои кони норовисты!

— Так какой мужик, таки и кони! — смеется бабушка. — Ты же помнишь мово! Огонь! А твои саврасые.

— Мои саврасые! — обрадовался Фрол Лазаревич. — На моих хорошо долго ехать, неустанные! Кобылка, помнишь, с бельмом? Зинка!

— Зинка... Вот с бельмом, а как укладиста! Какой груз ни поклади, все одно прет и все в одном шаге. Ой, Зинка, прямо мать родна! И не гляди, что с бельмом. А ваши карие. Жеребец-то, Байкал, вот уж конина так конина! От господь дал! Высочущий-то чего! Такой каку хочешь кобылу обомнет.

Незаметно разговор скатывался на людей, на родню. Каждого поминали с любовью, кого со смехом, по кому крестились... Незаметно

солнце падало за дальний лес, за терриконы, что вечно, казалось, дымили над городом, наполняя его едким, вонючим дымом каменного угля. Этот запах до сих пор памятен мне. И до сих пор полстраны по-прежнему кидают в печки своих домов грязную труху, которую зовут углем. Она горит плохо, чадит и едва греет. Вот и я уже слазил трижды в угольный ларь и принес в дом три ведра этакой грязи. Сгорая, такой уголь дает много золы, которую мы рассыпаем по грязи, чтобы можно было пройти. Воздух на западе синеет. Бабушка долго смотрит в окно и говорит:

— Нынче заморозки будут.

Вот и Фрол Лазаревич встает. Опять общая молитва. Я стою позади их и слышу сладкий шепот:

— Достойно есть яко воистинну блажити тя богородицу, присноблаженную и пренепорочную и матерь бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую...

Головы их поочередно кланяются. И вот я уж вижу, как по стылому воздуху уходит бородатый Фрол Лазаревич. Он идет не спеша, обходя лужи. Бабушка долго сидит, не зажигая света, и в такие минуты я ее не тревожу. Я знаю, что сейчас она вспоминает, как пришли люди с наганами... И как ранним весенним утром собрали тех, кого решились назвать кулаками, за селом, и вышло, что ими оказались чуть ли не все... И погнали за много тысяч километров стариков и старух, молодых и просто детей. К земле их больше не пустили, а принудили жить в городе. Но каждую весну с особой болью в них просыпался крестьянин и руки напрасно искали вековечного и привычного дела.

Когда совсем свечерело, я выскочил за дровами во двор и увидел, что лужа подернулась хрустким ледком. Земляная каша сверху затвердела. Воздух стал легче. К утру на тесовых крышах лежал белый, чистый иней... Хорошо, что он быстро стаял, а то б через час стал он сажным и грязно стек на землю.

Полуденные мысли

Он сидел в душной пельменной, скрестив под стулом ноги, обутые в старые боты. За стеклом пельменной громыхал трамвай, ходили полуголые девицы, подставляя роскошные плечи жаркому солнцу. Он сидел и жевал рыбу, которую купил на четырнадцать копеек в магазине напротив. В черной матерчатой сумке лежали две пустые бутылки, или, как думал Плетнев, его ужин. Он дожевал свой «обед» твердыми деснами, вытер рот рукой и вышел.

Виктор Иванович Плетнев когда-то, почти восемьдесят лет назад, родился в большом доме своего отца, Ивана Семеновича, бывшего профессора словесности Московского университета. Когда мальчику было семь лет, отца убили... В то время поднялись бунты по Москве...

Мать после похорон отца увезла Витю в Берлин, где жил ее брат. Перед войной они вынуждены были вернуться в Россию. Плетнев поступил в университет, где когда-то преподавал его отец. А дальше... Виктор Иванович, шаркая ногами, думал о разном. Сегодняшняя жизнь была ему понятна, и даже слишком. Он не осуждал никого — ни пьяных, ни богатых. Впрочем, и те и другие были похожими. Биография его была проста. Пошел добровольцем в пятнадцатом. Далее революция. Он на стороне белых. Плен. Лагерь. Соловки.

Странно было то, что, попав в лагерь, он остался жив и прожил в лагерях до пятьдесят шестого года... Непонятно, зачем он приехал в Москву. Долго мыкался в поисках угла, наконец нашел комнатку в подвале. Долгая северная жизнь сделала свое дело. У него выпали зубы, болели суставы. Через месяц его забрали. Просто — пришли

и забрали. И еще восемь лет. И вновь он возвращается в Москву. Находит каморку и уже понимает, что вся канитель, связанная с его арестами, кончилась. Теперь он свободен. Работать ему было поздно, хлопотать пенсию глупо... и даже зазорно, как он сам думал. Удивительно было то, что, оказавшись вновь в Москве, в старом доме, Виктор Иванович будто забыл лагерную жизнь. Ему казалось так: вот он родился, вырос и стал стариком. И только ночью, когда не было никакой возможности спать оттого, что нестерпимо болели суставы, он садился у окна и в голове роем копошилась вся его лагерная жизнь. Но он насильно затворял эту дверь и вспоминал ясные подмосковные дни, гуляющих барынь. И видел себя молодым, влюбленным в Анечку Бродскую. Вот он, щеголевато одетый, идет с ней по Тверскому... А вот уже она провожает его на фронт. Через полгода и она уходит сестрой милосердия. А в марте ее мама, Нина Константиновна Бродская, ему напишет: «Милый наш Виктор! Анечку убило при бомбежке. Осколок от снаряда попал ей в висок... Бога ради, не забывайте нас! Не покидайте...»

«После я уже больше не любил...» — думал Виктор Иванович. Он всегда думал об Анечке, когда ходил. Он думал о ней и о своей маме, красивой, белокурой Елене Трофимовне. Она была из купеческой семьи. У них были и свои кожевенные заводы — в Кимрах и в Берлине, где работал ее старший брат. От отца осталось имение, Плетневка, с большим деревянным домом, гусями и несколькими старухами, что занимались домашними делами. Старух маленький Витя очень хорошо помнил. В конце семнадцатого года имение сожгли, а белокурую моложавую Елену Трофимовну нашли заколотой штыком в саду. Там же ее и схоронили. Когда Виктор Иванович первый раз вышел из лагерей, он добрался до места, где когда-то стоял их дом. Но ни дома, ни сада, ни малейшего признака былой жизни он не нашел. И это его потрясло! Не стало мельницы и пруда... Дома лишились садов, и люди, что жили раньше в Плетневке, стали другими. Никого из них Виктор Иванович не знал, да и дома были другими. Разговорившись, понял, что при наступлении село обстреляли... Это уже в сорок втором... Людей побило, а те, которые живут сейчас, переселенцы. Не было и церкви на горе. От нее осталась только ограда. В лагере то, что говорилось о жизни на свободе, звучало странно и непонятно. Каждый, кто провел в заключении столько лет, помнил то, что ему хотелось помнить. Когда лагеря заселили большевиками, красноармейцами, Виктор Иванович замкнулся. Его правда, его жизнь и мироощущение совершенно не совпадали с теми, кто когда-то сжег его имение, убил мать, а еще раньше — отца... Образованных среди них было мало. Сдружился он с одним ученым, профессором-почвоведом Потаниным. Человек твердый, честный и, так же как и Плетнев, не сочувствовал новому режиму. Потанин был гораздо старше, мудрее. Когда возникали споры и кто-нибудь просил высказаться и профессора, он обычно отвечал:

— С марксистами спорить — все равно что коров грамоте учить.

Потанин рассказал Виктору Ивановичу, что жизнь, которую они прожили до революции, в сущности, и была жизнью, а то, что сейчас, — мерзость, свинцовая мерзость! И он очень жалеет, что не эмигрировал!

— Знайте, дорогой Виктор, — сказал ему как-то Потанин, — приличнее сидеть в лагере, чем жить среди этой красной сволочи!

Потанина расстреляли, расстреляли и тех, кто был противоположного с ним мнения о «красных».

«Почему же я остался жив?!» — всякий раз спрашивал себя Плетнев, и даже сейчас, когда сама жизнь физически подошла к концу, эта мысль тревожила и возбуждала его. В лагерях, чтобы не потерять окончательно человеческое, он вел дневник, куда записывал только погоду.

Сидя на бульваре, рядом с которым он жил, Плетнев старался понять жизнь тех, кто проходил мимо, не замечая его. «Почти не стало интересных лиц... Лиц нет, — думал он, — одни физиономии!» Ему было просто смотреть на мир из самого себя. Одежда, которую он подбирал так же, как бутылки, была его заслоном. Пенсии он не получал, но банок и бутылок ему хватало. Он совершенно не употреблял спиртного и никогда не курил. Раз в неделю он обязательно шел в баню. В коммуналке, где он обитал, с ним проживали две старушки. Это его очень устраивало. Он рано уходил из дому и приходил, когда те уже давно спали. Сам же он спал мало — три, от силы четыре часа. Читал он мало из-за того, что болели глаза. Разве что на бульваре газеты в стекляниых витринах. И только поток мыслей, словно не выключенный кем-то душ, шел и шел... Сыпал и сыпал...

Плетнев говорил себе, что это полуденные мысли, то есть мысли, которые приходят к человеку в его даже не осеннюю, а зимнюю пору.

«А что у меня есть? — думал он. — Ведь даже фотографии не оставили мне! Я не знаю, каким был когда-то. Мальчиком я помню серые улицы Берлина. Берлинские трамваи. — И если он начинал думать о трамваях, то обязательно вспоминал все, что помнил о них. — Что может быть страшнее моей жизни? Почему меня не расстреляли? И тогда не было бы вот этого чудовищного и унизительного существования! И если бы кто-нибудь знал, как мне хочется хорошо одеться, вкусно поесть и искупаться в теплом море! Ведь мне же не все равно! Ведь как бы там ни было, а я продолжаю уважать себя! И уже то удивительно, что я не забыл немецкого... — Плетнев думал, а глаза его машинально увидели пустую бутылку, он достал ее из-под лавки и положил к тем двум. — А сейчас я, в сущности, эмигрант. Я живу в чужой стране. Ничего своего, родного нет! Как нету извозчиков, хороших магазинов, как нет и людей... Ведь все эти, как сами себя они называют, массы, это не люди... Они какие-то лагерные, может, тем привычные?!»

К вечеру он сдал бутылки, получил деньги и, купив баночку частика, хлеба и пакет молока, пошел домой. Он шел, шаркая старыми черными ботами с металлическими застежками, которых уже давно не выпускают, а сам себя видел в новенькой форме поручика, когда после госпиталя пришел с мамой и сестрой Верой в ресторан «Оливье». Как они отражались в зеркалах и как хороша была сестра. Дальше о сестре он думать не смел, он вообще старался о ней не думать...

Дело в том, что одна из старух, соседок по коммуналке, оказалась его сестрой. Она была почти слепа, и это его спасло! Как она прожила жизнь, почему оказалась тут, он не знал, да и знать был бы не в силах. И все же, приходя домой, он долго прислушивался: что с ней? И если она ходила или кашляла, то успокаивался и шел к себе. Он знал, что, когда они оба умрут, а это будет скоро, милиция поймет, что рядом друг с другом жили брат и сестра, которая моложе его на два года. Ах, эти полуденные мысли...

Париж

Проснулся Николай Петрович от ощущения счастья. Он еще не открыл глаза, а только сквозь веки «видел» чудесный белый свет комнаты — новый для него воздух и запах... Так же не открывая глаз, он сказал себе: «Я свободен!» И засмеялся, так ему стало хорошо. Он повернулся на бок и скатился на вторую половину кровати, которая еще хранила тепло — запах ее тела. Сквозь сон он слышал, как она тихо оделась, как щелкнул за ней замок входной двери, словно она сказала ему: «Пока».

— Пока, моя милая, нежная Николь! — зашептал Николай Петрович в подушку, на которой еще недавно лежала ее голова. Он покрыл подушку поцелуями и, глубоко в нее зарывшись, вспомнил все. Вспом-

нил, как они вошли в его номер, как сели прямо на кровать и стали пить красное вино и есть сыр, который купила Николь специально для этого вина. Не стесняясь, она задрала юбку до самых бедер и сидела по-турецки. Тонкие, длинные ноги были в черных чулках, которые держались на тонком, ажурном поясе. Он почти ничего не понимал по-французски, а уж она совершенно не понимала русского. Но им было так хорошо, так весело объясняться жестами, а еще больше говорили их взгляды.

— Николай, — говорила ему Николь, смягчая «а» до «я». Получалось трогательно и, как казалось Николаю Петровичу, почти волшебно! Он целовал ее руки, ноги в холодных чулках и никак не мог поверить, что еще вчера утром он проснулся в номере с тремя своими товарищами. Он поехал во Францию с одной-единственной целью — сбежать! И это сделать он решил сразу же, по приезде. Разместили их в бедной, низкоразрядной гостинице по нескольку человек. Еще в самолете Николай Петрович симулировал расстройство желудка. Прилетели ночью и автобусом поехали в Париж. Наскоро разместившись, легли спать. Николай Петрович, понимая, что утром он должен исчезнуть, ворочался, охал и нарочно бегал в туалет. Когда всех подняли на завтрак, он отказался и продолжал лежать.

Старший группы, Елизар Исакович, сел к нему на кровать и, почесав большую коричневую лысину, сказал:

— Вы полежите... Может, после обеда мы найдем вам лекарство. Но прошу вас одному не покидать отель.

— Куда покидать? — простонал Николай Петрович. — Я сейчас как сяду на унитаз... Ой, мамочка... Что же я съел, а?

Елизар Исакович ехидно улыбнулся.

— Ничего! Неделю поживем впроголодь! Я пятнадцать банок консервов взял и коляску «одесской». Ну, пока!

Старший ушел, а за ним и остальные. Теперь надо сделать так, чтобы никто ничего не заподозрил. Николай Петрович поднялся, прошел в душевую комнатку. В стену было вделано узкое и высокое, начинавшееся от пола зеркало. Николай Петрович снял трусы и оглядел себя. Он был чуть выше среднего роста, русые волосы с заметной сединой на висках. Руки и торс мускулистые, еще сильные и гибкие. Лицо чуть сухое с крупными волевыми губами и красивыми темно-зелеными глазами. Ему было сорок пять лет, но он каждую неделю играл в футбол и усердно занимался атлетикой. Вымывшись, он босиком пошел в комнату, вытерся простынею и присел на кровать, вытянув ноги и вобрав в себя живот. В нем, в животе, появился страх. Страх этот был внезапен и так силен, что даже лоб Николая Петровича взмок. И тогда, не давая себе ни минуты на размышления, он быстро оделся, застелил постель, достал из чемодана необходимые вещи, сложил их в небольшую сумочку и вышел из номера. Причем чемодан сознательно выставил так, чтобы он был все время на виду. Когда Николай Петрович отошел от отеля метров на сто, страх улетучился и взамен пришло блаженное состояние богатого путешественника. Николай Петрович огляделся и воочию убедился, что он — именно он, а не кто другой, — в Париже! Что стоит сухой сентябрь с его лиловым утром, что вокруг обилие запахов и красок — каштаны с листьями, словно тронутыми по краям ржавчиной, пурпурные и багряные клены, цветы...

«Отчего так много цветов!» — воскликнул про себя Николай Петрович и тут же обратил внимание, что и тротуар, по которому он шел, резко отличается от московского! Зеленого цвета, он был так чист, как у нас, пожалуй, не бывают чисты коридоры в гостиницах.

По образованию Николай Петрович Шульгин был преподавателем литературы. Но по специальности почти не работал. А почти сразу же после института ушел в многотиражку, писал статьи, мечтал стать

настоящим писателем и очень много времени тратил, как сам говорил, «на постижение творчества». Давалось ему это очень сложно.

Вырос он с матерью. Отец их бросил сразу же, как только он появился на свет. Уже будучи взрослым, Николай, ни разу не видавший отца, разыскал его. Для этого он нарядно оделся. Взял на всякий случай диплом и приехал. Жил отец в подмосковном Одинцове. Дом был типичный пятиэтажный, без лифта, с грязными бетонными лестницами, исписанными стенками и обязательным запахом мочи в подъезде. Поднявшись на третий этаж, Николай Петрович позвонил. Дверь открыл отец... Он стоял взлохмаченный, в застиранной майке и спортивных штанах. Ноги были босыми.

— Кого надо? — спросил его отец.

— Вы Шульгин? — тихо спросил Николай.

— Ну, Шульгин, — ответил отец.

— Я — Николай...

Отец сразу все понял, постоял, потом впустил его в квартиру. Пахло кислым, в комнате работал черно-белый телевизор, который смотрел мальчик лет двенадцати, похожий на отца. Шульгин-старший пригласил Николая на кухню.

Маленькая, беспорядочно завешанная выстиранным бельем, она как бы кричала о бедности ее обитателей. Из ванной вышла женщина в панталонах и лифчике. Бросилась в глаза та нездоровая свекольная полнота, которая появляется у женщин от тяжелой работы и плохого питания.

— У, черт! — вздрогнула она, увидев Николая, и тут же скрылась в комнате.

Николай, в темно-синем костюме-тройке, в галстуке, выбранном в тон, в новеньких итальянских туфлях, густо покраснел при виде этой женщины и от мысли, что она и есть новая жена его отца. Он-то думал, что встретит, конечно же, красивую, непременно брюнетку. А получилось, что она белокура, редковолоса, с густо усыпанной веснушками грудью.

— Выпить не принес? — вдруг спросил отец.

— Выпить? Нет... Я не пью.

— Ты не пьешь, так другие пьют... — уже зло ответил отец. — Зачем пришел?

— Так просто, поглядеть, поговорить...

— А чего говорить? — и он грязно выругался. — Иди-ка ты отсюдова, понял! И не надо сюда ходить!

Вошла его жена, уже в халате, оглядела молча Николая, отвернулась к плите и громко хлопнула крышкой кастрюли. Запахло варившимся выменем... Николая затошнило, он быстро встал и, не простившись, выскочил на лестничную площадку. Отец вышел следом:

— Чего я не знаю, что ли! Денег пришел просить, да? Мол, алименты не платил, да?!

— Я бы вам сам дал! Я достаточно богат, чтобы не просить!

— Ишь ты. Какие мы, шелком шитые! Какие чистые, сердитые!

— Да пошел ты! — крикнул Николай и побежал вниз...

Никогда он богатым не был... С матерью они как жили, так и продолжали жить в коммуналке. Но комната у них была большая. Мать работала в библиотеке, любила книги. Жили бедно, трудно, но достойно. Обитатели других комнат менялись. Все были разными, но самыми стойкими оставались старики. Они жили долго и прочно. Казалось, что именно они-то и жили, а все остальные доставали деньги, тяжело работали, и ничего их не ждало в будущем.

Николай потерял мать рано. Умерла она внезапно на трамвайной остановке. Прямо оттуда ее увезли в морг. Худенькая Ольга Павловна запомнилась Николаю именно в морге, где он ее разыскал. Она лежала на оцинкованном столе, голая. Руки вытянуты вдоль тела. Волосы, как

всегда аккуратно подстриженные, с челочкой, оттеняли синевато-белое впавшее лицо. Вокруг глаз — темные пятна. Маленькие сухие грудки извинительно сползли по сторонам. Николай подошел, чувствуя, как его бьет мелкая дрожь. Ольга Павловна, сейчас больше похожая на девчонку, словно улыбалась сыну... Улыбалась тихо, таинственно, словно уже знала что-то такое, отчего ему, Николаю, завтра будет хорошо.

Через год после похорон он женился. Как потом понял — неудачно. Женился на очень обеспеченной, изнеженной Ларисочке Метнер. Ее отец был известным архитектором, барином, избалованным женщинами и поклонницами. Сама Лариса была крупной, рыжей и бурной, неутомимой в постели. Она любила гостей, пикники, ночные поездки на автомобилях. Отдыхала за границей... У них родилась дочь, копия своей мамы... Не прошло и двух лет, как у Ларисы появились любовники, о чем она ему и сообщила. Она это сказала просто:

— Коленька, у меня есть два человека, с которыми я сплю. Не сердись, милый. Найди и для себя! Я совсем не ревнива!

Николай вернулся в коммуналку из огромной пятикомнатной квартиры. Устроился в библиотеку, где когда-то работала его мама... Жизнь шла, он уже стал Николаем Петровичем, но, как всегда, не было успеха — был только чудовищный, оскорбляющий достоинство быт! Нельзя было поехать и повидать мир, а так хотелось! Пешком, впроголодь, но исходить Италию, Испанию, съездить в Израиль и увидеть Америку! Нет... Словно рабы, люди были вынуждены ехать на Черноморское побережье, если, конечно, были деньги, и там на свои деньги снимать крохотные вонючие кровати...

И вот он в Париже! Себе он сказал так:

— Поживи, пока будут деньги. Как только они кончатся, покончи с собой.

И оттого, что план был намечен и все было ясно в этом плане, на душе стало так хорошо, как не было никогда в его жизни. В небольшом ювелирном магазине он предложил фамильные драгоценности. Четыре перстня, два браслета и три жемчужные нитки. Это все, что ему осталось от бабушки и мамы. Получив за все тысячу двести франков, Николай Петрович был даже удивлен. У него было еще своих триста! В центре города он снял себе номер. В нем была прихожая и большая, очень уютная спальня. Огромная ванная комната с кранами, сделанными еще в начале века. На изящном столике в ванной стояли розы... Заплатив за неделю шестьсот франков, Николай Петрович остался доволен и пошел перекусить. Его переполняло счастье оттого, что он свободен! Что теперь он свободен навсегда! Что никогда более не увидит он унылой Москвы, унылых очередей, пошлости и похабщины! Что, наконец, он уже никогда не прочтет ни единого лозунга, написанного белым на красном.

Перекусить он решил на открытой веранде небольшого кафе. Он взял себе большой бокал светлого пива, какое-то острое итальянское блюдо, поскольку кафе было итальянским, и, сев за столик, задумался: он не знал, как есть то, что ему дали. На подносе стояло несколько тарелочек. Он отпил глоток пива и повертел поднос. Именно в эту минуту он услышал смех Николь. Николай Петрович резко обернулся и увидел девушку, чуть повыше его ростом, в коротенькой кожаной юбке, коротко стриженную... Она смеялась, показывая белоснежные и крупные зубы. Что-то быстро говоря, она перемешала все его блюда в одном, попробовала очень серьезно и, видя, что он ничего не понимает, жестом показала, что уже можно есть!

Тогда он, также жестом, пригласил ее за свой столик. Девушка смущенно улыбнулась, но предложение приняла. Еще не веря своим глазам, что эта красивая парижанка села за его столик, он кинулся к официанту, показывая, чтобы тот обслужил ее! Официант в белом переднике тряхнул черными волосами и вскоре явился с таким же подносом. Вместо пива девушка взяла вино... Тогда Николай Петрович сделал то же самое.

Итак, они ели острую и очень вкусную пищу, пили терпкое красное вино и улыбались друг другу.

— Николь! — сказала девушка и похлопала себя по груди.

— Николай! — ответил Николай Петрович.

Весь этот день они провели вместе. У Николь был небольшой спортивный автомобиль, которым она управляла очень умело. Но Николай Петрович, несмотря на свою спортивную внешность, автомобилистом не был, ничего не понимал в марках машин и о чем сейчас действительно жалел, так это о том, что не изучал французского языка.

Николь показала ему Версаль, правда, издали, несколько очень богатых магазинов, площадь Звезды, Эйфелеву башню, словом, то, что русские знают и без посещения Парижа. Ближе к вечеру Николь подвезла его к отелю, где он остановился, и обещала заехать за ним через час...

Николай Петрович вошел в номер и внутренне весь как бы поджался. Нет, счастье его не покинуло, но он догадался, что, если Николь не приедет к нему, он уже не сможет выйти из номера... Он сел в кресло и стал ждать... И когда прошел час, а в дверь никто не постучал, комок подступил к его горлу. Руки растерянно забегали по коленям, и он заплакал. Он плакал, стиснув зубы и обхватив руками голову. Он плакал так единственный раз в жизни, когда схоронил мать...

— Бонжур, Николя... — услышал он голос и вскинул голову. Перед ним на коленях стояла растерянная Николь. И он тоже встал перед ней на колени и горячо, порывисто сказал:

— Я не могу, я не могу никак без тебя!

И они стали целоваться так, словно вдруг обезумели...

Вечером Николь свозила его в оперу, где они просидели в ложе не больше двадцати минут. Заехав в магазин и купив сыра, вина и сигарет, вернулись в отель. Пестрый, нарядный Париж мелькал за стеклами красного «альфа-ромео», яркий свет витрин отражался в глазах Николь и померк только за стенами большой белой спальни отеля. Они сидели прямо на большой кровати, пили красное вино и закусывали сыром. Николь сидела, задрав юбку до бедер, по-турецки...

Они любили друг друга всю ночь, разделяя моменты любви очередной бутылкой вина. Когда за окном воздух как бы внезапно стал серым, они уснули в объятиях друг друга...

Поднявшись, Николай Петрович прошел в ванную, побрился, вымылся и со смехом стал думать, как его разыскивают, как судачат о нем товарищи.

— Черт бы их подрал, этих товарищей! — зло и вслух сказал Николай Петрович. После душа он тщательно оделся в модную рубашку, в новенький легкий костюм, который ему вчера купила Николь, надел мягкие туфли, кожа которых матово и серебристо словно изнутри подсвечивалась электричеством. Он смотрел на свое отражение и не верил, что вот это он, Шульгин, и что он в Париже... Вспомнив о деньгах, он вернулся к старому пиджаку, пошарил по карманам и, пересчитав оставшиеся деньги, увидел, что в наличии у него всего пятнадцать франков. В углу стоял ящик с вином, рядом с кроватью валялись четыре пустые бутылки... По телу от виска до пяток прошла скользкая игла страха. Он знал, вернее, сказал себе, что убьет себя тогда, когда деньги кончатся.

— Но ведь еще можно жить! За отель заплачено, приедет Николь! Она обязательно приедет...

Николай Петрович открыл бутылку вина и, заглушая страх, стал пить прямо из горлышка. Он не знал, что Николь де Ренье смеясь рассказывала матери, графине де Ренье, какого чудного милого русского она встретила и что наконец-то ее сердце успокоилось.

— Ах, мама! Это мой муж! Я сегодня же привезу его к нам... Мой Николя! Он настоящий русский, нежный, таинственный и совсем, совсем ребенок!

На последние пятнадцать франков Николай Петрович купил выпивки и сейчас с бутылкой в кармане шел по набережной Сены. Он еще не знал, совершит ли задуманное, но тот приказ, который он дал себе еще в Москве, жил в нем... А главное, он знал, что не способен будет бороться с бедностью и все начинать сначала.

«Конечно, — рассуждал он, — когда Николь узнает, что я беглец, что я нищий, я превращусь в ничто!» — Николай Петрович невидящими глазами смотрел на Париж и парижан... Наконец устав, он спустился под мост, забился в нишу и стал пить водку. Выпив почти всю бутылку, он под конец высыпал в рот таблетки... Запивать не стал, а просто проглотил...

К обеду приехала Николь и долго его ждала. Она приехала на белом лимузине... Всю неделю его искала полиция, и когда его нашли, опознали, то на деньги Николь положили в цинковый гроб и отправили в Москву. Она не знала, что он не хотел туда возвращаться. Он не успел об этом ей сказать на своем восхитительном языке жестов...

Муть

Прошлой осенью Алексей Николаевич Ропшин случайно в метро познакомился с девушкой. Было ей лет семнадцать. И надо же было сорокавосьмилетнему художнику заговорить с ней. И поговорили-то больше о погоде, о новых фильмах... Смотрели на Ропшина ее странные, недетские глаза. Что-то призывное было в ее движениях, даже развратное. И звали-то ее глупо, Жанна. Оказалась провинциалкой, живет в общежитии и учится в профтехучилище. Ропшин видел крупную грудь под черным дешевым свитером, голые круглые колени.

— Надо бы отметить нашу встречу? — деревянным языком спросил Ропшин, и Жанна спокойно, как будто так и надо, ответила:

— Если есть где, почему бы и нет?

Пошли в его мастерскую. Там было не очень чисто, но просторно. Жанна нашла приемник, включила музыку, полазила между этюдами, пока Ропшин готовил закуску.

— А у тебя что, жены нет? — спросила Жанна. На «ты» она перешла сразу.

— Нету. Холостяк.

— Ничего себе. Такой старый...

Это неприятно резануло Алексея Николаевича. Ее невоспитанность, полное невежество, грубость почему-то не остановили его. Выпили водки.

— А я ни разу у художников не была, — сказала Жанна. — Что-то бедноватенько.

— Ну, что есть, то есть... — говорить с ней практически было не о чем, и поэтому Ропшин просто расспрашивал, кто она да откуда.

— А! — махала она рукой. — Откуда? От верблюда. Не все ли равно тебе, что ли? А ты билеты на концерт можешь доставать?

— Нет, — признался он.

— Хреново.

Потом курили. Когда бутылка кончилась, Жанна, охмелевшая, пошла к кровати, разделась и позвала Ропшина. И с этого дня все и началось. Неожиданно его потянуло к ней, как, наверное, тянет в пропасть. Он не знал, куда бежать от своей любви. Ну а Жанна принимала его спокойно, не терзая себя душевно. Приходила к нему когда хотела. Когда хотела, исчезала на неделю, две. Ропшин мучился, ходил к ней в общежитие. Чтобы привязать ее к себе, стал покупать ей одежду, давать деньги. Жанна быстро к этому привыкла. Она бегала на дискотеки, а после рассказывала ему, как она танцевала, как после с какимнибудь Витей или Юрой они пили... Дальше она не говорила, но он-то знал, что Жанна снимала с себя одежду... И жуткое чувство ревности обжигало его сердце. Вскоре она стала в его мастерскую приводить подруг, друзей...

Одна беленькая, хорошенькая Люся звала его дядей Лешей. Приходившие парни чаще смущались его. Для Ропшина началась какая-то странная и угнетающая его жизнь. Он стал больше пить. Жанна все чаще оставляла с собой ночевать белокурую Люсю. А однажды Жанна просто ему сказала:

— Слушай, а чего ты не спишь с Люськой? Она обижается!

Постепенно Ропшин сложил для себя жизнь Жанны. Она родилась в маленьком городе. Отец умер рано, она его почти не знала. Мать работала на заводе, выпивала, после стала пить регулярно. Мужчину Жанна узнала в одиннадцать лет...

В Москву она убежала, потому что там, дома, тоска и муть! Муть — это было ее любимое словечко. Когда Ропшин спросил ее, любит ли она хоть немного его, она ответила:

— Да вся эта любовь — муть. У меня вообще к мужикам не очень. Если хочешь, то я в этом плане разных люблю! Ну, не люблю, а так, интересно! Все равно муть.

«Нет, надо заканчивать этот роман, — думал Ропшин. — Иначе гибель...» Но закончить его никак не мог. Это было выше его сил. Однажды, когда ее не было две недели, он, несмотря на то, что ее усердно заменяла Люся, чуть не завыл. А она пришла ночью, мокрая от дождя. Раздевшись, легла с Люсиной стороны, и они стали о чем-то шептаться, пересмеиваться, а после Ропшин услышал их поцелуи. Он взял сигареты и ушел в маленькую кухню. Но и здесь ему были слышны их страстные поцелуи и любовные стоны.

Прошел почти год, а Ропшин так и не знал, что делать. Работать он стал мало... Каждая его минута была мысленно направлена к ней, к Жанне. И вот как-то зимой он решил поехать на охоту. Охоту он любил, а особенно зимнюю. В деревне Вехла у него был домик. Собрался он живо и, оставив Жанне денег, уехал.

После грязной, неуютной Москвы деревенька ему показалась чудом! Глубокие снега лежали на полях, и голубым отдавали тени. Проходя мимо старенькой церкви, он увидел рыжеватого молодого человека с бородой, который мастерил ограду вокруг церкви. Приостановился. Бородатый ласково поздоровался. Познакомились. Оказалось, что это новый священник, отец Василий. Закончил семинарию и приход получил.

— Народишку не густо, — говорил он, — а так хорошо. И места хорошие, и церковь. Вот ее я подновлю... Я ведь тут хочу на всю жизнь.

— Жениться надо, — сказал Ропшин.

— Нет... Я монах.

Ропшин поглядел в голубые глаза священника и огорошенно спросил:

— Зачем?

— Богу усердно служить. У меня мечта заветная. Хоть маленькую частичку России оживить! Ведь погибаем... — И все это отец Василий говорил улыбаясь...

На другой день Алексей Николаевич, подхватив «тулку» центрального боя, нацепил на валенки лыжи и с соседской собакой Розкой пошел посмотреть зайцев. Розка, из породы русских гончих, весело бежала по морозу, местами проваливаясь в снег. За день добыв трех зайцев, Ропшин вернулся домой. Зайцев отдал хозяину собаки Думову. Тот в ответ накормил его щами. Выпив по стакану водки, разошлись.

Дома, набросав полную печь дров, Ропшин разделся и лег под

одеяло. В теле была великая усталость. Согревшись, он стал уже засыпать и вспомнил Жанну. Почему-то увидел ее голой... Защемило сердце... Ропшин поднялся и нашел сигареты. Огонь в печи через щель в дверцах отражался на стенке оранжевыми языками. Ропшин закурил и стал думать об отце Василии. Он представил себе, как этот двадцативосьмилетний человек всю свою жизнь будет жить в этой деревне, ремонтировать церковь, ходить к людям, собирать их... И он увидел, как потянутся со временем сюда из окрестных сел люди. Вначале на праздники, а после и в будние дни... А монах будет жить, работать, и никогда не будет в его душе того, что сейчас в душе Ропшина. Он сунул босые ноги в валенки и пошел курить к печке. Вспомнил, как сегодня Розка подняла первого зайца, как бежали они и как умело собака вывела русака на выстрел... Вспомнился запах пороха... И тут же, словно болячка какая, вспомнилась Жанна.

И Ропшин подумал, что надо решить этот вопрос, и решить сейчас, немедленно!

Он стал думать о том, что никогда не сможет на ней жениться, как и никогда не откажется от нее...

— Да что же это?! — вдруг заговорил он вслух. — Ведь не любовь это никакая! Похоть! Простая, элементарная похоть, а от этого в сердце боли! Рассудок с этим не может справиться! Муть...

Это слово вдруг обрело для него какой-то видимый смысл. Он понял, что Жанна, видевшая в жизни удовлетворение только физических потребностей, никогда не задумается о жизни духовной. Что лет через пять она, спившаяся, будет проводить ночи среди таких же пьянчуг... Станет приходить к нему, дыша перегаром, с синяками на ногах... Станет ругаться беспрестанно матом...

«Пойду-ка я завтра к отцу Василию и все ему расскажу! Надо покаяться! Надо жить иначе! Хотя бы помочь священнику... Да, остаться и помочь!» Но тут же понял, что не останется... В печке гудел ветер. Ропшин выглянул в окно. Темно, пусто, тоскливо, а в груди еще тоскливее... Темное окно притягивало. Хотелось хоть что-нибудь увидеть...

«Почему же этот рыжий отец Василий нашел в себе силы и стать монахом, и жить? А я?!»

Но сладенькая, дурманящая мысль вдруг вошла в него: «Да ведь тебе потому и хорошо с этой Жанной, что она развратна! Тебе же это и надо! Ты не смог, не захотел жениться, иметь детей! — И то чувство, какое когда-то Ропшин испытывал в детстве, подглядывая в женскую баню, с Жанной словно бы воскресло и материализовалось... — Сладкая, вонючая муть...» Когда стало светать, Ропшин взял ружье, лег и застрелился. Перед этим, как только он взял в руки ружье, подумал, что ехал сюда именно для этого...

Его схоронили на деревенском кладбище. Отец Василий, бывший на похоронах, недоумевал: зачем, отчего он погубил себя? Свою душу? И, вернувшись с кладбища, долго молился и спрашивал: «Зачем, отчего?!»

Если бы он знал, что душа художника Ропшина переполнилась мутью и заразила кровь...

«Напиши маме...»

Дмитрий проснулся от духоты и, чувствуя, что покрылся липким потом, вылез из-под толстой перины, которой когда-то давно укрывалась его бабушка. Жена тихо спала рядом. Он всунул ноги в кроссовки, нащупал на табуретке сигареты и зажигалку, вышел на крыльцо. Светало. Почуяв человека, из будки вылез старый кобель, встряхнулся, звеня цепью. Дмитрий закурил, вытащил из куртки старую газету и постелил ее на приступочек. Кобель подошел и встал рядом, глядя на него

гнойными глазами. Дмитрий с тоской поглядел на свою белую «Ладу» и подумал, что зря, напрасно он приехал к брату.

Двадцать лет они не виделись, а встретились как враги. Дмитрий был старшим в семье Кармановых. После восьмого класса он сразу же уехал в город, а окончив кулинарный техникум, куда поступил случайно, удрал в Москву. Сейчас он был директором крупнейшего ресторана, а его младший и единственный брат Егор так и остался крестьянином. Год назад у него умерла жена, оставив ему четверых детей. Старшей, Галочке, было двенадцать, а младшему, Гоше, — три. Уже два года, как Егор Карманов ушел из колхоза в единоличники. Он взял в аренду землю, бычков и пытался выбиться из нужды. Он и дом свой перевез из деревни ближе к своему участку. Деревенские мужики отказались ему помогать ставить дом. Тогда он вместе с женой, Полиной, сам разобрал весь дом, перевез на своем коне по бревну. Вдвоем же они и ставили его. На этих-то работах Полина и надорвалась. Беспрерывно шла кровь горлом... Но некогда было. Сплюнет, пополощет рот — и опять за дело. Бревна подымали. Тащил на веревке Егор один... Ей до смерти было жалко мужика, и она как могла помогала. Упрется плечом в многопудовое бревно и толкает его... Надо было до осени, до дождей дом поставить. Пока ребятишки жили у бабушки. Но на нее надежда небольшая — она старая, глухая, да еще левой руки нет. Оторвало веялкой. Когда Егор закрыл дом крышей к сентябрю, Полине сделалось совсем худо. Но вида не показывала. Надо было еще колодец рыть, клеть ставить в него. И все успела. Утром, когда уже привезли ребятишек, вышла она к новенькому колодцу за водой, стала поднимать бадью и упала замертво. Нашел ее Егор, возвратившись со своей фермы. Увидел — лежит его Полина согнувшись калачиком, а по подбородку кровь. Потрогал, а она уже закоченела. Едва выправил. Не класть же согнутой в гроб. Плакать не плакал, некогда. Старшая за него отголосила тонким страдающим напевом. Голосила Галка, видно, подражая старухам, но получалось так больно, что Егор чуть было не сошел с ума. Днем работал, а вечерами пил дурманный самогон, если был, а не было, то одеколон, ящик которого стоял в подполе.

Дмитрий курил свою длинную американскую сигарету и вспоминал вчерашний спор с Егором. Вначале, когда приехали, все было хорошо. Во-первых, Егор ни разу не видел его жены Людмилы, а увидав ее, опешил и оробел. Величественно красивая женщина. Крупная, высокая, с белой кожей. Глаза у нее были синими, а длинные черные волосы она укладывала по-старинному, вокруг головы. На лице — ни единой морщинки, словно оно было из обожженного фарфора. Румянец нежно стелился по щекам и таял ближе к скулам. Да не только Егор, дети и те при виде ее присмирели.

После первой бутылки мужики вышли покурить.

— Ну ты и дал! — покрутил головой Егор. — Я таких и в кино не видал... Где же ты ее нашел?

Нашел ее Дмитрий в коммуналке, в которой жил и сам, пока дожидался квартиры. Людмила казалась замкнутой и строгой. В то время она только что поступила в финансовый. Отец у нее был инвалид, перенесший тяжелую травму головы и чудом оставшийся в живых. Он тихонько ходил по коридору, шаркал тапочками и при каждом шаге пристанывал. Мать, из-за болезни отца, работала ночной уборщицей в метро. Жили они тихо. Никто и никогда не слышал от них худого слова. Когда Дмитрий пытался куда-нибудь ее пригласить, она загадочно улыбалась и говорила:

— Лишнее это.

Но еще тогда Дмитрий понял, что влип! Влюбился так, что уже не было никакого удержу...

Через год он получил квартиру и место директора ресторана. Деньги были, денег было даже много. Он обставил квартиру арабскими

и японскими гарнитурами, накупил всякой всячины и приехал в свою коммуналку.

Открыла дверь Людмила. Дмитрий прошел сразу в ее комнату.

— А где отец? — спросил он, не услышав его постоянного стона.

— Умер, — спокойно ответила она.

И тогда безо всякого перехода он сказал:

— У меня хорошая квартира... Выходи за меня замуж!

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас! — ответил он.

Люда развернулась, зашла за ширму и вскоре вышла с чемоданчиком.

— Мама! — позвала она.

Откуда-то из-за шкафа показалась седенькая женщина.

— Мама, я выхожу замуж и уезжаю к Диме.

— Поезжай, — покачала головой мать.

— Вечером позвоню, как устроюсь.

И они вышли из квартиры.

Прожили они восемь лет, а детей у них не случилось. Виноват был Дмитрий Николаевич. Что-то у него было не в порядке. Надо было лечиться, но он решил обойтись народным средством и налег на икру. К своим сорока восьми годам он был толст, брюхо имел хоть и твердое, но большое, как шар. А Людмила становилась все краше и краше и в то же время все замкнутее. Дмитрий покупал ей бриллианты, дорогие наряды. Все это она носила с удовольствием, но оставалась прежней...

Дмитрий докурил сигарету и сразу же вытащил вторую. Кобель медленно поплелся к будке досыпать. Прикурив, Дмитрий Николаевич еще раз с тоской подумал о том, что приезжать было не надо.

«А ведь подарков навез и продуктов. Одной водки «Смирновской» два ящика!»

Водку Егор пил страшно. Опрокинет стакан и зажует луковицей. И мат через слово. Когда уже ложились спать, Егор, сильно опьяневший, мотая кудлатой головой, вдруг стукнул кулаком по столу.

— На хрена ты приехал! Звал я тебя, что ли! Где же ты все эти годы был? Где?! Ты погляди на меня! Мне сорок четыре, да? А на вид?! Во! — Егор заскрипел желтыми крепкими зубами.

Дмитрий хотел его остановить, но Людмила сказала:

— Пусть, ему так надо.

Когда они вошли в дом, она ничуть не испугалась или сделала вид, что не испугана ошарашивающей бедностью Егора. В кухне стояла жестяная ванна, до краев набитая киснувшим детским бельем. На плите варилась картошка в мундире. Запах в комнатах стоял до того ужасный, что Дмитрия чуть не вывернуло.

Егора дома не было. Он уехал косить на болото.

Людмила нагрела воды, вымыла маленького, вынесла помои. Перестирала все белье.

Галка, испуганная, бегала рядом и просила:

— Не надо, тетя Люд, не надо! Папка ругаться будет!

Людмила вдруг обняла девочку и нежно поцеловала ее в самые губы. Галка умолкла и с этой минуты влюбилась в эту удивительной красы женщину. К вечеру они вдвоем привели в порядок весь дом. Двух средних, Пашку и Валерку, отправили за цветами. Когда стало темнеть, приехал на огромном зароде сена Егор. Людмила вышла на крыльцо в красном, пышном платье, а на плечах лежал длинный красный шарф. Именно такой и увидел ее впервые Егор. Он остановил коня и долго, не мигая, смотрел на нее. Тонкая судорога пробегала по телу... Следом в спортивном костюме выплыл толстобрюхий Дмитрий. У крыльца блестела белая машина. Егор оглядел брата.

— Разъелся, гад... — и поехал разгружать сено. Ему побежали помогать Галка, Пашка и Валерка.

— Папка, тетя Люда-то, ой, хорошая!

Егор выругался. И только тут заметил, что все дети чисто одеты, как он еще и не видел.

— Пап! — светился радостью семилетний Пашка. — Кроссовки ведь!

Егор сбросил сено и пошел к колодцу. Галина полила на спину, на лицо. Он вытерся до черноты затертым полотенцем и, подумав, надел чистую рубаху, что загодя принесла дочка.

Войдя в дом, он оробел. Все было чисто прибрано, играла музыка, а стол ломился от угощения... Главное же, пахло женщиной. И сама она стояла под лампочкой, статная и красивая, как богоматерь.

Егор сглотнул слюну, протянул Людмиле свою заскорузлую, в сплошных мозолях руку. Да и Людмила наконец его разглядела. Чуть повыше мужа, худ, с коричневым, обветренным лицом. Глубокие морщины разрезали все его лицо. И только пронзительные голубые глаза смотрели молодо. Щетина, что обметала обтянутые словно дубленой кожей скулы, отливала сединой. По всему было видно, что природа наделила его огромной физической силой.

После первого стакана Егор разговорился.

— Тяжело, тяжело, братка... — скороговоркой начал Егор. Рука его, с квадратными ногтями, заскребла по столу. — Один тяну, все один. Вон, одна помощь, Галка! Вишь, как, а Полину загнал... Запалил бабу... Ой, жалко! Да и люди стали лютые. А я не могу боле в колхозе! Я этих лодырей кормить не могу! Не слыхал, будут землю нам продавать, а?

— Не знаю, — признался Дмитрий. — Я как-то и не интересовался.

— Во, паразиты! Это что же с нами понаделали, Дима?! Ведь семьдесят лет изгалялись, и опять нету им никакой угрозы! Ведь тут беда...

— Слышь, Егор, — остановил его брат. — Давай-ка в город! Я тебя устрою. Ко мне пойдешь! Такие деньги иметь будешь!

Егор заходил желваками.

— Ты что же думаешь-то, я дурнее тебя?! Да не могу я землю-то бросить... Тут ведь... Ах ты, етит твою мать! Тут что хошь, то и делай! И земля вроде как чужая, и бросить ее нету сил! Прям как через кровь! А они, эти... понимают, нет, что жилами я в ее врос! Подыхаем на этой земле... Я вот с колхоза ушел, так они, люди-то, прямо меня со света сживают! А мне надо кой-чё ребятишкам оставить. Они у меня сироты! А ты сам-то коммунист?

— Коммунист... — тихо ответил Дмитрий.

Страшно поглядел на него Егор.

— Ленинец, что ли?! Лежит в гробе, а вы ему кланяетесь, а живых, живых нас вам не надо?! Не жалко!

— Ты вот!.. — вскочил Дмитрий. — Ты при мне не надо...

Егор допил свою водку.

Людмила поддела ломтик красной рыбы и ловко, подойдя сзади, положила этот ломтик прямо ему в рот.

Егор растерялся от такого обращения и вдруг почувствовал, как ее рука жадно прошлась по его спине, бокам, а после скользнула под ворот... Хорошо Дмитрий в это время на крыльцо вышел. Егор медленно поднялся, словно во сне... Почувствовал на губах женский дурман и выбежал на крыльцо. Дмитрий курил...

Докуривая вторую, Дмитрий думал, может, пойти, поднять брата похмелиться, как услышал его мат-перемат. Он поднялся и пошел на

голос. Егор уже стоял у крытого загона и гнал рвущегося обратно телка.

— Воюешь?! — усмехнулся Дмитрий.

Мокрый от пота, тяжело дыша, Егор подошел к плетню.

— Воюю. — Он вытер лицо рукавом. — На будущий год парники поставлю. Овошами ранними возьму, после картошкой молоденькой... Ничего, брат, я вытяну! Я, если хочешь знать, свой маленький мясной заводик устрою, да! Ребятня подрастет. Эх, знаешь как погоним?! Хрен какой американец угонится! Дай-ка закурю! А ты чё это, коммунист, а куришь чужие?

— Хватит тебе! — поморщился Дмитрий.

— Хватит так хватит, — Егор закурил и подтолкнул брата. — Пойдем, похмелимся!

— Пошли! — радостно согласился Дмитрий.

После обеда Людмила погнала мужа в райцентр. Посадила к нему в машину Галку и наказала, что нужно купить. Дала целый список, начиная от детской одежды, кончая кастрюлями.

Когда машина уехала, Людмила постояла во дворе и быстро пошла к сараю, где возился Егор. Он не слышал, как она вошла, и только когда она уже положила ему руку на плечо, вскинулся:

— Ты...

— Я, Егор, я! — жарко заговорила Людмила и, окинув быстрым взглядом сарай, потащила его к мешкам с овсом...

Так они прожили всю неделю. Дмитрия за чем-нибудь усылали, ребятишек выпроваживали за ягодой или грибами, а сами они, теперь уже на перине, озверело бросались друг на друга. Через неделю Дмитрий и Людмила уехали, а еще через неделю Егору стало так тоскливо, так плохо, что он ночью выскочил во двор, встал на четвереньки и завыл! Он выл дико, страшно, катаясь по земле как безумный. Выбежавшие дети кинулись к отцу. Он едва пришел в себя и, качаясь, поддерживаемый Галкой, прошел к той перине, но лечь на нее не смог и ушел к детям.

В конце апреля Людмила родила. Дмитрий от счастья ошалел. Все эти девять месяцев он не знал, чем угодить жене. Он заискивал, покупал дорогущие подарки, а она носила свой живот как царица. После потребовала, чтобы все свои деньги он перевел на ее книжку. Он все выполнил. Родилась девочка.

Дмитрий сообщил брату. Егор посчитал в уме и понял — его дочь. И это стало последней каплей. Он знал, что влюбился в эту чудную, пахнущую розами женщину так, что даже смертный страх и тот казался ничем! Каждую минуту она стояла перед ним и словно по частичкам вынимала из него жизнь. И когда этой жизни почти не осталось, он привязал вилы к плетню, разбежался и прыгнул на них животом. Говорят, еще час он был жив и все говорил и говорил своей старшенькой:

— Напиши маме. Она вас примет! Пиши ей, доча, скорее пиши. Пусть приедет!

— Кто приедет?! — не поняла дочь.

— Людмила! Она вам теперь матерью будет...

Людмила приехала на похороны вместе с Дмитрием. Схоронили Егора рядом с Полиной. После поминок Людмила всех детей увезла в Москву. Вскоре она их переписала на свой паспорт.

А после — посадили Дмитрия Николаевича. Ему дали пять лет. Все имущество оставили Людмиле Павловне как многодетной матери. Когда все закончилось, Людмила Павловна собрала детей.

— Дядя Дима к нам больше не придет.

ПОЭЗИЯ

БОРИС СИРОТИН



К МИЛОМУ СКЛОНЯЯСЬ

* * *

Привиделось, что где-то
по панели,
Твердя любви летучую строку,
Бегу, бегу в студенческой шинели,
И спорый дождь стучит по козырьку.

Привиделось, что я в Самаре
старой
Гляжу с откоса на вечерний плес,
И падает далекий звон усталый
В пустое сердце, чистое от слез.

Молчит Россия, в колокол ударя,
И вопиет о долге существо,
Но пониманья — ни от Государя,
И ни от тех, кто крови ждет его.

Везде и всюду я посерединке —
Ни к жертве не стремлюсь,
ни к палачу.
Я не хочу быть с кем-то
в поединке,
Я мира для Отечества хочу.

Но, к милому склоняясь изголовью,
Любя, я не могу не замечать,
Как небо за окном набухло кровью,
И меж лопаток жжет его печать.

И подходя к обрывистому краю
Так близко, что взлететь немудрено:
«О Господи,—беззвучно повторяю,—
Зачем страданье это мне дано?!»

И в этот век, слепой, громоздкий,
дымный,
Что душу так и сяк пытал мою,
Вновь клянчу у людей любви
взаимной
И у Пространства отзвука молю.

СИРОТИН Борис Зиновьевич родился в 1934 году в степной оренбургской деревне. Среднюю школу окончил в Саранске, а учеба на механическом факультете сельскохозяйственного института уже связана с Куйбышевом, где поэт живет и сейчас. Работал техником-термистом и конструктором на заводах, корреспондентом в районной и областной газетах. Автор многих поэтических сборников, вышедших в Куйбышеве и Москве. Член Союза писателей СССР.

3 октября 1989 года

С днем рожденья, Есенин Сергей!
Ты меня нынче малость послушай,
Своим именем, песней своей
Просветли истомленную душу.

Зелена под окошком трава,
Но суровые ветры подули,
И сегодня вот — до Покрова —
Падал снег;
Это в честь не твою ли?

Ох, одни лишь снега в нашу честь.
И пускай! Вновь душа отдыхает
На снегу... Пока злобная жесть
По страницам вовсю громыхает...

Что тебя потревожу, прости.
Но идти к тебе с ложью —
не вправе:
Слово «русский» опять не в чести
В заговоренной русской державе.

Говорят, говорят, говорят...
А меж тем осыпаются кроны,
Лес спускает последний наряд,
Заговóренный, заговорённый.

Ну а нам — на остатние дни —
Только крики вороньего грая,
Только голые ветки одни
Да снега — без конца и без края.

И шепчу я в осенней пурге,
Среди хлопьев, мелькающих крупно:
— С днем рожденья, Есенин Сергей,
С днем бессмертия,
стих неподкупный!

* * *

Есть еще добрые души на свете:
Машут нам с луга веселые дети;
Над вечереющей стоя рекой,
Девушка машет печальной рукой.

Есть еще в жизни надежды и цели:
Церковь, как свечка, затеплилась еле —
Тонкую свечку в неясной дали
К небу возносят ладони земли.

Все-таки кое-что в жизни осталось,
Что украшает и младость, и старость:
Видим, как падает, споря с тщетой,
Дух укрепляющий луч золотой.

И улетать нам так жалко из плена,
Ото всего, что так жарко и бренно
Дышит, надеется, плачет и ждет, —
В царство свободы, холодной, как лед.

* * *

Не научил нас прошлый опыт,
Не сходим со своей тропы,
Живем, не слыша грозный ропот,
Не видя страшных глаз толпы.

Вернее — видим мы и слышим,
Да только в новой кутерьме
«Один» красивым шрифтом пишем,
А «два», как водится, в уме.

Иль вновь событий небывалых
Нам захотелось? и гробов?
И гул растет из тьмы подвалов, —
Как Блок писал, — из погребов.

Что обретет, что потеряет
Народ на резком вираже?
Но кто-то руки потирает,
На верхнем сидя этаже.

А кто-то, чтоб толпа остыла,
Кричит, что он ей лучший друг,
И полуправдою постылой
Нас кормит из проворных рук.

И третий, вкрадчиво-лукавый,
Взломав российские века,
Все машет тряпкою кровавой
Пред самой мордою быка...

И в эти дни, часы, минуты
Зрит, кто от неба не отвык,
Как скорбно испаренья смуты
На солнечный ложатся лик.

* * *

Люди не дают себя любить,
Не дают любить — как это странно!
Но зато дают себя губить
В тонких, золотых сетях обмана.

Только подойдешь к чужой душе,
Только тронешь с робкою улыбкой...
И не тронешь — а она уже
В панцирь скользкой прячется
улиткой.

И глаза холодные глядят
На тебя; и неуютно станет,
Ибо отстраненный этот взгляд
Хуже ненавидящего ранит...

Мой товарищ, будем вместе пить
Радость и печаль из общей чаши!
Женщина, дай так тебя любить,
Чтобы имена смешались наши!

Не хотят.
И, словно с разных льдин,
Подлому теченью помогая,
Сделал тихий шаг назад один,
Наблюдает холодно другая.

Люди, ледяная нас броня
Заковала — это ли не странно!
Люди, как нам выйти из вранья,
К звездам из цветастого тумана?

Трезво и морозно на земле.
Сладок зимний воздух родниковый.
И отчетлив даже и во мгле
Строгий белый храм средневековый.





ВАЛЕРИЙ ГАНИЧЕВ



ТЕМРЯНЬ... ТЕМРЯНЬ...

РАССКАЗ

Профессор филологии Николай Александрович Фалеев пребывал в отличном настроении. Он ехал в Белев. «Ну и что? — скажете вы. — Что за земля обетованная, этот Белев? Да и где он?»

Николай Александрович, как человек сведущий в отечественной истории и географии, знал, конечно, что Белев город старинный, что стоит он на реке Оке в Тульской губернии, то бишь области, что не раз жгли его ордынцы и крымские татары, что возвели его на одном из выступов засечной линии русской державы, а впоследствии превратился он в провинциальный тихий городок. Да, такой городок, из которого и исходила какая-то незримая тихая сила, наполняя выходцев из провинции особой зоркостью, слухом и могучим талантом. Ведь недаром здесь сотворил свои первые стихи Жуковский, создавал в душе своей музыку блистательный Даргомыжский, начинали осознавать свое предназначение Левшин и Киреевский.

Изучая историю литературы и народного творчества, Николай Александрович поражался: почему именно здесь, в центре России, вырастали столь выдающиеся таланты, что за благодать порождала их? Толстой, Тургенев, Фет, Тютчев, Болотов... Что способствовало этому: земля? природа? особая атмосфера? А может быть, изумительные певцы и сказочники, что вдохновляли Жуковского, Киреевского, Даргомыжского? Ведь именно здесь, рядом с Белевом, в деревне Темрянь, жил один из первых истинных ценителей сказок, их собиратель Василий Левшин. Здесь прохаживался он по деревне, слушая стариков и старушек, странников и калик перехожих, чтобы собрать их словесные сокровища под книжную оболочку.

Сборник Левшина «Вечерние часы, или Древние сказки славян древлянских», изданный в 1787 году, Николай Александрович купил за сто пятьдесят рублей, и эта книга в его библиотеке считалась дорогой реликвией. Ехал он в Белев с предвкушением радости, пытаясь восстановить звук прошлого, с желанием проникнуться атмосферой сказки, почувствовать истоки того мифологического мышления, которые порождали прелесть в древних преданиях. Готовя для университетского издательства книгу «Поэтический строй русских сказок и песен, записанных Василием Левшиным и Петром Киреевским», он собирался внести в рукопись последние поправки, оживить ее новыми впечатлениями, ассоциациями и сдать в набор.

Все нравилось ему в этой поездке: и то, как мягко пружинил текущий навстречу теплый летний воздух, и как курчавились белым подбрюшьем медленные облака, и как поворачивали вслед машине свои желто-белые головки любопытные ромашки. А главное, он был доволен тем, что рядом с ним ехал сын.

Николай Александрович гордился, что с сыном они единомышленники. Нет, не в мелочах и не в образе жизни, тут каждый волен выбирать свои жизненные ходы, считал профессор, а в основном: в определении смысла бытия, в служении науке, приверженности к внутренней свободе и истине. Правда, последнее время и он засомневался в своем влиянии на сына. Началось с того момента, когда тот избрал для учебы не филологический профиль или, на худой конец, журналистику, а экономический факультет.

— Отец, нравственность нужно строить на фундаменте бытия, нужно уметь считать, опираться на реальность. Хватит, мы, русские, все в идеалистах ходим, да еще и гордимся этим. Трезвость, расчет, умение создать богатство и вообще созидать — вот что нас из трясины вывезет. Все остальное уже перепробовано.

Николай Александрович обиделся. Нет, не за эти по-взрослому сказанные слова, а за то, что сын все решил сам, не обращаясь к его отцовскому опыту. И до боли жалко было библиотеку: собирал многие годы в надежде, что понадобится отпрыску, что будет она для него основательным фундаментом знаний. Но вот не нужна оказалась. К чему экономистам литературное наследие! Потом, правда, после поступления сына в университет, утешил себя: самостоятельность-то сам ему прививал, вот он и достиг ее. Сын, однако, не замкнулся в прибавочной стоимости да товарных отношениях: ходил слушать лекции на философский факультет, отцовы книги читал запоем, интересовался современной литературой, особенно городской прозой, изучал математическую статистику, социологию, физику твердого и жидкого тела, астрологию и историю. А в прошлом году неожиданно сообщил родителям, что поступил в аспирантуру.

— Не удивляйтесь, — скоморошничал он тогда, наполненный радостью, — у нас обычно эти места сыновьям лимонно-мандариновых магнатов продавались, а ныне перестройка, и шеф наш, на ренте по приему высокоприбыльных студентов деньжат поднакопив, в реформаторы подался, в избирательной кампании участвует, в законодатели рвется. Всяк по-своему нетрудовые доходы отмывает. Да и приспосабливает их для приумножения. А мы в это время — шмыг в аспиранты. Редкая удача для русского студента в столичном вузе, — ерничал Евгений.

Отец радовался, но не очень, зная, что научный прыжок будет дальше и вернее, если разбежаться с дорожки практики. А с другой стороны, оторвешься от родного факультета — и забудут, оттеснят в небытие. Сыну же предстоит утвердить интеллигентное сословие Фалеевых, ибо таковым можно считаться только в третьем поколении. Сам Николай Александрович был сыном рабочего, который после окончания рабфака был послан на село — «проводить в жизнь культурную рево-

люцию». Отец благоговейно относился к книге и знаниям, устраивал по вечерам дома после работы «читки», чем вдохнул в младшего Колю страсть к слову. В выпускной год, успев выработать необходимый для каждого сельского школьника минимум — сорок девять трудодней, Николай бесстрашно сдал документы в университет и, к восторгу и изумлению домочадцев, поступил на филфак. В их райцентре он был единственный студент столь престижного вуза. Отец к тому времени переместился с начальственной районной орбиты и перешел на должность директора школы, оставаясь, однако, самым большим культурным авторитетом райцентра. На вечере выпускников он пожал сыну руку и в присутствии всех бывших десятиклассников, обращаясь на «вы», жестко сказал: «Учитесь, Николай! Не подведите школу. А район, если сможете, прославьте». Школу Николай не опозорил, но славы землякам особой не принес, хотя год за годом добавлял к своему титулу новые звания: аспирант, кандидат наук, доктор филологии, профессор. Восторженная райцентровская юность отходила вдаль, все реже и реже появлялся он в своем городке на стыке Украины и России, все больше углублялся в XVIII век — эпоху своих научных интересов. И то прошлое время обожал уже больше нынешнего, восхищался им, знал досконально тех, кто прошел по его годам, оставив след в истории. Вот и Левшин был уже реальным действующим лицом в его жизни. Он изучал его труды, спорил, как будто с коллегой по кафедре...

Машину, новенькую «Ладу», он вел сам, опасаясь, что сын, увлекшись спором, пропустит поворот, а то и того хуже — яму или бугор, в изобилии встречающиеся на неглавных магистралях страны. А то, что по дороге у них будет кипеть дискуссия, он не сомневался, готовился к ней, заранее предупреждал сына. Тот тоже готовился. Правда, Николай Александрович подозревал, что сын последнее время не очень-то прислушивался к его аргументам, а просто опробовал на нем, как представителе безопасной аудитории, тезисы своей будущей статьи или лекции. Сказал ему об этом в дороге. Евгений не обиделся, утвердительно кивнул:

— А как же, отец. Ты что думаешь: изменилось что-нибудь в нашем мире? Надо маскироваться, до конца свои взгляды не высказывать. Вон у Дудинцева в «Белых одеждах» генетики себя выдавали за лысенковцев, и это считается морально. А почему ты думаешь, что нынешние ученые-прогрессисты гуманнее? У них ведь никаких практических доказательств их правды нет, все слова и обещания. Да и слова-то у них не свои: то Бухарин, то Леонтьев, то Столыпин. Вот и надо маскироваться, чтобы не раздавили. А будешь возражать — они так прижмут, что похлестче Лысенки, в тюрьму только не посадят.

— Где же твоя научная самостоятельность, где принцип? Где же идет опробование аргументов на их ложность?

— Во мне, профессор, во мне. Я готовлю тему нейтральную, а набираю материал под ее видом для основной, генеральной. Путь вдвое больше обычного, но будет глубже и неожиданней для оппонентов. Нет, не готовы мы к плюрализму в дискуссиях и в науке. Нет капитала, некому оплачивать двойной поиск. А для истины нужен, может быть, тройной. Но я это на витке докторской докажу.

Отец не соглашался, все это казалось ему безнравственным и даже лицемерным. Сын снисходительно возражал:

— Нравственно то, что истинно, а истину добыть надо из глубин, в глубины надо опуститься, чтобы воздух не перекрыли. Вы-то, извини, на поверхности плаваете. Вас используют как плавучие средства, да и сил у вас уже в глубины опуститься нет.

— Дорогой мой, ты устраиваешь мне разнос, но забываешь, что я лишь часть, вернее — частичка общества. Часть, которая многому противостоит.

— Отец, вы, старшее поколение, создали жесточайшую из всех утопий, ибо мираж — это самое опасное, он ведет не в сторону оазиса.

— Неужели ты считаешь, что желание жить лучше — мираж?

— Нет, но вы разрушаете на каждом этапе больше, чем создаете, хотя говорите об обратном. Не научились созидать. А ведь ген разрушения в человеке сильнее гена созидания, и надо его нейтрализовать. Надо, чтобы человек знал, что разрушение наказуемо. Я, отец, думаю над особой экономико-нравственной общественной закономерностью: неизбежность наказания тех, кто посягнул на чужое, кто преступил закон нравственности, кто разрушил экономический порядок, кто не способен на созидание.

Николай Александрович покачал головой, посмотрел, сможет ли до поворота обогнать медленно ползущий автобус, и увеличил скорость.

— Ну, а что ты тут нового откроешь? Верующие давно это исповедуют. Бог воздаст!

Неожиданно выскочивший из-за поворота лихой грузовичок заставил «Ладу» моментально втереться между автобусом и идущим впереди молоковозом.

— Ты, отец, потише. Бог-то воздаст, наверное. Но в мире все больше умов, возлагающих надежды на науку, ждущих чуда уже от нее, а не от творца или надеющихся на удачу, случай, на то, что им повезет, они высчитают момент, захватят, украдут, приобретут, и это обеспечит безбедное, привольное житье. Но и они, неверующие, все равно должны знать, что существует сочетание силовых линий истории, носящих физически обусловленный характер, которые обрекают их или их детей на крах, муки и бедствия.

— Ну, куда как интересно, забавно и далеко от реальной жизни.

— Ничего подобного. Я просчитал на ЭВМ все антизаконные акты и действия начала века, изучил тех, кто в них участвовал, и установил прямую связь с трагедиями, катастрофами, бедами нашей жизни во второй половине столетия. Скажу тебе, группы, организации, лица, хотя у личностей тут закономерность не всегда четко выявляется, совершившие губительные для общества деформации, впоследствии подверглись разгрому, угнетению или даже уничтожению. Вот, например, русская интеллигенция начала века была чужда реальной действительности, недовольна своим положением, брюзжала по всякому поводу, поднимала шум вокруг незначащих событий, бродила в поисках наиоригинальнейших идей-пустоцветов, не имея никакого представления об управлении государством, почем зря ругала существующий порядок, плохо участвуя в его реальном совершенствовании, звала лишь к топору, а не к созиданию — и поплатилась крушением миропорядка, была изгнана из России, а та, что осталась, потеряла свою духовную власть.

— Ого! А кто же воспользовался ее крушением?

— Нет, подожди. Об этом потом. Я продолжаю. Крестьянство, услышав коварный призыв «грабь награбленное», стало захватывать и уничтожать имения, центры богатейших коллекций, очаги искусства и культуры. Сколько тогда сгорело книг, уничтожено картин, разбито уникальных ваз?! Затуманившим голос совести казалось, что они возвращают себе отобранное богачами. Они не подозревали, что прокладывают путь к самой страшной своей катастрофе: к 1929 году, к году великого перелома, к раскрестьяниванию, когда рухнул весь уклад сельской жизни. Русское крестьянство понесет такие потери, что никогда уже не оправится.

— Но ведь оно же не само по себе нанесло удар, сработала система.

— Ну да, не само, хотя в нем был элемент саморазрушения, в лице тех, кто самозабвенно кричал, что чужое богатство должно кормить их. Особенно старались раскрестьянить крестьянина партийные доктринеры, чекисты, комбедовцы. К ним мой закон пришел в тысяча девятьсот тридцать седьмом! А к стране — в сорок первом! А к тем, кто считал

свой народ избранным, проявлял презрение к другим народам, закон пришел топками Освенцима и Майданека. Причем в их беды вовлекались невинные.

— Ну что ж, это оригинально, хотя полная метафизика, — покачал головой Николай Александрович, поразившийся тому, что сын осмысливал многое из того, чем были и его думы, но осмысливал не так, как считал он, отец. — Однако последствия или результаты в твоем законе можно предсказать, по-моему, только задним числом.

— Почему же? Я уже сегодня заложил данные на тех, кто предложил уничтожить бесперспективные деревни, да и всю Россию зачислил в категорию сырьевого пространства, кто упорно не хочет заниматься проблемами большинства. Мне их судьба, хотя они и купаются в лучах славы, совершенно ясна. Скоро будут корчиться в муках организаторы необузданных социальных экспериментов, экологических катастроф, развратители молодых, сексуальные маньяки и кое-кто еще.

— Ты, Женя, современный Базаров, уповаешь на физические, механические законы. Мне это напоминает моления наших экономистов на экономические законы, которые-де сами все поставят на место в разрушенной экономике. Не поставят! Или эти стенания о правовом государстве. Будто сейчас не хватает права и законов, чтобы обуздать жулика, уголовника и взяточника. А их не обуздывают. Ждут, что правовые порядки сработают сами по себе. Все ждут закона как бога, а бога-то не ждут. Нас же может спасти не правовое государство, а нравственное. Нас могут уберечь лишь совесть и стыд. — Увидев, что Евгений покачал головой, закончил: — Нет, не строй, не общество, а личность нашу, нашу человеческую суть.

Так и мчались они по Среднерусской возвышенности, споря друг с другом, не соглашаясь, не ощущая той жизни, что мелькала за боковыми стеклами машины.

В Белеве возбужденное состояние спора постепенно прошло — было почему-то неудобно говорить о чем-то отвлеченном и абстрактном. Городской музей был закрыт. Прошли к высившейся недалеко колокольне. У стен одетого в строительные леса монастыря постояли без слов. Решили ехать в Темрянь.

— Тут она недалеко, за Сестриками, Темрянь-то, — показал за дамбу паренек с бензоколонки. — Прямо, а потом направо.

За Сестриками деревни не было, лишь справа мелькнули скворечни садовых домиков. Евгений вышел, разминаясь, сбегал к дачникам, замахал руками:

— Деревня, говорят, налево, через плотину.

У размытой дождями дамбы машину пришлось оставить. Евгений отстал, а Николай Александрович направился к первому с краю кирпичному строению. Поросшие каким-то голубым мхом кирпичи придавали неестественный цвет дому. Возле крылечка не было вытоптано никакой площадки. «Не живут, наверное», — подумал Николай Александрович. Деликатно постучал. Не дождавшись ответа, толкнул дверь и — отпрянул: прямо у дверей на невысокой табуретке сидела старушка. Ее незамутненные глаза той невероятной голубизны, что только и проступала в простенках храмов от руки русских мастеров, щедро одаривших ею святых, смотрели не мигая.

— Здравствуйте, бабушка! — тихо сказал Николай Александрович. — Я церковь ищу. Там, говорят, Левшин похоронен.

Старушка склонила голову и слегка улыбнулась, поняв, зачем заглянул к ней этот пришелец.

— Сродственник, значит. Не помню. Новиковых помню, Любушкиных тоже. А твоего не помню.

— Да он тут давно жил, может, и не помните.

— Дак я-то ить тоже всегда жила здесь. Меня бабой Пашей ныне кличут. Когда замуж выходила, мне уже двадцать было. Просто Пашей

с крайней избы звали. Вот тогда-то церковь и порушили... — Она помолчала, словно ожидая реакции, и продолжала: — Большая деревня была, богатая.

— А сейчас-то много людей живет? — поинтересовался Фалеев.

— Нет, людей никто не живет. Одни старухи.

— Ну-у, — урезонивающе протянул Николай Александрович, — старухи тоже люди.

— Какие они люди, — махнула оживленно рукой бабушка, — так, тенями ходют. — Она еще больше оживилась, вспомнив, наверное, давние времена. — Бывало-то, вот по улице энтой утром с каждого двора коров выгоняют, овцы блеют, коз отдельно гонют, гуси голготят, а петух громче всех кричит... Вся улица полна. Все движется.

— Нынче-то как? — подлаживаясь под воспоминания, продолжал вопрошать Николай Александрович.

— А никак. Одна корова на всю деревню. — Вспомнив, добавила: — Немцы тоже все поотбирали. Заходили в избы, и что приглядывалось — в сумку. Их туда-сюда гоняли наши-то, русские. Они то отступят, то наступят, а мы дом-то снаружи закроем, замок повесим, а сами в подпол. Они залетают, замок собьют: «Хальте! Выходи!» С соседнего дома двадцать девять человек из погреба достали. Потом, правда, они из плена воротились. Два всего погибло.

Николай Александрович обвел взглядом верандочку, где сидела баба Паша, все было прибрано и аккуратно сложено. В углу лежали коротенькие полешки.

— Детки-то есть, наверное? Помогают?

По лицу старушки пробежала волна, голубые глаза потемнели, посмотрела без укоризны:

— Согрешила, видать. Я ведь в Бога верую. Церковь когда разрушили — боялись рожать-то. Потом война. Мой-то с фронта возвратился и к другой ушел. Грех на мне какой-то.

«Что за грех мог быть на этой безответной и чистой душе? Чью ношу она взяла на себя?» — с горечью подумал московский профессор. С надеждой спросил:

— Ну а вообще-то кто-нибудь бывает? Начальство, лавка?

— Да нет, дорогой... Я не жалуюсь, а так, к слову: не заходят из совхоза никто, им некогда. Вот директор дом купил под дачу, может, поселится... Спасибо тебе, что поговорил. Церковь-то с того краю. Там Вера Золотарева, может, она твоего-то помнит. — И старушка приветливо улыбнулась, обнажив во рту единственный зуб.

Николай Александрович и раньше замечал, что везде, где бывал он на селе, старые жители ходят без зубов. Обеззубела Россия, ни кусать, ни жевать не может. Один-два зуба на семью — обычное дело. А полон рот зубов бывает еще реже, чем корова или коза. Теперь он понимал директора тульского завода, который, торжественно объявляя о восстановлении на территории подсобного хозяйства в Никольско-Вяземском усадьбы Льва Толстого, с такой же гордостью сообщал, что деревенским жителям вставлены зубы.

«Осталось ли еще что-нибудь неисковерканное в этой деревне?» — с прежней горечью думал он, шагая по едва заметной дороге вдоль заброшенных и разрушенных домов. Заросшая дорога — всегда грустна и тревожна, забитые дома — это уже тоска, комок в горле от заколоченных окон, от чьей-то несостоявшейся судьбы и улетевшей с насиженной земли жизни. Николай Александрович обогнул брошенную избу и замер. На десятки километров вдоль раскинулась пойма Оки. На вздыбленные по ее краям холмы весело взбегали, протягивая друг другу руки, перелески, березовые рощи, поблескивала гладь реки, и, как настойчивые неторопливые жуки, ползли по распаханной целине трактора.

Было что-то величественное и властное в этом пространстве, на-

полнявшее душу неизъяснимым покоем и покорностью перед судьбой, неизбежностью кончины, желанием слиться всеми клеточками, атомами собственного существа с вечностью, с этой убаюкивающей тишиной и далью. То было, пожалуй, последнее его высокое неземное чувствование в Темряни. Он повернулся... Острым лезвием прошло по глазам вздыбленное и разрушенное сооружение. Паривший некогда над просторами полей и лесов храм был повержен жестоким ударом разрушителя. Повержен и обезглавлен, лишен крестов и куполов. Вместо входа и оконниц зияли провалы, лишь на одном окне виднелась решетка, не поддавшаяся усилиям погромщиков.

Николай Александрович, как и все русские люди, видел немало разрушений и жертв. Скорбел над ними тихо. Потрясали его и кадры взрываемого храма Христа Спасителя, останки разоренного Соловецкого монастыря, развалины сельской церкви в селе Рукосуйки. Видел он и убиенных солдат во время войны, жертвы автомобильных катастроф. Но особенно в его память врезался раздавленный и переломанный бронетранспортером олень, выскочивший на одну из таежных дорог, по которой двигалась воинская часть, где проходил военные сборы студент Фалеев. От удара бронетранспортера у оленя обломались рога, зависли на сухожилиях задние ноги, вывалились внутренности, а вылезший из орбиты и отлетевший в сторону глаз с сеткой смерти влажно и печально смотрел на свидетелей его гибели. Все кругом было обрызгано кровью, мозгами и крошевом из кожи, мяса и костей. Николаю Александровичу и сейчас показалось, что из провалов храма мелькнул взгляд отошедшей в преисподнюю жизни. Медленно, едва переступая ногами, он поднялся из глубины опоясывающего развалины церкви и маленького кладбища рва. Заросли сирени, черемухи и акации окружили бывшее пристанище душ. Николай Александрович беспомощно оглянулся: вьюнок, спорыш и кашка-клевер толстым ковром укрыли холмики усопших. Где ты, Василий Алексеевич? Где твои тщательно возделанные поля? Где умные книги? Где созданные напоказ конюшни и псарни? Где сказочники, поведавшие тебе предания? Что осталось от мудреца и хозяина? Прах один.

В стороне от могил громоздились облупленные кладбищенские оградки, наверное, первых послевоенных лет. Николай Александрович заглянул за одну из них. На двух холмиках стояли крест и пирамидка со звездочкой. «Новиковы» — одинаково тускло виднелось у подножия этих антагонистических знаков двадцатого столетия. У могилы сверкнула краснобокая клубника. Николай Александрович склонился, чтобы сорвать, и отпрянул, не столько оттого, что вспомнил, где он, а потому, что ему показалось: из-за листа клубники вдруг выглянул влажный, с красными прожилками, олений глаз. Николай Александрович вытер испарину и скорее почувствовал, чем услышал, что за ним остановился подошедший сын. Долго молчали, разглядывая заросшие холмики, обшелушившиеся оградки и угрюмые развалины, бросали недоуменный взгляд на растянувшийся на другой стороне приокской чаши и выглядевший благополучным Белев. Издалека, казалось, он не замечал горя, разрухи и запустения Темряни. Но правы были бы они, бросая этот упрек маленькому, еле сохранившему жизнеспособность городку? Не следовало ли обратить взоры дальше, в глубины державы и истории, в глубь души человеческой?

В ров они спустились, поддерживая друг друга. На тропке, выводящей на обратную дорогу, столкнулись с не такой еще и старой, даже бодрой и твердо ступающей старушкой.

— Вы и есть, наверное, Вера Золотарева, что живет возле церкви? — догадался Николай Александрович.

— Да, родилась тут и всю прожила здеся жизнь.

— А кто церковь-то разрушил?

— А ведь всё, когда колхозы создавать стали.

— Колхозы?

— Ну да, колхозы. Председатель-то у нас был самый малограмотный из мужиков. В церковь придешь — мир-то шире видится. А он не хотел. Надо было отличиться, авторитету заработать, вот он и сбросил колокола-то. А потом и ограду разобрал. Вокруг всего кладбища ограда тянулась чугунная. Он ее разбил и на кузницу оттащил. Валялось долго, а потом пропало все куда-то.

— А дома тут помещичьего не было рядом?

— Не-ет, не помню такого. А вон на той стороне бугорок, то священник жил. Хороший был батюшка, детей много было.

— Он что, жил по ту сторону рва?

— Что ты, милый. Рва-то не было.

— Как не было?

— Да это наш полоумный начальник, чтоб место-то загадить святое, наладил карьер здесь и рыл песок, пока ров не сделал. Перерыл батюшке-то дорогу в церковь и дьяку, вона холмики от их домов. Они и сгинули куда-то.

— Дети-то к вам приезжают? — с какой-то мрачной строгостью и тайной надеждой спросил Николай Александрович.

— Да я сама у них всю зиму живу в Белеве, — не потеплела старушка, — а с весны вот здеся. Молодые-то работать не хотят. Зять говорит: бросьте, мамаша, внуки на речку убегают, им не нужно; и дочь тоже свое: не надо, мама, гробиться, что ты все возишься? А я не гроблюсь, я живу. У земли живу, потому и живая.

Баба Вера разгладила морщинки на щеке, наклонилась и сорвала былинку, перевязала ею палец. Николай Александрович поклонился ей и пожелал:

— Живите долго!

— Да если Бог даст, все жить будем!

Уходили молча, чувствуя какую-то вину и боль. Перед поворотом повернулись, и Николай Александрович еще раз вздрогнул: в решетке единственного уцелевшего окна храма мертвел, теряя влажность, покрываясь сеткой тлена, олений глаз. Хотелось уйти от наваждения, и они сделали два быстрых шага, повернув за угол дома бабы Веры. Впереди медленно двигалась, удаляясь от них, вязанка травы. Отец и сын остановились, замерли; остановилась и вязанка, из нее послышался скрипучий голос:

— Кто за мной?

— Здравствуйте, бабушка, — неуверенно сказал Николай Александрович, ибо надеялся, что встретит хоть одного старика.

— Здравствуйте. Откуда?

— Из Москвы.

Вязанка недоверчиво покачнулась.

— В глушь-то нашу.

— Вот так оказались. А вам помогай Бог.

— Да лучше бы забрал к себе, то и помог бы.

Ответить было нечего.

Вдоль улицы, мимо пустых домов, они прошли почти бегом. Однако муки еще не кончились. В сером покосившемся доме, в проеме двери, стояла, опираясь на палку, совсем древняя старушка в длинных болотных сапогах и безмолвно провожала взглядом, словно бы ожидала, что они свернут с дороги, подойдут и спросят что-нибудь. Спрашивать было невмоготу. С другого крыльца никто и не смотрел на них: там старушка с каким-то обожженным пергаментным лицом просто слушала шаги, поворачивая ухо вслед удалявшемуся шороху.

Из последнего дома сделала шаг навстречу баба Паша, сверкнула голубой слезкой:

— Спасибо, дорогой, еще раз, что поговорил. Ты там поблагодари в Москве кто нам, пожилым, дожить-то хорошо дал. Раньше-то мы за так работали. А сейчас деньги присылают. Целых пятьдесят. Это, наверное, за раньше. Спасибо тебе, а то со мной нынче никто не говорит.

Словно шпицрутенами били — по ногам, по голове, по душе. Никто не говорил! Не говорит! А он-то с кем говорил? Каким языком? К кому слово его обращено? Да и нужно ли оно кому-нибудь? Не лучше ли бросить все: науку свою, фальшивую маскировку под человека — и пойти по умирающим деревням, искупать вину, утешать, лечить, успокаивать, отпевать...

Эх, Темрянь... Темрянь... В глазах — сидящие, стоящие в дверях, до напряжения всматривающиеся в прохожего старушки. Смотрят, прислушиваются: не идет ли помощь по их бывшей родной земле, не едет ли добрый начальник, не спустился ли с небес спаситель какой-либо?

Нет, не едет к ним добрый начальник, впору бы ему самому отбиться от злых козней; не встанут из могил их бывшие кормильцы; не окропят живой водой взрыхленную ими землицу их внуки; не спустится к ним ангел на землю. Темрянь...

За руль сел Евгений, жевал, втягивая губу, и, когда уехали за Сестрики, глухо сказал:

— Ты ничем не поможешь, отец. Не мучайся. Тут нужны мы — экономисты. Вы увлекались идеалами, а они оказались утопией, беспощадной, смертельной утопией.

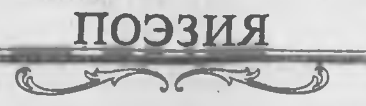
Николай Александрович бессильно махнул рукой:

— Молчи!.. Какая экономика!.. Душу вынули...

Сын замолчал, колеса накручивали километры, сердце пронизывало железной неотпускающей болью. Сумерки властно захватывали пространство, становилось все темнее и темнее. Николай Александрович закрыл глаза.

Темрянь... Кругом одна Темрянь...





ПОЭЗИЯ

Единая многонациональная

МУСА ГАЛИ



НА ВОЛНУ НАБЕГАЕТ ВОЛНА

Бык корриды

Бросает лиссабонская коррида
то в жар, то в холод —
так азарт велик...
Кому — умора, а кому — обида,
но жалости достоин только бык.
Ах, пикадор!
Он весь горит в отваге,
горячий жеребец ему под стать.
Куда там бык! да на такой коняге
и льва, однако, можно обротать.
Предела нет сноровке: острогами
бьют-колют в кость, в живую мякоть,
в хрящ...
...и вот возник тореро перед
нами,
кидая на рога судьбу, как плащ...
Где шпага, где рога?
Смешались в смерче
пунцовый плащ и разъяренный бык.
В новинку все, но от того
не легче:
я — весь в огне, а рядом — вой
и крик!
...Постигнуть в детстве удаль
сабантуя
под песнь курая мне Урал помог.
Коррида мне чужда.
И все ж, лютуя,
она и мне преподала урок.
«На красное» кидаться без оглядки
готов порой и кое-кто из нас,
а с тех, кто наблюдает,
взятки гладки,
хотя они науськали как раз.
О, им-то это зрелище по нраву,
они глядят с усмешкой
на «врагов»...
...а в этом мире кто сподоблен
Правду
снять хоть однажды с острия рогов?
Трагичная, однако же, картина:
ярится бык, как в истинном бою,
но как бы ужаснулась животина,
когда бы осознала роль свою!..
Коррида это,
и тугой напрасной
мне не остановить кровавый миг...
Но ты-то,
коль подразнят тряпкой
красной,
успеешь осознать, что ты — не бык?!

Молитва, написанная над Турией

— Сейчас, — сказала гид,
совсем девчушка, —
турийский мост — турийский
редкий вид...
Не знал я, что испанская речушка
такою болью сердце мне пронзит!
Да, мост... Но речка больше
не струится,
сухое ложе умершей реки
не оживляют ни волна, ни птица, —
и содрогнулся дух мой от тоски.
Мост... Он бессмыслен
над пустыней жаркой
как звук пустой, дорога в никуда...
Вовеки под его крутою аркой
живая не засветится вода...
— Сеньор, природа проиграла
битву... —
я слышу, а в душевной глубине
неистово слагаются в молитву
воспоминанья о родной стране...
...мой край, обитель вод,
обитель птичья,
убереги себя от жадных рук,
от сладкого гипноза безразличья,
корыстных устремлений и потуг...
...Урал мой, сбереги от истязанья
седые камни, и сосну, и ель...
Пускай текут, храня твои сказанья,
Сакмар и Дема, Матерь-Агидель...
На берега стремительного Ая,
соловушка, неси свой вешний цок!
Убереги сегодня, даль родная,
звон родников,
стремнин волшебный ток...
Убереги...
С надеждою и страхом
кричу с чужбины милой стороне.
Я проезжаю по мосту над прахом.
Играет пыль на обнаженном дне.
Сон или быль? Что в мире этом
вечно?
Печаль моя темна и глубока...
...Подростки валенсийские беспечно
пинают мяч
там, где была река.

В Эгейском море

Как мыслей и надежд моих лазурь,
эгейские вокруг сияли воды...
Неужто накатили после бурь
волною теплой молодости годы?
В краю восточной неги и чудес —
ни смерти, ни скорбей
над тихой гладью,
и кажется, морская даль с небес
нисходит к людям синей
благодатью...
Но погоди!
Вдруг дрогнул окоем,
и тень легла на моря колыханье...
Достигла слуха песнь,
и ясным днем
вдруг воздуха не стало
для дыханья...
На парусной шаланде, вдалеке,
запел вдруг кто-то древнее
«Раздумье»,
и сердце сжалось в скорби и тоске,
и словно ветры севера задули, —
«Раздумье» затянули вдалеке...
Тоска родная, милая печаль!
Ты даже плеск волны преобразила...
Да кто занес тебя в чужую даль,
какая скорбь спасла, какая сила?!
Ты чей, печальник?
Может, вихрь войны
унес тебя, и нет тебе возврата,
туманы ль чужедальней стороны
тебе доныне застят путь обратно?
В морскую даль унес ты свой секрет,
его мне не открыть;
за годы эти
несчетно было и страстей, и бед,
и сломанных судеб на белом свете!
Лишиться навсегда родной земли?!
Вовек не будет неутешней горя...
Звенит напев.
Уходят корабли.
Туманятся печально блики моря.
Звучит напев, раздумчив и могуч,
скорбь сердца в переливы облекая,
во тьме душевных сумерек сверкая,
как предзакатный,
предпоследний луч...

...а как была лазурна даль
морская...

Русалочка

Русалочка на камне. Копенгаген.
Какой-то странный день... Понять бы мне,
глаза ее, полны туманной влаги,
что за печаль таят на самом дне?
Мне ведомо: она, дитя пучины,
возникла миг назад на берегу...
Так, может быть, морской какой кручины
в глазах ее прочесть я не могу?
Она мне отвечает только взором,
теперь глаза о многом говорят,
и светится нечаянным укором
взыскующий, невинно-ясный взгляд...
«...Здесь шум и гам. Пустые разговоры.
Продажа. Купля. Дешевеет плоть.
Куда бегут мои земные сестры,
одетые во что послал Господь?!
При них, лишенных женственности, тайны,
сама стесняюсь собственной души.
Любовь и нежность тут почти случайны,
и те распродаются за гроши.
Здесь нравственность, как зеркало, разбита,
добро мельчает, окружаясь злом,
здесь бытие не отличить от быта,
любое чувство стало ремеслом...»
...Все это вижу я и сам воочью,
но, отвернувшись, ей гляжу в глаза:
и освещает день, сплетенный с ночью,
с ее щеки соленая слеза...

С башкирского.
Переводы Р. БУХАРАЕВА.



ПРОЗА



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

Узел II

ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

РЕВОЛЮЦИЯ

31

С тех пор докончилась та война, и проклубилась революция, и прокатали страну советскими катками (и расстреляли чекисты Ободовского), и ещё была война, не счастливей для нас, чем первая, и опять катали советские катки, — но кто видел Козьму Гвоздева и в Спасском отделении каторжного Степлага, в третью *десятку* его невылазной неволи, говорят, что и к семидесяти годам, под четырьмя наляпанными номерами, Козьма Антонович сохранял, от глаз и выше по лбу, эту задержанную на нём светлую детскость, это беззащитно-удивлённое выражение.

Да так ясно, так просто его жизнь начиналась: хотя по нужде не доиграл он своего детства, но парнем славно крестьянствовал при отце, и будние дни хороши, и праздничные хороши, натянуло крепости в хребет, силы в мышцы и размеренности в нрав. И за сохой на месте, и в хороводе на месте — очень уж петь Козьма любил, запевалой. (Он и в Питере тут, в Народном доме, Шаляпина не пропускал.) В 20 лет женился, увёз жену во Ртищево — там на узловой станции по механической части работа толковая, прилежная. А потом помощником машиниста ещё лучше, ах, лётывали! Потом — революция, никуда не денешься, и все стали революционеры. Потом ещё в Саратове три года покойно жили. Да и Питер не сразу вошёл беспокоем: к войне Козьма стал из первых токарей на третьем этаже эриксоновского завода, куда и вообще-то стянулся цвет петербургских металлистов. Ладилась у него работа, послушны, отзывны были ему станок, резцы и металл, а от этого не по возрасту рано стали другие рабочие величать его Козьмою Антоновичем.

И на том бы всё могло уравновеситься и остановиться, кабы не особое время такое: партии, лозунги, война. О прошлом годе потянулся по питерским заводам клич — называть выборщиков, а они будут выбирать Рабочую группу, какая представит мнение и волю российского рабочего класса в военном производстве. Такое время пришло, что этого оплетения никак не обминуть. А как Питер привык выдавать себя за всю Россию (и Россия к тому привыкла), а Эриксон был в Питере из молодых да бойких заводов, а на шестиэтажном Эриксоне ведущий бойкий цех — третий этаж, — то и вытолкнули Козьму вдруг из толпы вперёд, вперёд, где уже нет рядом дружеских локтей и плеч, — вытолкнули первым кандидатом завода, Выборгской стороны, города и всей России — и вышагнул Гвоздев на помост, как переднего ряда первый российский рабочий.

Шаг этот был куда маховитей, чем посильно обычному рядовому человеку. Да может обошлось бы, просидел бы Козьма среди сотен уполномоченных, не избрали б его самым главным, остался б он в покое и малоизвестности, если бы то первое собрание выборщиков в сентябре 1915 не перекорёжили бы, не переиначили, не взорвали бы большевики. Известно, чем отметны большевики: у меньшевиков, у эсеров — фракции, дракции, всегда тринадцать мнений, а большевики ходят все заодно, и кричат ли, голосуют — всегда в един голос. Так и на выборное собрание понапёрлось их, не званных никем и не выбранных, не уполномоченных вовсе, а просто в дверях не могли их удержать. Понапёрли и кричали: не надо этого собрания, не надо никого выбирать, а — долой войну, долой империалистическую буржуазию. А в президиум влез ихний путиловец Кудряшов — на случай, если их верх возьмёт выбирать, так его председателем. Однако узнали, разобрались: совсем он не Кудряшов и не путиловец, а выборного путиловского уполномоченного Кудряшова куда-то большевики задевали, мандат же украли и пристроили к своему. И так собрание то засвистали, переорали, развалили, и выборов не было.

А пуще всего придерживался Козьма всегда — справедливости. От ранних лет он привык любить, чтобы всё укладывалось по-правому, по-справедливому. И на том собрании более всего надсаднило его: зачем же так несправедливо? на горло зачем? И напечатал он в газете (меньшевики грамотные помогли написать) о том, как дело произошло. И уж не покидал, добился в ноябре нового собрания в инженерном клубе. И уж теперь-то в дверях стояли строго, допускали только уполномоченных, а с улицы никого. И так оно само вынесло Козьму — в председатели Рабочей группы. А Рабочая группа должна была состоять при Военно-промышленном комитете: и в помощь ему, и в отстояние рабочих интересов.

На том собрании чинно говорили, кто как понимал: зачем же это, что, куда — Рабочая группа? Говорил с Трубочного Емельянов: конечно, мы противники этой войны, но как до мира нам добраться? Конечно, спасение России не в военной обороне, а в торжестве демократии. Правительство преподносит рабочему классу страшные скорпионы, и для борьбы за демократию надо объединить все живые силы страны. Конечно, указывал нам Маркс, что буржуазия чем дальше на восток тем подлей, а в России особенно подлая, так мы зато будем её критиковать и толкать против отживающего режима. А зато через Военно-промышленный комитет мы поможем организовать рабочую демократию. — И с Лесснера Брейдо очень грамотно говорил: Гучков и Коновалов — наши классовые враги, но в известные моменты политической жизни мы идём рука об руку с буржуазией и подталкиваем её влево. Нельзя просто кричать «мы против всего!», когда решается государственное бытие. Требования Прогрессивного блока так же полезны нам, как и им: если будет дана свобода всем гражданам России, она не может не коснуться и рабочих. Буржуазия — наш союзник против правительства, и совместно с ней мы революционизируем всё общество. — И с Вестингауза говорили: пойдя в промышленный комитет, мы будем препятствовать увеличению производительности за счёт эксплуатации! — И с Путиловского: мы, конечно, не можем стать на точку зрения разгрома Германии. Но и не дать же разгромить

Продолжение. Начало в №№ 1—6 за 1990 год.

Россию. Если мы защищаемся от немцев — это не значит, что мы поддерживаем царское правительство. Россия принадлежит русскому рабочему народу. Защищая Россию, рабочие защищают путь к своей свободе. — И с Воздухоплавательного: если мы отмахнёмся от войны, раздадутся голоса, что мы сыграли в руку немцам и реакции. Конечно, мы идём в Военно-промышленный комитет не для выделки снарядов, а для организации народных сил! — И с Трубочного опять: мы идём в комитеты не увеличивать производство снарядов, а сорвать спячку, чтобы страна перестала молчать.

Говорили все как будто почти согласно, друг другу не переча, а нагромождалась поперечa: вот тут и натужься умом — для чего же именно мы идём в промышленный комитет? На дверях всё так же строго держали, и большевиков не проникло в зал больше, чем выбрано их на заводах, — лишь малое меньшинство. Однако перед каждым выступающим как будто стояла стенка разгневанных большевиков, и каждый оратор старался так уступчиво и осторожно выражаться, чтоб не сердить их. Говорили как будто ясно — а затемнялось. Говорили в пользу выборов — а как-то и расползалось. Меж тем пришлось и Козьме говорить, не миновать. Не за станком, а с помоста, перед толпой, как-то колеблемо почувствовал он себя, как-то уши будто заложены, самого себя не дослышивали или в глазах расплывалось, и перед большевиками опять же вина за это второе собрание. И понятием — не ухватывалось. И выговаривалось не как Козьма на самом бы деле думал — что надо помочь нашим братишкам на фронте, этак сказать было непозволительно почему-то. А выговаривалось как бы в извинение: что идти в промышленный комитет — один только и выход у рабочих: выбраться из подполья, куда загнали нас и душат. Что центральным вопросом жизни является замена власти помещиков властью буржуазии, которая теперь сильнее всех экономически. (Меньшевики написали ему бумажку, но он её не держал, а какую фразу запомнил, какую по-своему.) Итак, перемена существующего политического строя диктуется непреложной логикой всей жизни. Не значит, что всякий, кто защищает свою страну, уже и отказывается от участия в классовой борьбе. Но царское правительство оказалось неспособно защитить страну, а если Россия войну проиграет, то поскольку германский пролетариат изменил долгу солидарности, то наденут нам петлю германские юнкера и двинут промышленность назад, и не будет условий для успешной классовой борьбы, и первей всего на рабочих и отзовётся. Так что выбор у нас — положить гирю рабочей силы всё-таки пока за буржуазию. Мы можем добиться свободы только путём национальной обороны.

В несравнимом меньшинстве остались большевики, вопреки им избрали Рабочую группу из одних меньшевиков и чуть эсеров, но так оминались неловко все, так видели, чуяли перед собой там, на улице, эту разгневанную стенку — что, проголосовав избранцев идти помогать русской обороне, тут же проголосовали им, никто не нудил, наказ, который составили большевики: что рабочие, идя в Военно-промышленный комитет, не берут на себя ответственности за его работу; что война ведётся не Россией, а командующим классом, за захват рынков; что правительство безответственно, а Дума труслива, и цель Рабочей группы пусть будет — не помощь заводам, работающим на оборону, а — созыв всероссийского рабочего съезда и подготовка себя для взятия власти в качестве временного совета рабочих депутатов; и 8-часовой рабочий день устанавливать сейчас же, невзирая на войну; и — полная свобода профсоюзных завоеваний немедленно сейчас; и — неприкосновенность личности; и немедленно — всю землю крестьянам; и немедленно — амнистию всем политическим врагам правительства и террористам, кто где ещё остался в тюрьме или на каторге.

И с веригами того наказа и с полной уже задурманенностью,

зачем же она создана — помогать ли промышленности оборонять страну или бороться с царским самодержавием, — пошла Рабочая группа в гучковский центральный Военно-промышленный комитет и в его втором помещении на Литейном за Жуковской улицей получила две комнаты с телефоном, штатного секретаря, секретарского помощника и двух конторщиков на жалованьи от Комитета. И стала открыто заседать и действовать как единственная в России легальная рабочая организация, тогда как припрещены были с войны профсоюзы, закрыты рабочие клубы, и редко где на фабриках сохранялись рабочие старосты (да большевики и не давали их выбирать). А Рабочая группа получила право циркулярных обращений к своим отделениям в других городах, рассылки протоколов, резолюций, — да не как грязные подпольные листки, но отличным шрифтом, на лучшей белой бумаге! — объезда городов и заводов, созыва широких рабочих совещаний без присутствия полиции, а ещё самозванно провозгласила и свою политическую неприкосновенность наравне с фракциями Государственной Думы! (Сам бы Козьма не придумал, два приставленных советчика убедили.) По условиям военного времени это было ах как много.

Но вошёл Козьма в новые комнаты как будто с теми же ушами заложенными и в глазах расплывчато, как бы за станок стать страшно: смотри, резец ковырнёт, деталь из центров выскочит. Очень не ясное дело: кто же главный враг — Германия или самодержавие? 15 членов группы оставались всё же на своих заводах, сюда собирались только сиживать-заседать, а Козьма-то здесь осел весь, не потолкаться меж эриксоновскими станками, — и что б он делал, как бы вёл, сам не знал — но подпёрли его меньшевики двумя расторопными быстроумыми советчиками — Гутовским и Пумпянским: заняли они места секретарей, а секретарскую работу перекинули конторщикам.

Гутовского у социал-демократов так и звали «газом» — за быстроту, как он во все стороны поспевал (кличка сперва была «ацетилен», от отчества его Аницетович). И чего только Гутовский не знал про рабочий класс и про социал-демократию! — просто всё знал, и на любой вопрос мог ответить ещё прежде, чем этот вопрос ему до конца досказали. Да он и газету одно время выпускал, а листовки сочинял прямо десятками. А Пумпянский хоть и не «газ», но тоже очень поспешный и перехватчивый, — и вдвоём они ещё лучше излаживали и выкладывали, даже и не в полный соглас, а всё как-то улегалось. Без них-то двух Козьма бы тут пропал.

И как-то всё опёрлось и устроилось. Гучковский комитет был группою доволен (хоть бы она и обороне и революции помогала кряду), в передней комнате обсуживали организацию рабочей силы для производства, а в задней занимались и конспирацией, составляли и распределяли нелегальные листовки и каждому командированному, едущему по России в провинциальные рабочие группы, кроме его открытого задания в помощь обороне давали и скрытое задание в развал её. Козьма и не услеживал за всем, что тут делалось, писалось и распространялось.

Прыгну́ть ему сюда досталось через силаньку. И озадачивался он: за что ему званье такое — Гво́здев? Если и был в роду его *гвоздь*, так похоже, что не он. (А скорей — просто кузнецы были.)

А безо всех слышимых мудростей, сердцем, сам перед собой, он так понимал: Россию от Германии — надо ощитить. Непутёвая это забава — во время войны вытрясать революцию. Когда уж слишком закруживалось — вот какой маячок у него был: а солдаты — что ж, не наши? о солдатах — как же не озаботиться?

И когда вскоре за выбором Рабочей группы какой-то бзык или чесотка пошла по Питеру, как подговаривал какой бешеный: на 9 января 1916 устроить стачку, да всеобщую, да не на один день, да

сразу и царя свергать, — Козьма уверенно повёл: удержать от этих стачек, не время! И по заводам сам ездил.

И удержал.

На самое 9 января из-за того разгорелась и драка на Эриксоне: с нижних этажей и со двора подзуженные подсобники прибежали бить ихний третий этаж мастеровых за то, что они, «гвоздёвцы», требовали: забастовку не на горло решать, а — по справедливости, точно голосовать. Дрались молотками, гаечными ключами, метчиками, прутьями, швыряли гайками, самого Гвоздева ушибли табуреткой, и много побили аппаратов, изготовленных третьим этажом, гвоздёвцев спихивали с лестницы. И хотя администрация ещё раньше сбежала вся — «гвоздёвцы» отстояли, чтоб забастовки не было.

Ну, уж тут понесли их большевики, дружно и сплошно бранили, заплёвывали, заляпывали со всех немощёных переулков Выборгской стороны как изменников рабочего класса, лакеев империалистической буржуазии, как кучку политических мошенников и ренегатов, продавших классовую непримиримость пролетариата за честь заседать в мягких креслах с соратником Столыпина (значит — Гучковым). А затем забурлили по рабочему Питеру кампанию — вообще отозвать Рабочую группу: пролетариат не может входить в организации буржуазии!

Ну, влип Козьма! — никогда его раньше такими словами не бранили. А вместе с тем уверенно он понимал, что *отзываться* им никак не время, что только сидя тут и можно отстоять условия и выгоды для рабочих. Но чтобы тут усидеть, приходилось уступать большевикам, в чём только дёрнут, говорить совсем не то, что думаешь: что цель Рабочей группы — коренная ломка режима; что правительство готовит еврейский погром, когда и духу такого не было. Или требовать от фабрикантов, чего им неоткуда было взять. Или кричать, что военизация заводов — это крепостное право, когда всякому было ясно, что спокойней бы нет — уставить сразу и работу, и питание, и свободу от военного набора. Надо было бесперечь гавкать и нападать на власть. И под видом «комиссий» Рабочей группы собирали в главном зале гучковского Комитета многолюдные рабочие собрания, и никакую не оборону страны обсуждали там, но будущее правительство: чтоб оно было не просто «ответственным», как требует Дума, но *Временным Революционным* — и в него бы входили демократы-социалисты. (Хотя Козьма не мог ума приложить: с чего бы вдруг такое правительство понадобилось и утвердилось.) Или высказывали там, что переговоры о мире народ должен взять в свои руки, помимо властей.

И шептали Гвоздеву близко тут: да! да! И кричали с улицы, даже вламывались в комнаты на Литейном: предатель! А из Парижа писал Плеханов: революционное действие во время войны — измена родине!

Ну, влип Козьма.

Да ещё ж не только большевики, но травили его и забегливые межрайонцы, и въедливые интернационалисты-инициативники: мы вовсе не поручали гвоздёвцам говорить от лица всего российского пролетариата! они кощунственно прикрываются именем рабочих масс!

И даже Чхеидзе с Керенским сторонились Рабочей группы, стыдились, отгораживались, как бы не запачкаться.

И рабочие, избравшие группу, волновались, надо было их чем-то успокаивать.

Даже всё самарское отделение — и то слало центральному наказ: «мы шли в промышленные комитеты не для того, чтобы ковать пушки и убивать товарищей немцев, но — добиться отделения церкви от государства, конфискации помещичьих земель и демократической республики». И до того очадевал Козьма, по три раза перечитывал, не ухватывал, в чём они тут сбрехали: отделение церкви? говорят — так надо; конфискация? велят — так надо. Ах вы, губодуи, вот где про-

фуфырились: пушки-то ведь не куют, а льют! Небось, семинарист писал...

А — с Гучковым как? Сплошь все социал-демократические резолюции и листовки внушали и объясняли Козьме (да ему ж и самому завели карточку социал-демократа), что русская буржуазия, ведомая кровожадным Гучковым, пользуется этой войной не для обороны России, а чтоб набить свои карманы и постепенно захватить власть.

Да может, оно так и было? Ка́к в чужую душу глянуть? А мы-то, простофили, поджимаемся, уступаем?..

Но приходил в Рабочую группу и сам Александр Иваныч, едва прихрамывая, невысок ростом, что-то и лицом нездоров, тяжёл, жал руку и говорил:

— Дорогой Кузьма Антоныч! И вы — русский человек, и я — русский человек. Язык наш общий, и мы вот друг на друга смотрим и понимаем. От того, что сейчас происходит, от того, как кончится эта война, зависит всё будущее России. Если мы проиграем — будет рабство у Германии и, может быть, на много десятилетий. Я знаю, рабочие были долго и несправедливо притеснены. Накопилось много счетов, наболело много болячек. Но у вас и ваших друзей — ведь есть же русское чувство, правда? и есть государственный смысл: не сейчас эти счёты сводить, не сейчас эти болячки вскрывать. Не у вас одних — и у нас, у всего русского общества, есть жестокий счёт к правительству. Но — погодим, прежде кончим войну, не дадим сломить самый русский хребет. Вас — послушают рабочие. Разъясняйте им, не ленитесь, что каждый забастовочный день — это удар в спину армии, это — гибель наших же русских людей. Наших с вами братьев.

Козьма слушал этакое, глядел поблизку в глаза Гучкова, совсем же не бриллиантовые, а как у нас у всех, глаза — с просьбой, с доверием, и от болезни опухшие (в самые первые недели Рабочей группы Гучков и вовсе умирал, уже печатались предсмертные о нём бюллетени), — и от души к душе понимал его, растворён был сердцем, вполне согласен:

— Да Александр Иваныч, будем ли обиды месить? Ну, погнетали нас, верно... Не прислушны к нам хозяева были, я не про Эриксона, а где поглуше. Конечно, дороже бы прежде войны спохватиться. Ну, коли сознанье взошло, так и нынче не поздно. Что ж, разве не понимаем? Рвутся немцы до России, шею нам согнуть да хлебушек наш лопать...

По-простецки, безо всяких партий, да и на языке своём же природном — чего тут было не понять? Через простецкий их стол, сидя на стульях двух жёстких безо всякого умягчения, в голову никак не вклинивалось, что сидит перед ним вождь империалистической буржуазии, соратник кровавого Столыпина.

— Понимаю, Алексан Иваныч. Поддержим. Для того сюда и пришли.

Но таких бесед, даже таких минут почти не было ему разрешено, потому что не был он отдельный Козьма Гвоздев, а по партийности заедино с мозговитыми, многовитыми, письмовитыми и речистыми, к нему приставленными неутомимыми зоркими секретарями, и если упускали они один момент, то хлопали тут же вослед как крыльями:

— Ах, что вы наделали, Кузьма Антоныч! Ведь скажут большевики: блок Гвоздёв-Гучков, вы об этом подумали?

Не был он, как Минин, отдельный себе Козьма, выйти да крикнуть: «гэ-эй, спасай родину, русские люди!», — но:

— ...К о г о спасать, Кузьма Антоныч, вы подумали? Романовскую монархию? Вкупе с черносотенцами да либералами? А кто за нас будет пробуждать классовые противоречия?

— Да ведь так от нас откажутся инициативники!

— От нас отшатнутся интернационалисты!

— И тем более сибирские циммервальдисты!

И так не допускали Козьму много разговаривать, самого от себя, а при секретарях, с двух сторон, в плечах как бы ужатый, головой не свободный, как бы впряженный:

— *Побеждать* Германию, Александр Иваныч, рабочему классу вовсе ни к чему. А чтоб не было забастовок — так пусть потеснятся фабриканты. Вам — болячки можно пережидать, а нам терпежу не осталось нисколько.

А ежели Гучков уезжал в Крым долечиваться, то и вовсе письмо сочинял за Козьму «Ацетилен», и не велел ни слова менять, а лишь подписывать: мнение наше, всех товарищей, что «социальный мир» — это ширма для эксплуатации, и пока есть класс промышленников — не допустит рабочий класс социального мира, ни даже перемирия! Победа над Германией — это путь завоеваний для правящих классов.

Эх, прошло времячко недавнее, постаивал Козьма у своего станка, в субботу получал получку — и домой, горя не знал. Точил детали по своему умению, и никто ему локти не подбивал. Теперь же опутан он был этими языкатыми, и раньше, чем созревала в голове думка и спускалась в горло, сложиться в подходящие слова, — раньше того, не давая ему додумать, Гутовский и Пумпянский подсовывали ему ответ, и даже сразу несколько ответов. Вот это особенно его оглушало: что сразу — несколько! И все ответы — быстрые, все — разные, и все — правильные.

О самом-то непонятном: так как же братцы мы сами-то, между собой, взаправдоху, — подкреплять нам русскую оборону, аль нет?

Прежде всего: эта война — вредна для освободительной борьбы рабочего класса. А с другой стороны все народы имеют право на самозащиту. А самозащита может привести и к революционному перевороту. А значит, оборона страны *и есть* непримиримая борьба с самодержавием, чего никак не поймут большевики. Двуединая национальная задача!

Так мы-то, значит, выходит, эти... *оборонцы*?

Тс-с-с! Ни слова дальше, товарищ! «Оборонец» — это позорнейшая кличка, клеймо пособников реакционной клики. Мы же — *революционные оборонцы*, в чём заложен радикально другой смысл.

Так стало быть это... Работать? Во всю мочь?

Тш-ш-ш! Промышленную мобилизацию, Кузьма Антоныч, надо понимать не в узко-техническом смысле, а как мобилизацию общественно-политическую, то есть не дать мобилизоваться одним цензовым слоям. Однако, например, под видом мобилизации военизация заводов есть величайшая опасность для интересов рабочего класса — это новая форма фабричного феодализма.

У Гутовского были сильно уши оттопырены от рождения, а на них — накинуты проволочки очков, а глаза и через очки такие метучие, поворотливые, бросчивые.

Да-а-а, покручивал Козьма головой на науку, и молодая прегустая русая шапка его волос пошевеливалась, рассыпалась, закидывал её рукой на место. И учителя-то его были по тридцати лет, моложе его самого на пять, а всю эту премудрость прочли же когда-то, ухватили, приспособили. Спасибо помогали, а то ведь загинешь тут, в комнатёнке этой.

А коли так — чем же нам от фидеолизма отстояться? Тогда — забастовкою, ничем больше?

Да, иногда для отстаивания элементарных рабочих нужд не остаётся других форм, кроме дезорганизации производства. Но с другой стороны безоглядный большевистский стачкизм, застарелые бойкотистские предрассудки есть наименее перспективное средство классовой борьбы. Большевики бесцеремонно используют политическую неподготовленность широких народных масс...

До того они были оба навострённые, секретари, — какую бумажку ни отсылать, какое распоряжение телефоном ни передавать — прежде того закруживали, занюхивали, примерялись: а — как это примут западные социалисты? а — одобрят ли окисты? а как отнесутся объединенцы? а меньшевики-интернационалисты? а петербургская инициативная группа? и потом — межрайонцы? И — самое резкое, пилой по горлу, кляпом в рот: а что резанут большевики? Большевиков — пуще самодержавия нельзя было из глазу выпустить.

И в какой газете вдруг похвалят Рабочую группу за помощь обороне, за верность родине — и лестно как будто, и страсть у секретарей: опровергнуть? — будет вред работе. Не опровергнуть? — большевики заклюют.

И потому к каждой фразе, устной и письменной, уже как будто законченной, обязательно приставлялось, приписывалось: в полном сознании международных пролетарских обязанностей... говоря словами копенгагенского рабочего конгресса...

Как сам Козьма не мог шевельнуться свободно от своих секретарей, так и секретари его, да даже руководящие меньшевики из ОК никогда не ступали несвязанно, никогда не решали уверенно, а прежде ёжились и воротились налево: а что рубанут большевики?

А большевики кричали: *на тачке вывезем* гвоздёвскую сволочь! То бишь, на мусорную свалку, как вывозили рабочие неугодных своих мастеров, — а после такого сброса уже не восстановить им было лица.

Но не большевики всей оравой у Козьмы в груди болели, а — Сашка Шляпников, их главарь. Они — ладно, но Сашка ведь сам прокламацию писал: «предатели гвоздёвцы!» — как раз ко дню, когда Козьму углом табуретки в темя огрели. В том самом цеху когда-то рядом они с Сашкой, одногодки почти, эка стружку гнали, состязались, кто чище. А вот...

Рассыпался горох на четырнадцать дорог...

Чужого ума заияв, чем только Сашка Шляпников не честил Козьму: и что он на привязи у Гучкова, и что он служит маклером по распределению заказов между капиталистами...

Зачем же, Сашка, ты меня дёгтем мажешь, если я стачку где не допустил, примирил? Что ж тут плохого? Неужели заводы стоят на стачках, а не на работе? Достачкуемся до того, что каски немецкие в Питер придут — неуж ты этого хочешь? Ты как что задолбишь одно, у тебя это есть, будто крепко знаешь. А что мы знаем, браток? Это деды наши в лесу жили, каждую тропинку знали, там всё своё. А тут — эвон какие стволища торчат да дымят, дымом зрение застилают, а под ногами — камень убитой, на нём живого следа не остаётся. Только и видим, что видим: городовой на перекрестке, да в екипажах подъезжают-отъезжают Парвиайнены, Айвазы, Нобели да Розенкранцы. Раньше нас и до слуха не допускали, теперь вишь уважают: знаем, знаем ваши нужды, но дайте войну кончить. Правильно, могли б они раньше очунуться, — так ведь это людское всеобщее: пока гром не грянет... Может, и надо поверить им, Сашок? Ну как же перед ратями германскими счёты сводить, кто ж мы будем? Нам бы с тобой сойтись да столковаться: что́ это мы во врагах? Не годен гвоздь без шляпки, но и шляпка без гвоздя. Тебе, Сашка, николи нипочём это не давалось: а что, мол, коли я — от самого начала неправ? а ну-ка де, в чужую башку вступлю, да за неё подумаю? Понесли вы, понесли — «грязная язва гвоздёвщины». К чему это, ребята? Жутко на душе. И округ меня умники снуют, и округ же тебя: быстро-быстро пишут, говорят, всё знают. Ты — своим-то веришь? Смотри, не обожгись.

Близ Гвоздева советчики — никогда не терялись: как бы ни пошло, как бы ни скособочилось, они успевали извернуть: случилось именно то, что всегда предвидели и на что давно указывали представители рабочей демократии! И Козьме только глаза оставалось таращить.

И — всё на ходу объясняли. Потёк слух, что забастовки эти не

на пустом месте колышатся, что забастовочные кассы откуда-то деньги получают неведомые, — да уж не германские ли те деньги?

— Нет! — загорался Ацетилен-Газ, — дело не в немецких происках, обывательство так рассуждать! А дело — в господстве дворянско-бюрократической клики, вся система управления которой представляет одно сплошное издевательство над народными интересами, одну сплошную провокацию. Эти стачки — предостерегающий голос, что дальше так жить нельзя.

И тоже-ть правильно.

Так и сегодня сидели они в задней комнате, Козьма за своим столом, в косоворотке под рабочей курткой, а Гутовский и Пумпянский — по оба края, в одинаковых чёрных пиджаках, воротниках стоячих и при галстуках, — и уже не первый раз рассуждали и объясняли председателю, как понимать разные важные сегодняшние вопросы.

Припекающий новый вопрос наседал: дикий произвол гучковского Комитета над своей же Рабочей группой: что поскольку группа является частью Комитета, то не должна она ни одного документа, резолюции и обращения печатать и распространять без согласия остального Комитета. (Опасались, что будет группа звать прямо к перевороту, да от имени Комитета.)

— То есть по сути, — кидался Гутовский, кипятясь, — Комитет под видом согласования объявляет цензуру нашей деятельности!

— Цензуру наших мнений и взглядов! — пояснительно поигрывал пальцами Пумпянский. Он не имел революционного сибирского прошлого, как Гутовский, и должен был неусыпно отстаивать своё значение.

— Но это есть насилие над свободой убеждения рабочего представительства!

— И это сразу изолирует Рабочую группу от рабочей массы!

Каждый вопрос они вот так объясняли ему по многу раз, как если б Козьма мог тотчас забыть, выйдя за порог, и особенно наседали, что всякий вопрос — сложный, очень сложный, очень-очень сложный. И Козьма тоже стал бояться не понять, забыть, в простых уже вещах путался, да простых вещей как будто и не оставалось.

— Здесь есть определённая *граница!* — ребром по столу точно, не колеблясь, вёл эту границу Гутовский. — Граница, дальше которой мы пойти не можем!

— Потому что станет вопрос о бесплодности нашего пребывания в Комитете! — вывешивал палец Пумпянский.

— Это особенно опасно при отзовистской кампании, которую ведут большевики против Рабочей группы!

— Это подрывает значение того классового оружия, которым должна быть группа!

А ведь верно помнил Козьма, как он ещё прошлой осенью по заводу легко носился, по лестнице взбегал через ступеньку. А за этим вот столом посидел-посидел — и как огруз или как прирос, как стал расти из пола заодно со стулом, коренаст по-пнёвому. Рос — а встать не мог. Расправиться больно хотелось, а лишь потянуться мог от плеч назад, позадь себя.

То ль — запели они его, заворожили.

— Не надо убаюкиваться, Антоныч. Общаясь с гучковцами, не забывайте, что это — испытанные вожди боевых организаций капитала.

— Ловят нас, Антоныч, на «единении народа», а превращают его в единение крупно-промышленного капитала с властью.

Да, что-й-то худо складывалось для Рабочей группы. Что-й-то опять они как бы не в западне. А ведь до чего Александр Иваныч добёр держался!

— На самом деле не они нас, а мы их должны проверять! — так-таки и колол по худшей догадке Аницетович. — Даже нет уверенности, что узкие задачи технической обороны они решают в интересах страны!

— Да наверняка против страны! — не уступал, вполне соглашаясь, Моисеевич.

У-у-у. Ну, влип Козьма.

Губа его верхняя детски была поднята, рассыпались мытые гладкие свободные волосы, а глаза — на учителей просительно.

— Разве дело сводится только к внешней опасности? — взмахивал Гутовский чёрными локтями, как взлетая.

— Разве дело сводится только к военному разгрому? — грозно прочерчивал и Пумпянский пальцем из чёрного рукава.

— А хищный замысел отторгнуть Галицию?

— А подавление Польши?

— А константинопольские аппетиты?

— А антисемитская погромная политика?

— И это всё — оборона?

— А преступный замысел с жёлтым трудом?

Жёлтый труд — была такая плавильная точка, где сходились, не дробились все партии и фракции рабочего класса и сам рабочий класс: с прошлого года взяли эту моду контрактовать на работу китайцев — сперва на Мурманскую железную дорогу, но вот уже как бы и не в Питер. И тогда:

— Беспокойных рабочих — в окопы, а на заводы — китайцев?

— И — конец революционному движению!

Одурачили-таки Козьму Гвоздева хитрющие буржуи.

А отчего китайцам и не дать работать? Это ж будет, вроде, этот... интернационализм?

— Э, нет! Э, нет! Допустить, чтобы корыстный промышленный класс ещё более нечеловечески эксплуатировал китайцев?

— Не оставить китайцев без защиты — именно наша первейшая интернациональная задача!

— Законтрактованный жёлтый труд — это откровенная работорговля!

— Вот почему питерский пролетариат не может их допустить в столицу!

И тут распахнулась дверь — и порывом вошёл — не сам кровавый Коновалов или Рябушинский, нет, — но инженер Ободовский из военно-технического комитета.

Достойный подсобник тех капиталистов.

Или недостойный пособник.

Вошёл — как с бега, в пальто без шапки, всегда он торопился, и лицо как будто рассеянное, а глаза острые.

Рассеянное — на меньшевистских секретарей, а острое — на Козьму.

А сзади — ещё какой-то чёрный, неуклюжий, большой, в кожаной куртке технического состава.

— Инженер Дмитриев! — поспешно представил его Ободовский, сам прошагнув сколько было пространства до гвоздёвского стола и здоровался с Козьмой.

И ведь до чего Козьма прирос — от стула, от пола не оторвёшься. С Ободовским поздоровался, а уж к Дмитриеву не шагнуть. И тот издали.

А Гутовский и Пумпянский поставили локти в защитное положение, не здороваясь.

Ободовский торопился, не садился.

— Кузьма Антоныч! У меня к вам... — порывался, сильно озабоченный. Но повёл глазами на встрепенувшихся, развернувшихся меньшевиков — и уже с тенью уклончивости: — Мне бы с вами... поговорить.

Но что за секреты?

Но с какой задней империалистической мыслью?

— Пожалуйста!

— Пожалуйста! — показывали ему и на стул настороженные бойкие.

А Козьма с приподнятой губой и бровками, на губе всё сбрито и брови короткие, выражал глазами светлосенными, что и рад бы встать, выйти поговорить, — да как же, если растёшь? Со всеми корнями не вырваться.

— А чем могу, Пётр Акимыч? — И тут же поосторожней, строже: — А что случилось?

Ободовский — не садясь, рассчитывая к делу сразу:

— На Обуховском задерживается выход траншейной пушки, без которой льёт лишнюю кровь наша пехота, могла бы поберечь. Помогите уговорить мастерские, занятые этим заказом, выполнять сверхурочные и воскресные. И удержать их от возможной на этих днях забастовки. Нельзя ли для этого собрать заводскую комиссию?

Заводские комиссии были легальные, от Рабочей группы, организации по заводам. Формально — да, для помощи оборонным заказам. Но...

— Но не может рабочий класс, забыв свои классовые интересы, обратить заводские комиссии против самого себя.

— Это будет ошибочное направление, господин Ободовский.

— Хотя, пожалуйста, давайте обсудим всесторонне. — Ещё удобней уселись, развернулись, приготовились оба.

Этого «Газа», ещё юнцом, знал Ободовский по Сибири Пятого года: он был из главных крикунов в сибирском социал-демократическом союзе и добивался непременно вооружённого восстания. А потом обкатался, много меньшевистской бумаги извёл, и был советчик социал-демократической фракции Думы, а вот теперь и здесь. С такими забияками Ободовский и в Пятом году в Иркутске время не тратил, а уж теперь-то!

— Господа, — повёл он головой как от оводов. — Я, простите, не журналист. А вы не знаете ни допусков литья, ни режимов резанья — о чём нам говорить?

И смотрел горячо — на Гвоздева.

А Гвоздев отзывался сенными глазами, он — рад бы помочь, он и потянулся плечьми — нет, всё держит, всё связано.

А советчики-меньшевики быстро метали и за собой же заметали:

— Не сочтите нас, господин Ободовский, сторонниками консервативного стачкизма под флагом словесного радикализма.

— Если вы способны усвоить нашу точку зрения, то вот она: в сегодняшних условиях стачки даже не благоприятны рабочему классу.

— Стихийные вспышки идут даже во вред рабочему классу, — выправил Гутовский.

— Стихийные вспышки, — не давал себя поправить Пумпянский, — только ослабляют и разбивают нарастающий конфликт всего русского общества с властью.

Ободовский бровями подрожал и замер: так тут, неожиданно, все согласны? Сейчас будет помощь?

И Дмитриев переминался, мрачно-довольный.

— Но стачка, — закинулся Гутовский очками и прикудрявленной головой, — единственный выход для рабочего класса, цинично-бесцеремонно отправляемого на фронт пушечным мясом!

— Чем же, кроме стачки, — закинулась и прилизанная голова Пумпянского, — может рабочий класс освободиться от петли полицейского режима?

— Оборона страны — да, но не ценой стачечного воздержания!

— И никакие сверхурочные работы не помогут в стране, где происходит безумное мотовство народных ресурсов.

— ...Как не раз предупреждала и указывала революционная демократия.

— ...К которой и вы когда-то имели некоторое отношение, господин Ободовский.

Против таких ренегатов более всего пламенело сердце Газа. Такие сбившиеся деляги и нарушают стройность рядов демократического движения.

А Ободовский на них перестал и смотреть. А, не садясь, — на Козьму, допытчиво и недоумённо, с изморщенным лбом.

А по обширному открытому лбу Козьмы не перебегали те змеистые стремительные мысли советчиков, ни руки его не промётывались по воздуху, ни пальцы, — руки его тщетно тянули стул из пола, и кряжистые плечи были напряжены.

С боков сыпали:

— Выход — не в сверхурочных работах, а в немедленной коренной ломке всего политического режима!

— Вырвать власть у безответственного реакционного продажного русского правительства!

Ободовский не удержался:

— Но не в ущерб же войне? Но — не к потерям нашей пехоты?

А те — только и взвились. И с изумительной лёгкостью и быстротой соображения метали с двух сторон, метали и заметали. Промелькнул индифферентизм уродливой Думы. И рабочая демократия будет апеллировать к демократиям союзных стран...

Но — Козьма?

Но — траншейной пушке?

Мог ли помочь?..

От заглавного приращённого своего места оторваться он не оторвался, нет. Но ведь — пехота! пехота наша лила лишнюю кровушку! И — двумя лапищами упёрся в столешницу сверху, и натужился шеею и всем тулом, — как если бы волен и мог подняться, — и, в пень завороженный, со светлым растрёпом наросшей копёнки сена на теменах, вдруг как в сказке промолвил человеческим полным голосом:

— Ладно. Там у нас на Обуховском член группы — Гриша Комаров. Я ему сейчас позвоню. Он чем может — пособит.

Гутовский и Пумпянский только вздрогнули, только моргнули на четверть мига, — и не переменились, а переменились, и лица такие же подвижные, и слова такие же быстро-складные, настигая:

— Мобилизовать промышленность? Конечно, такая возможность есть.

— А в чём же и смысл нашей деятельности? — почва и легальность для рабочего класса.

— Но рабочий класс должен быть чрезвычайно осмотрителен в выборе методов.

— И реальная мобилизация невозможна без полной свободы коалиций...

— И немедленной полной демократизации всей...

Да инженеры не дослушали — ушли.

✦✦✦

...Предатели-гвоздёвцы, кадетские подголоски, кровопийцы, высасывающие кровь рабочего класса... Приспешники правительства, разные инженеры, получающие по 4 кругленьких тысячи в год... Долг наш, товарищи, взяться за святое дело борьбы и крикнуть вампирам: прочь ваши кровавые руки! Петербургские рабочие обнаруживают перед всем миром свои мужественные желания!

ПК РСДРП

✦✦✦

32

Когда сядешь на невский паровичок из трёх коротких вагонцев с империалами, и обогнёт он Александро-Невскую лавру, Подмонастырскую слободку, через Архангелогородский мост выедет на Шлиссельбургский проспект (а наверно, судя по мосту, то был старинный санный выезд на Архангельск). Набирая вёрсты, минует Стеклянный городок и ампирные хлебные амбары по берегу Невы, пристани, лесные баржи, сенные балаганы. Минует Семянниковский завод (но тебе не туда), Катушечную фабрику, не похожую и на фабрику своей отменною постройкой. Проехав Рожок, обколесит стороной село Смоленское и село Михаила Архангела с их отдельными церквями, и Александровский механический завод при том селе (но и не туда тебе сейчас). И, теперь плотнее к берегу, покатит вдоль самой Невы, на обширных ледяных площадях которой и последние военные масляны сходятся на кулачные бои деревни правого и левого берега, или затевают бои петушиные, или голубиные состязания, как если б те мужики и не знали никакой всесветной петровской столицы рядом. Дальше прокатит паровичок мимо Фарфорового завода, третьего по древности в Европе, едва секрет фарфора был открыт. Мимо редких уже остатков приречных вельможных дач анненской, елизаветинской и екатерининской поры, всё более заменяемых фабричными кирпичными корпусами и долгими стояками труб, из которых чёрные клубы выползают и расплываются, пачкая небо, грязня Неву, при одном ветре медленно утягивая на Малую Охту, при другом принимая сюда дымы охтенские и с Пороховых. И вот, наконец, за Куракиной дачею доберётся он и до бывшего поместья княгини Вяземской, которого и следа уже осталось мало за полвека сталелитейного завода, основанного здесь инженером Обуховым вослед несчастной крымской кампании, где непригодными к бою оказались многие наши пушки. И у того завода, броневого и пушечного, с посёлком двухэтажных современных всеудобственных рабочих домов тебе выходить, сюда тебе. (А паровичок и дальше того поколесит мимо нескольких Преображенских кладбищ, нескольких немецких колоний, Киновийского монастыря, ещё фабрик — и так до Мурзинок.)

И вот, житель петербургский, хоть и не самых приятнейших кварталов, а всего лишь с какой-нибудь Стремянной, ты, проделавши этот многовёрстный прокат с полной сменою пейзажа, зданий и людей, да ещё не зевакою, но с осмысленным делом сюда, но с пониманием совершаемого здесь, даже с нетерпеливым участием,— вдруг отсюда, с дальнего конца Шлиссельбургского проспекта, совсем по-новому ощущаешь и видишь этот знаменитый город. Перебрав, перебрав, перебрав, как на руках повиснутый, это длинное невское рычажное плечо, ты обнаруживаешь, что точка опоры, что твердь системы не там, а здесь; что центр тяжести этой многовоспетой северной Пальмиры или Венеции — не сверкательный Невский, не лепнокаменная Морская, не золочёные шпили, не россиевские колоннады, не фельтеновские решётки, вдоль которых рассеянной лёгкой походкой бродили легендарные наши поэты,— но сами решётки эти, и многие львы, и колесница Победы на величайшей арке, и самые мосты под коней чугунных или живых — Аничков, Николаевский, Синий, Цепной, отлиты здесь, далеко за Невскою заставой, на Александровском механическом. Отсюда ты твёрдо узнаёшь, что главный вес Петербурга — не то, что понимается и смотрится всеми как Петербург. Напротив, это столпление, яркоцвётное днём и многоламповое вечером, это жадное сгроможденье дворцов, театров, ресторанов, магазинов, видится отсюда праздным безрасчётным глумливым перегрузком дальнего конца честно рассчитанного рычага, оттого опасным, что — на самом дальнем конце плеча, угрожая перепрокинуть.

А здесь был главный понятный трудовой смысл: как те распотешливые решётки и колесницы, так и многие деловые нужные вещи, и первый русский паровоз, и невские суда, и чугунные и стальные отливки от самых огромных и до самых малых, именно здесь впервые находили свою окончательную массу, форму, подвижность и назначение.

С этим-то постоянным чутьём, что тут вокруг всякую минуту рождаются, складываются, формируются задуманные на чертежах вещи, Дмитриев и входил в заводские дворы — Обуховский или другой какой. Любя всё то вечное, что красуется в дальнем перегруженном центре Петербурга, Дмитриев никогда не испытывал скуки или отталкивания от здешней некрасоты, от унылой гладкости стен, от голости, засоренности, обгорелости бестравной земли, от копоти, жара, тяжких запахов и лязга, ибо всё это были не явления безобразия, но сопутствия рождению вещей. Свежему прихожему завод кажется нагромождением станков, материалов, изделий, грохота — но работающие знают, что этот внешний беспорядок — на самом деле лучший порядок, как это всё прилажено, как каждый на своём месте делает осмысленное дело и является частью целого.

Войти во двор заводской оттого и приятно, что — осмысленно. Для тебя, не постороннего, не кучей резучего железа навалены обрезки у стены, но понятно, от какой работы отходы, чем были заняты это время слесари. То же и стружки у токарной — латунные, медные или стальные, на какую ширину и толщину. И перед кузней сложенные поковки объясняют тебе последнюю работу её или следующий заказ. И самые звуки кузницы, и виды дымов над чугуно- и сталелитейками, и огневые отсветы в окнах, окраска их или отсутствие, и новая куча шлака у вагранoчной калитки, и что́ несут таскальщики из цеха в цех, и даже какие доски свалены у сушилки, — ещё на заводском дворе всё объясняют опытному глазу. И ещё в первое здание не войдя, ты уже включён и увлечён смыслом этой работы, и само решается, и ноги направляются — куда тебе, где ранее нужен ты.

День так и не рассветился, а уже и стемневал. За час до того снежок-не снежок, а мжица насыпалась, и где не ходили, не прогревало теплом от зданий или от паровой отдельной линии, сохранился этот белый налёт, придавая вечеру зимность. Да и похолаживало.

Дмитриев волновался. Необычное было для него — речь говорить, хоть и перед своими же знакомыми рабочими, но собранными неестественно для слушанья, человек двести сразу. Однако не было другого пути стянуть людей на эту работу, взяться дружно. И уже обдумал он, что за чем скажет, да надеялся почерпнуть в лицах и по обстоятельствам, и тогда поправиться.

Да ещё надо было Комарова этого искать, был ли ему телефон от Гвоздева и как решили рабочие вожаки.

В конторе Дмитриеву сказали, что помнят, за полчаса до гудка со смены созваны будут в механический цех все, кто назван был инженером, — формовщики, плавильщики, кузнецы, слесари, токари и фрезеровщики.

На беду сидел тут же в комнате при этом разговоре дежурный жандармский вахмистр и слышал конечно, да впрочем не мог не знать и раньше. И захмурился Дмитриев, что ведь непременно явится, лещ, присутствовать, и выставит рабочим свою розовощёкую физиономию — как нарочитую вывеску, дразнить, какие ряжки на позиции не посылают. Это было край некстати, перебивало настроение даже Дмитриеву самому, что ж будет рабочим? Но нельзя было прямо, открыто попросить жандарма не приходить — лишь мысль подать, если её не было? вызвать подозрение? Уж как сойдётся.

Сменил Дмитриев свою выходную куртку на рабочую, подмасленную, с нашитыми подлокотниками, и брюки такие же, с наколенниками, и кепку другую, как лазил он по всем цеховым закоулкам, складам и на чердаки литейных, где приходилось. И в этой одёжке ещё справней, ещё сродней с заводом, как сегодня особенно нуждался он, что-

бы легче переступить покаянную барскую черту, походкой утверженной пошёл искать Комарова.

Нашёл его в нетопленных сенцах при материальном складе, на сквозняке, и начали там разговаривать. При тёмном дне тут ещё темней было, и лампочка не горела, да сам Комаров со щетиной запущенной чёрной — и тем более показался человеком тёмным.

— Так соберём, Григорий Кирьяныч?

— Соберём, значит.

Как будто — согласие. Но и охоты не много.

— С Кузьмой Антонычем столковались?

— Говорили.

Помощь ли жди, или только нейтралитет? Или вылезет добавлять, что эта война рабочему классу не нужна? Узка ж была перекладинка к рабочему сердцу, только на Дмитриева одного: с боку жандарм локтем мешал, с другого боку — партийный оратор. Если не помогать, так лучше б и помолчал. Но и его просить неудобно.

Крупным шагом пошли через двор. Одет был Комаров в суконную замызганную куртку, рукава сильно не доходили до запястий, но не видно, чтоб холодал, и нёс железки со склада большими незябнущими руками.

Он — строгальщик был по металлу, свой обуховский, здешний, это хорошо. Однако ж — партийный, эсер, и за что-то же вознесен в Рабочую группу, один ото всего завода. Значит язык разговорённый?

А — крепкий, рослый дядька, и по рослости не должен быть слишком беспокойно-настырный, как выпирают иные маленькие, чтоб их заметили.

Но если Дмитриев будет о траншейной пушке, Комаров вылезет — о сплочении пролетариата, куда загнала нас реакция, а жандарм надуется в углу, а рабочие умы — расступись на три стороны, — так вся речь утечёт в решето.

И прямо в упор:

— Григорий Кирьяныч. Соберём — и что?

Тот головой повёл, плечом повёл:

— Что требовается.

Остановились: по заводской колее перед ними подавался задом медленно маневровый паровоз и тащил на вывоз к воротам две платформы, на каждой — по новенькой 48-линейной обуховской пушке, в густой смазке, но ещё без чехлов.

Недавней конструкции, ещё на фронте невиданные, среднекалиберные долгоствольные красавицы-пушки.

Где прошла сцепка — рельсы стали мокрометаллические, а где ещё нет — в белом налёте мжицы.

Из кузни глухими, сильными, равномерными ударами стучал паровой молот. Дмитриев любил этот звук, в нём как бы сгущалась сила завода.

Прямо в глаза не смотрел Комаров — туда, сюда, на платформу и под ноги, где рассыпан был для суха ноздреватый лиловатый мелкий шлак.

Пока идти было некуда, Дмитриев обернулся к нему, тщетно ловя отведенные глаза:

— Григорий Кирьяныч, вы у станка ведь не работаете так, чтоб с одного боку деталь закрепить, а с другой расхлябать? А рабочегруппцы так и делают: в комитеты идём, но не снаряды готовить, а народные силы, — спячку сорвать.

И вовсе паровоз перед ними остановился, то ли переподать.

Железки держал на открытой ладони. А сам закрыт:

— А промолчу — что́ рабочие скажут? О каких, мол, сверхурочных, когда два цеха вообще вон бастуют, полторы получки требуют.

Опять потянул паровоз, и Комаров глазами перед собой пропускал медленные платформы.

И Дмитриев не мог оторваться, провожая эти пушки, по европейскому счёту 122-миллиметровые, их совершенные формы, отличные обуховские новые пушки с уже проверенной баллистикой, каких в начале войны и в эксперименте не было, а сейчас заставить бы ими если весь фронт, снабдить все пехотные дивизии — па-двинули бы Германию быстро.

— Да что скажут? Вот эти пушки когда выпустили первые, вспомните? В декабре прошлого года. А сколько по сей день? Хорошо, если три десятка. Кто ж так работает, подумайте? Мы, рабочий класс!.. Демократия, режим, да буржуазию подталкивать, вот это в печёнках сидит. А прежде бы взяться работу показать. Рабочий класс...

— Не от нас одних...

— Ну, и от вас не меньше. Полторы получки... Конечно, если прокламации на стенах, на станках, на колёсах, на стволах, сторожа ворохами выметают, а утром свежие, — так разве до работы? Узнали бы немцы, что такой завод — и таких пушек по две в месяц выпускает, — да животы бы надорвали.

— А почему нам одним животы затягивать? Почему другие не умерятся, кто богатый? Они — о войне много думают? Всё в карты играют.

На это отвечать нечего. С их горизонта — главное, что и видно. И *там* Дмитриеву было некого убеждать.

Стучал, стучал паровой молот.

Протянулись пушки.

Пошли дальше.

— Григорий Кирьяныч, что такое собрание можно собрать — спасибо и вам, и всем разумным людям. Но — не портите. Если уж будете говорить, так — не что по должности, а что глазами видите, по совести.

Внял ли, не внял, — молчал. Пошёл к себе в мастерскую.

Дмитриев заметил, что волнуется всё больше. Ещё минут сорок оставалось, да так темно прежде времени и на душе неспокойно, — потянулся к *своим* — тем нескольким рабочим, своей экспериментальной группе, с которыми много месяцев они готовили опытный образец траншейной пушки — вместе пробы делали, отбрасывали и меняли, сам Дмитриев включил их понимать, что к чему, просил думать и присоветывать, и бывали дельные советы.

Сейчас он искал их — призанять настроения в оставшийся получас. Да через них должно уже и подыхивать — что его встретит на собрании.

Он пошёл в слесарку к Малоземову, заботному старичку, своему любимому Евдокиму Иванычу, но его не нашлось на месте. Предположили соседи, да и без них догадался инженер: в старой литейке у своего друга Созонта.

В литейке не увидел Созонта, подсобники перегребали, обогащали формовочную землю. Нырнул в шишельную, пристройку при литейке, — там! В это их излюбленное укромное местечко собирались они не раз, рисовали шишки, цапфы, шарниры, сочленения, чтобы напроворнейше пушка их собиралась-разбиралась на перенос. Тут и были сейчас. И седенький Евдоким Иваныч, мало что росту невысокого, а ещё, по своему обычаю, и сев пониже на чурбачок, и махорочной газетной козьей ножкой попыхивая. И лобастый головастый Созонт Боголепов, мало что здоровен и ростом, и в плечах, — ещё и стоя, просторной спиной прислонясь к шкафу с моделями, и руки за себя — для куренья ему не надобны, так любил он стоять, ворочая на говорящих лысую тыквицу головы. Двое шишельников — один формовал, другой так сидел, без дела, обвиснув. Да парень носил на подносах из сушилки сухие шишки, на полки раскладывал. Да за одним верстаком щуплый столяр быстро управлялся в работе и не уставал частить-говорить таким же проворным тонким говорком. Да чахоточный впалогру-

дый унылый модельщик сидел на верстаке, не работал. И один верстак — пустой. И хотя ещё табуретка была свободная — Дмитриев тоже сел на пустой верстак, как в подтвержденье, что свой. При его росте свешенные ноги доставали пол.

Старая литейка не отапливалась от заводской котельной, но здесь, в шишельной, стояла чугунная печка и сейчас, как всегда, пожирала обрезки и стружки, отдавая тёмно-красный накал. Воздух был сухой, тёплый, весёлый, приятно войти. Не простыл Дмитриев, а тепла хотелось.

Он был уже тут настолько свой, что не прервал, кто как был, так и остался.

— В общем, всю нашу таинственность продал он за три миллиона золотых рублей. И деньги получил от самого директора банка,— частил проворный мелкозубый столяр, а фуговал.— Теперь все наши планты у Вильгельма как на ладони.

В халате, с рейсмусом из кармана, столяр быстрым ловким движением ослабил винт верстака, переложил деталь другим боком и уже завинчивал. И не умолкал:

— А с чего началось. Немцы через его присылали царице лекарственные травы, значит, для царевича. Какие в Германии рощены, а в Расее не бывают.

— Врёшь, — молвил Созонт. — Таких трав нет, какие бы в России не росли.

— Ну, говорю! — взялся столяр за фуганок, а тот был ему едва ль не в полроста, от пояса до лба, и хватился фуговать, очень спеша. — А за что б тогда она выпродавала?

— А что, — вздохнул модельщик. — Очень вероятно у них и от чахотки произрастают.

— Да, так они травы присылали. Через етого Распутника. Он — царице подносил, а та ему всяк раз — конвертик за своей сургучной печатью. А в конвертике — что ей государь за то время проговорился, всё она записывала. И спрашивала Вильгельма, каких министров снимать. А их императорское величество — не в отца своего, мягкие очень. А в другой раз уговорено было, на какой фронт ейный лазаретный поезд йде, — там и будет наше наступление. А при Распутнике ещё состоял такой жидок, кажись Рувим Штейн. А у жидка того конь такой, что ль невидимый, он сразу — скок и к Вильгельму, скок и назад.

Не верили.

— Ну, може до самого Вильгельма не доходил, не знаю. А только и он миллионщиком стал. Теперь вот попался, говорят. Схопали.

Удивился Дмитриев: даже о Рубинштейне сюда дошло, только эдак. Не первый раз среди рабочих ему приходилось в этом роде слушать, это было как после сильного буревого дождя река взмучена, взрыжена, и несёт по ней мусор, хворост, брёвна, — перенять этого не может никто, жди, пока само пройдёт... Он и не пытался встревать, он знал, что переубедить всё равно невозможно. Ужасала глубина их невежества, но и тревоги: откуда им, правда, всё знать? Ужасали стены непонимания, нагороженные по России поперёк.

— В общем, дали немцы нашим министрам миллиард, чтоб они уморили миллион людей, по тыще рублей за человека, хошь бы и не солдат. И граф Федерикс за всех деньги взял. И в Питере, вот уже, с голоду смаривают... А ещё слух есть: в Царском Селе, в лазарете, один ранетый офицер в царицу стрелял. За то, что она немцев одобряет. Не попал.

Хотелось бы Дмитриеву подсесть к Евдокиму Иванычу — некуда, с Созонтом тоже у шкафа не станешь, и отзывать их неловко. Да и не было прямого вопроса. А была вот — роковая, вековая стеснённость перед тем, как говорить с рабочей толпой, виновность без вины, какая-то уязвимость, хотя был он перед ними честен, чист, и на своём месте, и своё дело знал, и в куртке рабочей, и телом здоров, и не косноязычен,

а позавидуешь столяру-хорьку, этот и перед тысячей выскочит, не сробеет:

— Так что теперь пропало наше дело! — бойчил, фуговал, вот опять уже отвёртывал. — Советчики у его императорского величества все подкуплены. Аж до самого Питера мы запроданы. Пришёл от Вильгельма приказ: развалить всю Расею. — Впрочем, без страха, даже с весёлым злорадством.

— Ну, чего несёшь, острозубый? — лениво сказал Дмитриев.

Да и без него никто сполна столяру не верил.

Но и разубеждать начни — тоже не разубедишь.

Проглядывая отфуговку под дубовый угольник, столяр:

— А ещё есть тайное распоряжение: всем офицера́м Елисеевскую ночь делать.

— Какую? — спросил модельщик.

— Елисеевскую.

— Иначе как-то, — сомневался тот. От чертежей ли, грамотный он был.

— Как же эт, ночь? — дивились шишельники.

— А вот, у кого специальной бумаги не найдётся — всех зараз кончать будут, и на фронте, и в тылу.

— От кого ж распоряжение?

— Значит, есть от кого, — со знанием обещал столяр.

— Подожди, — вник Дмитриев. Ведь это ж не в одной тут шишельной, это и по всем заводам так? — Откуда это ты всё, откуда?

— Да куда ни придёшь — везде одно говорят. И у нас тут рассказчики ходят. Социалы разные. И тоже жидки. Мол, вот заполыхает, пождите.

Да ведь это ужас разносился, зараза — и что же с ней поделать? Но ведь и повсюду, и выше — только в других словах.

— Мутят, как воду в сажалке весной,— пыхнул с чурбачка Малоземов. У него уж зубов иных не было, в разговоре слышалось, а седыми усами прикрыто было беззубье.

— Разворужился народ,— молвил Созонт от шкафа.

Созонт и Евдоким были земляки. Как и многие петербургские рабочие, не переписанные в мещан, они писались в виде на жительство и при каждой регистрации или полицейском обходе повторяли вслух, напоминали сами себе: крестьянин Новгородской губернии, Старо-Русского уезда, Залучской или Губинской волости,— хотя на Обуховском заводе без перерыву работали: Созонт — уже двадцать лет, а Евдоким — двадцать пять. Как земляки, они и на заводе землячествовали, и семьями были сойдены, и когда говорили «у нас» — то и через двадцать лет это не завод был, а — места родные, где семеро речек у них и все Робьи, и куда Евдоким полагал перед смертью добраться, чтобы похорониться там. На петербургском кладбище ни за что не хотел.

А разговор между тем погуживал, и опять всегдашний, вечный и бесконечный — о ценах. Привыкнув к многолетней неподвижности российских цен, как если б влеплены они были в сам товар, в само существо вещи,— русские люди только обомлевали от несусветного военного роста цен. Как ребёнок, учащийся говорить, старательно пытается снова и снова выговорить неподдатное, удивительное слово, так и эти простые люди снова и снова выговаривали и друг на друга смотрели, проверяли: да так ли? да может ли это быть? Хлеб из четырёх копеек фунт да шесть — это как будто сама земля зашаталась. Чай! — уже по-прежнему не попьёшь. Селёдка была четыре копейки фунт, а теперь 30! Да обутку-одёжку возьмите! Калоши были рубь тридцать, а теперь нате, четыре с полтиной. А чем отапливаться? — эт на конец войны не отложишь: дрова берёзовые были семь с полтиной сажень — а теперь уж за двадцать. И неудержимый осатанелый этот рост день ото дня следя — как иначе им истолковать, чем чьей-то злою жадной рукой, которая эти деньги себе загребает: ничем другим нельзя объяснить, по-

чему предметы перестали стоить свои, извечные цены? Кто-то невидимый, злой, заговорный — обогащается за счёт простого люду: они там, наверху, все сговоренные. Почему товаров нет? Прячут, набирают деньги на наших слезах, жиреют в укрыве. И руками их не цапнешь, не знаешь, где они. И в екипаже едут — не дотянешься.

Но уж если вчера нельзя было на цены рот не раззявить, то и вчерашнее дивленье рядом с ещё новым в меру не шло, и даже из жуткого почти и веселовато становилось: как будто эти дикие цены уже и не могли касаться их, здравых людей, а вчуже злорадно посмотреть, во что ж они выпрут?

Да *их*-то и не касалось, баб касалось. Те денежки на прилавок выкатывать реберком — бабам, не им. Вот идё сердце отрывается.

— Что бы! — отозвался Евдоким снизу.— Выкатывать! Ещё до того прилавка достойся. Мы вот пошли на работу, и тут в суше, в тепле, в коперативной столовой пообедали. Называется лишь — работа, а всё ладо́м. А бабе — платок обматывай потеплей, да иди под морозгою стой — и два часа, и три, и ещё дождёшься ли. За свои деньги. А малые — с кем? И дом разорён.

Говорил Евдоким Иваныч с той сроднённой сочувственностью к жене, какая только к старости приходит, когда сам в её шкуру влезаешь. В мелких морщинах, протемнённых железной пылью, с потухшими глазами, он всегда выглядел и говорил невесело, даже когда улыбался вполгубы из-под усов.

— В тепле, пра! — радостно отозвался парень, шишельный ученик, и сунулся к печке ещё подкинуть.— Дома с угольком худо, не нагреешься.

Уж и дверцу открыл, а не лезло, ломать надо.

— А глаза есть? — строго спросил Созонт. Не поспешно, а остановил к часу.

Понял парень, не понял, почему эту рейку нельзя, но послушно отставил, уже припалённую, кинул обрезков поплоше, неструганных.

Хвалили карточки сахарные: что справедливо — то справедливо. Ещё недавно: богатый — по какой хошь цене схватит, а бедному — шиш. А теперь на всех едоков поровну, это — по правде.

Голодали бы все поровну — и не обидно нисколько, и не стонь. То и жгучей всего, что — неравны, что одни — за счёт других.

Вот бы так — и на мясо талоны. И уже уставляли, почему отказали? Говядина, что ж это, голова закружится: 45 копеек за фунт? Да вы залютели? Да кто ж это в силах выдёрживать?

И — с молоком бы ещё так. Питерская вывороченная жизнь — не привезли молока, и нет детишкам, и не сходишь в хлев надоить. В селе Михаила Архангела, вон, есть коровёнки, так в эту неурядицу сена не наберёшься. Как к этой жизни можно привыкнуть даже и за двадцать пять лет?..

А ведь питерский рабочий заработок ни с каким местом России несравнен. Сперва даже шептали, рассчитывали: за войну ещё загашник поднабьём. И с тех пор возвысился вдвое, считай. Но цены — упредили, цены убегли — куда-а-а!

Во всяком положении можно сравнивать вверх, можно вниз. Напомнил им Дмитриев: а солдаты — *вам* завидуют: тут снаряд только со станка снимай да грузи, а там под него голову клади. Не захочешь этих и полфунта мяса.

Верно. Верно, в Питере во всяк ляд ещё жить можно. А поди в окопах покрючься. Тут хоть десять, хоть двенадцать часов отработал, а под свою крышу спать иди.

— А вот нас и погонят скоро́й.

— А больше бастуем — так там и будем.

— А тут — кто за нас?

— Китайцы, кто!

— Кита-айцы? — первый раз работу покинул и обеими руками

развёл поворотливый столяр.— А что они могут, китайцы? К какому станку?

— Обучат,— с чурбачка Малоземов. На его жизни кого не обучали.

— Да он и подсобником сразу слягет, китаец! — занозился, пронзился столяр.— Рази два китайца ваш ковш подымут, в литейке?

— Да ты сам — крупней ли китайца? — Созонт сверху.

— А я и не подымаю! — за рейсмус схватился опять столяр и за новые рейки. Он на сдельщине был, вот и гнал.

А остальным — невторопяху.

И знали же все, что собрание ждётся, и кто пойдёт на него,— а не касались, как мнил инженер уловить, послушать.

Самому начать? Как-то не выговаривалось.

Малоземов старыми понятливыми глазами поглядывал на инженера с чурбачка. Понимал, что тот пришёл за подсобием, но не туда разговор шёл.

Разговор барахтался, барахтался, и так просидел Дмитриев между ними полчаса, не утвердясь, а ослабясь. Вот — чем жили они, и какая была надежда, что пятьсот рук да схватятся за траншейную пушку?

Только уже когда позвали, крикнули, и сдвинулись — Евдоким Иваныч в литейке взял инженера за локоть, и сочувственно, как давеча о бабе своей и о коровах в Михаиле Архангеле:

— Главно, Митрич, говори смело, как агитаторы. Не давай перебивать. Крикнут — а ты им. Мы, рабочие, видишь, в таком положении — ни порознь один. Мы как камень единый: или все в энтот бок, или в тот. Расколоться нам — не дадено. Брать — только всех до единого. Вот так и бери.

(Продолжение следует)



МИХАИЛ ПЕТРОВ

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ДМИТРИЯ ШЕЛЕХОВА

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

I

Выправив купчую и попрощавшись с друзьями, полковник в отставке Дмитрий Потапович Шелехов, уволенный со службы по собственному прошению с мундиром и пенсионом полного жалованья, талой мартовской дорогой спешил в свое теперь уже Фролово. Невелико сельцо Фролово, но свое, свое, и это полнило душу бодрыми надеждами, заманчивыми планами. Жену Авдотью Андреевну он пока с собой не брал, отвез с трехлетней Катенькой и годовалым Аполлоном в имение тестя под Тулу и, потеряв на этом добрую неделю, теперь спешил, боясь водополья. К тому же и фроловский староста несколько раз передавал с мужиками, что барский дом давно обихожен: все вычищено, переложено, перескоблено, перекрашено; мебель, купленная барином по осени в Москве, привезена и расставлена как велено, заготовки для барского стола сделаны, любимые барином рыжики заждались его в дубовой кадушке на льду в погребце и кухарка не забывает, мол, прополаскивать в чистой воде холстину, которой закрывает грибы от плесени.

Ехали из Москвы старым трактом — через Волоколамск, Микулино Городище. Дорога уже осела, местами стояли лужи, а на взгорках полоз возка уже прицарапывал вытаявшую землю, что всякий раз отзывалось на лице кучера Нефедыча болезненной гримасой. Сквозь дорожную дрему, в которую впадал Шелехов, наплывали иногда картины вчерашней пирушки, устроенной им на прощание. Кажется, хватило гостям и шампанского, и ужином остались довольны, но в эту бочку меда попала-таки ложка дегтя; как раз она и сбивала его с раздумий о хозяйстве, об устройстве жизни в имении. Вот уж верно замечено: домашняя дума в дорогу не годится.

На мальчишник неожиданно заявился друг его юности, однокурсник по университету и однополчанин по Московскому ополчению Алексей Кондратьевич Оглезнев, он-то и смущал ему сейчас душу. Оглезнев давно ушел в отставку, так как был, не в пример Дмитрию Потаповичу, человеком состоятельным, и лет пять уже его имя мелькало в петербургских журналах. Друзья крепко обнялись и расцеловались. Оглезнев поседел, поредел, посерьезнел и, что задело Шелехова, — в темно-серых глазах его появилось какое-то чувство превосходства над ним. Вспомнили, однако ж, Первый казачий полк, куда они вступили девятнадцатилетними подпоручиками и в котором сражались, можно сказать, во всех главных баталиях, начиная от Бородинской битвы и кончая сражением при Коцбахе, в котором Шелехова тяжело ранило. Вспомнили и сражение под Дрезденом и Бауценом, за которое их обоих наградили орденами Святой Анны, и Париж 1814 года, незабываемый триумф победителей. Потом разговор вернулся к прежней теме, литературной, Дмитрий Потапович хотел ее переменить, но тут вмешался шурин, уже изрядно хвативший, раздевшийся до рубашки, и всех завел. Похвалившись своими знакомствами с братьями Полевыми и князем Шаликовым, стал расхваливать литературные опыты хозяина. Шелехов скрывал перед Оглезневым свою причастность к музам: как-никак он — физик, а Оглезнев — историк, шурин же не без гордости объявил, что Шелехова недавно приняли действительным членом Московского общества любителей словесности, пошел возносить поэму Дмитрия Потаповича «Раскаяние, или Торжество христианской веры», которую он напечатал четыре года назад и сейчас стыдился ее обветшалого слога и назидательности. Гости были люди далекие от литературы — помещики, чиновники, военные, но перед Оглезневым Шелехов невольно покраснел от неловкости, словно его уличили в какой-то слабости. А тут еще вслед за шурином и Оглезнев стал упрашивать хозяина прочесть поэму, и уговорил-таки. Прочел, с растущим позором в душе ощущая, как тяжел, перегружен понятиями, отягощен рассуждениями его стих, и ни бурные приветствия гостей, ни выпитое шампанское не смягчили едва приметной иронической улыбки Оглезнева, с которой тот слушал его чтение...

В отличие от шурина он понимает, и понимает прекрасно, величину своего поэтического дарования. Да и возраст для начинания на поэтическом поприще не тот: дело катится к тридцати, двое детей. Шурин меряется талантом с Денисом Давыдовым и не понимает, что, пока они воевали и получали чины военные, за их спинами выросло целое поколение блистательных поэтов, таких, как Пушкин, Дельвиг, Языков, и тягаться с ними смешно. Но и отрицать свои опыты как совершенно ничтожные или воспринимать их, как воспринимал Оглезнев, он не мог. Слово «бог» вызывало у Оглезнева ироническую улыбку, ну, а если Державин ему ближе, чем Пушкин, так что ж? Не причина же это для взаимного осмеяния?..

Смысл иронической улыбки Оглезнева стал Шелехову более понятным, когда они отъединились от гостей и гость завел с ним разговор о вступлении в тайное общество. Масонские и тайные общества не были для Шелехова секретом, но, уязвленный его улыбкой, он спросил напрямую:

— Разве для того, чтобы делать добро, нужна обязательно тайна?

Алексей отшутился евангельским стихом: «И пусть твоя правая рука не знает, что делает левая...»

— Что же это за добро?

— Общество выступает за конституцию в России, за парламент, против самодержавной власти. Да что тебе рассказывать, мы были в Европе и знаем, чем она отличается от России. Европа — это парламент, торжество законов, равенство сословий перед конституцией, у нас — самодержавие, рабство, отсталость...

— Я заметил в Европе другое, Алексей. Там выше образование, наука, культура земледелия... Вот потому и хочу поехать в деревню, чтобы научить крестьянина плодопеременному полеводству, чтобы он не сеял зерновые по зерновым, отказался от трехполки, от гулевого пара, принял кормовые травы, картофель.

— Научить раба?

— Ну, это чересчур крепко сказано...

— Крепостному крестьянину не нужна культура, образование, наука.

— Однако ты находишь, что рабу нужна свобода... По-моему, без культуры и образования он ее тут же потеряет. А еще вернее, ее у него отнимут. Смешно, Алексей, выступать за парламент, когда крестьянин неграмотен и себя прокормить не умеет.

— Ты против парламента? — помрачнев, обиделся Оглезнев.

— Ну, вот, вот... Я против нищеты и невежества. Думаю, что в России полезней были бы общества по агрономии, сельскохозяйственным орудиям и машинам, скотоводству. Что проку в парламенте, если крестьянин останется с сохой и коровой-навозницей?

— Но будет ли толк от образованного раба? Представь себя на его месте, и ты увидишь нелепость своего предприятия. Уверен, что тебя ждет разочарование, Дмитрий. Вспомни: «Раб — нерадив»...

Разговор с Оглезневым задел его за живое. Конечно, он во многом прав, но зачем же полностью отрицать его, Шелехова, путь? Россия сегодня нуждается в делателе, хозяине, промышленнике, образованном, честном чиновнике на местах поболее, чем в реформаторах и мечтателях. Слишком много кругом людей образованных, утонченно мыслящих, мечтающих о преобразовании общества, но ничего реально для этого не делающих. Реформу нужно проводить лишь тогда, когда для нее будут готовы условия. Сейчас к ней не готов ни помещик, ни крестьянин. А условия — это просвещение, торжество новой системы земледелия, плуг и сеялка. С серпом и сохой от крепостного права далеко не уйдешь... Нет, он едет в свою деревню, где у него по четвертой ревизии в Зубцовском и Старицком уездах сорок душ мужского пола и право на осьмиклассное дворянство и где он в тиши и безвестности займется русским сельским хозяйством. Это его давняя мечта...

Конечно, он помнит Европу. Помнит и то, что удивляло его соратников-офицеров: парламент, местное городское управление, свободная печать. Шелехова, внучатого племянника открывателя Камчатки и островов Тихого океана, рыльского мещанина Григория Ивановича Шелехова, поражало то, что поражало рядовых солдат: с какой расчетливостью и умом идет там всякая крестьянская работа. Промышленность, наука, ум городских людей и их дарования направлены там на помощь крестьянину, фермеру. Трудно перечислить, сколько полезных и нужных земледельческих орудий и машин делают для простого крестьянина в Германии, Франции, Бельгии. Наш же кормилец брошен на самого себя с сохой, деревянными трехрожковыми вилами, косой и топором. Его только корят со всех сторон за отсталость и лень, помочь же не хочет никто. Вот почему-то, господа хулители, в Англии один пахарь кормит трех человек и остается доволен своим уделом, в России же пять пахарей не могут прокормить одного человека и сами нередко ложатся спать голодными...

А русские помещики? По закону 1803 года о вольных хлебопашцах дворяне получили возможность освобождать крестьян. Да только почему-то не спешат это делать даже те, кто на всех углах трубит об этом... Стыдятся назвать себя скотоводами, земледельцами, будто порядочному человеку позорно заниматься тем, чем в Англии занимаются лорды. Да что говорить, если лучшие из наших современных поэтов, тот же Батюшков, находят в сельском хозяйстве только тихие забавы да наперебой советуют своим читателям лениться и мечтать о нимфах в сельском уединении. Не хотят видеть, что под окнами их же усадеб, за оградами гулевого сада, тянутся обезображенные порубкой лесные дачи и истощенные пахотные поля и луга, а за чертой усадеб с великолепными постройками видны полуразвалившиеся лачуги и дурные, неопрятные деревни? Или обуреваемы ложным стыдом? Но ведь давно известно, что землю пахали римские диктаторы, а о сельском хозяйстве писали первостепенные поэты Рима и Греции. Писали с большим понима-

нием, как Вергилий или Гесиод, учившие своих читателей земледелию и скотоводству, имевшие влияние на сельское хозяйство своего времени и не потерявшие поэтического достоинства...

В Микулином Городище Дмитрий Потапович велел завернуть в монастырь, где собирался попросить у эконома монастыря, отца Геннадия, продать пару телочек для завода. Монастырский скот подчас не уступает заграничному, а стоит намного дешевле.

Толстый, порывистый и энергичный отец эконом, прежде чем дать ответ, обстоятельно расспросил Шелехова, кто он и какого звания, куда путь держит, велико ли купленное сельцо да в чьем приходе находится; собирается ли барин жить там с супругою или, ознакомившись с хозяйством, обложит крестьян оброком, как делают ныне многие, и доверит все дела старосте? Узнав, что намерения нового барина серьезны, что он изучал агрономию и хочет вести хозяйство по науке, эконом посоветовал Шелехову нанести визит местному ивановскому священнику отцу Владимиру, отрекомендовав попа добрым хозяином, способным дать верный совет, знающим свой уезд. И только потом повел его на скотный двор, где и пообещал продать двух выбранных Шелеховым телок, велев прислать в монастырь скотника сразу после Пасхи.

— Моды, моды сторонитесь, Дмитрий Потапович, — напутствовал его отец Геннадий, когда они, совершив сделку, отобедали в трапезной и вышли во двор. — Нынче все якобинцы, все вольтерьянцы, всё наскоком сделать хотят, на иноземный лад переменить, а хозяйство — дело живое: потрясений и революций не любит, терпения, любви, постоянства требует.

II

Два дня Дмитрий Потапович разбирался в хозяйственных записях управляющего имением и в одном лице старосты — Ивана Мухина. Там все было свалено в одно: и то, что нажато, и то, что обмолочено, и то, что выдано. К вечеру второго дня голова шла кругом от Ивановых каракулей: «13 генваря дано Марье муки 2 пуда, 15 генваря дано Марье муки два пуда. Дано скотнице для выпойки телят муки 25 фунтов. Дано Аинушке на квас ржаной муки 4 фунта. На пироги дано — 16 фунтов. Дано коням овса 2 пуда. Скотнице для птицы — 10 фунтов...» На следующей же странице шли почему-то осенние записи: «Обмолочено 440 снопов, намолочено два четверика. Убит бык переговалый. Собрано брусники Авдотьей Федоровой 1 пуд, Катериной Савеловой — 1 пуд 10 фунтов. Сшит кучеру Нефедычу армяк, ему же тулуп из 9 овчин; состоит коров 21. Нетелей стельных — 4, холостых — 9. Быков-производителей — 2, кладеных — 4. Выдано солоду Марье — один пуд. Наловлено рыбы 4 меры...» и так далее, и так далее до ряби в глазах, и получалось, что дворовые съедают в день хлеба столько же, сколько и лошади овса, а круп больше, чем птицы, а дворовых-то всего двенадцать душ — четыре мужского пола и восемь женского.

Утром третьего дня Шелехов со старостой объехали верхом фроловские поля. Дмитрий Потапович вникнул в каждое: что за почва, чем было занято в прошлом году и чем намечено занять нынче, какие урожаи снимали с поля, сколько и какого клали навозу на десятину? К обеду возвращались в сельцо. День выдался теплый, в березовой роще уже хозяйничали грачи, над землей висел тот теплый, разъедающий снег туман, который обещает дождь и раннюю весну.

Как ни прикидывал Дмитрий Потапович возможности своего хозяйства, все выходило, что при таких урожаях оно позволит ему только-только концы с концами сводить. Урожаи ржи на помещичьих землях получались сам-три, сам-четыре, пшеницу не сеяли вовсе, коровы давали по шестьдесят — семьдесят ведер в год, большинство фроловских крестьян ходили в отход — ломали камень на Волге, чем и платили оброк прежнему барину.

— Что, Иван, всегда так было? — спросил Шелехов у старосты.

— И нет, батюшка, и нет, не всегда, — с готовностью откликнулся староста, напуганный молчанием Шелехова, — как на оброк посадил нас старый барин, так, замечаем, урожаи все хуже и хуже, хуже и хуже. Избаловался деньгами народ, с земли кормиться не больно-то хочет. Легче купить-де хлеба-то, чем с нашей земелькой играть. А деньгами сыт не будешь...

— Так не вернуться ли опять к барщине, к издольщине?..

— А уж как прикажете, батюшка, воля ваша, — отвечал Иван. — Вот соберем мужичков под ваше крыльцо да и объявим...

На сходе крепкие хозяйственные мужики его действительно поддержали, те же, кто жил за счет заработков на ломке камня, долго противились барщине, но в конце концов и они сдались. Тогда же Шелехов разработал план перехода на многопольный севооборот. Чтобы не пугать крестьян нововведением, решил переходить с трехполки, не уменьшая посевов озимого хлеба и почти ярового, постепенно вводя в оборот кормовые травы, картофель, лен. В конце марта, еще по снегу, в Березках по озимой ржи посеял клевер. По совету ивановского священника отца Владимира, нанесшего ему визит, заставил перевеять все семена, по его же совету послал старосту в Сухинич купить пудов двадцать яровой гречихи. Поп рекомендовал ее как культуру, которая хорошо чистит сорные поля, а поля-де во Фролове очень сурепистые.

Как только запылили под колесом и копытом дороги, нанес необходимые визиты в Зубцове, Старице и Твери, куда пришлось обращаться с прошением освидетельствовать его документы в доказательство о принадлежности к благородному российскому дворянству. На обратном пути из Твери завернул с ответным визитом в Ивановское, к отцу Владимиру. Тот встретил его в саду, на пасеке, с дымарем в руках и сеткой на лице. Отложив дела в сторону, показал свое хозяйство: десяток выхоленных красных коров, яблоневый сад, ухоженный огород с высокими грядами, теплицу для ранних овощей, угостил домашним вином из крыжовника, которое попадья, матушка Иринья, делала по какому-то старинному рецепту с добавлением меда. Штофчик выпитого вина развязал языки. Отец Владимир все более дивил его практической сметкой, домеком. Имея двенадцать десятин пашни, он не только обеспечивал хлебом себя, но еще и продавал гречу, лен, получал доходы от пасеки и сада. Суждения его, несмотря на поучительный тон, которым он их произносил, были метки и оригинальны.

— Ошибка русского земледельца в том, Дмитрий Потапович, — говорил отец Владимир, — что он вечно тянется вширь, а не вглубь, хочет овладеть как можно большим пространством земли. Всего ему мало, всего он хочет иметь много: угодий, пашни, леса, коров, лошадей, а в результате зачастую и с тем, что имеет, не может как следует справиться. Присмотритесь к русскому помещику, он все гонится за масштабностью, заводит огромные луга и выгоны. На крестьянское тягло, это на двух-то человек, на Адама и Еву, он накладывает по полторы сороковой десятины, да у них своей еще две десятины. Как можно все это возделать — не то что превосходно, а даже сколько-нибудь хорошо? как удобрить всю эту площадь? как вдвоем вовремя убрать ее? Да кое-как, вот как, Дмитрий Потапович! Мой вам совет — не спешите приобретать землю, расширять имение. Если умно вести дело, то и одна десятина даст больше, чем иному десять, и одна кóрова даст масла больше, чем иному пять.

Все это Шелехов и сам знал. Завидны были и средства, которыми отец Владимир достигал своих урожаев, но где взять столько навоза, сколько он советовал вывозить на десятину? Поповский скот кормился не с пашни, а с сенокосов, которые он арендовал в Ивановском и Фроловском. Так ведь не у каждого хозяина есть даровое сено, а следовательно, и даровой навоз.

За новыми заботами, хозяйственными делами Шелехов вскоре забыл о разговоре с Оглезневым. Днем он то на риге, то в поле, то на конюшне, то на скотном дворе, по вечерам перечитывает «Земледельческий устав» знаменитого английского писателя по сельскому хозяйству Джона Синклера, «Рациональное сельское хозяйство» немецкого ученого Теэра, «Разыскание свойств и причин народного богатства» Адама Смита. Соглашается и спорит не только с Иваном Мухиным и мужиками, но и со светилами европейской науки. Поспорить есть о чем. Теэр то и дело увлекал в теоретизирование, сворачивал на идеальные, утопические размышления вообще о сельском хозяйстве. Типичный немецкий ученый, который, уж если взялся за перо, не может, не унизив себя в глазах своих ученых собратьев, говорить о деле без умозрений. Маленький сельскохозяйственный Кант. Обязательно нужно поумничать, подмешать в сочинение хоть немножко чего-нибудь темного, кудреватого, непонятно-трансцендентного, без чего германский писатель что офицер без шпаги.

Синклер приводил в отчаяние своей британской конкретностью, приверженностью своему английскому хозяйству, своим английским традициям, своим английским мерам, будто кроме англичан в мире никого не существовало. Но сколько за этим скрывалось труда! В Англии не было, кажется, ни одной самой простой крестьянской работы без особого приспособления или превосходного орудия — легкого и удобного. Лопаты для самых разных работ, вилы всевозможные — в том числе и для связывания в снопы. Подхватывают такие вилы пук сжатой ржи или овса ровно на сноп: завязывай сноп на возу, укладывай, а подавальщик уже новый тебе приготовил. И не надо стоять в наклонку по целому дню! А сколько разнообразных плугов? Промышленность буквально состязается в желании облегчить труд фермера. Двухкрылые плуги для пропашки земли меж грядами овощей, распашной плуг для истребления сорняков между колосовым хлебом, пропашник для отвала земли от овощей, косы с полотном для подхвата мелкой травы. В русском хозяйстве, для русских гряд, почв, нравов, обычаев многое не годилось, но побуждало мысль сделать что-нибудь подобное и в своем хозяйстве. Да ведь и делают! Старицкий помещик Иван Иванович Воробьев открыл в имении мастерскую по производству инвентаря и по своим чертежам делает веялки, сеялки, косилки, сошники, лопаты, плуги превосходного качества.

В нем все более возникает желание составить ясные понятия о русском сельском хозяйстве, понятия свои, природные, приноровленные к народному быту, характеру, почве, климату, традициям. Нет, он не согласен с Теэром, что цель сельского хозяйства — есть деньги, барыш, чистая прибыль. Самые высокие барыши чаще всего почему-то бывают противоположны общей пользе, общественному благу, думает он, отрываясь от книги и слушая нудный осенний дождик за окном. Один из выгоднейших способов сбыта зерна — винокурение. А ведь чем больше зерна пойдет на вино, тем голоднее будет жить людям...

Тогда же, в ночных уединенных диалогах с Теэром и Синклером, задумалось первое фроловское сочинение, названное им «Главные основания земледелия». Почти четыре года ушло у Шелехова на него. Это были размышления о возможности гармонии космоса и человека, природы и общества через посредство подлинно научного земледелия, где земледелие названо основою гражданства и источником законов. И любое нарушение этих оснований всегда оканчивалось разрушением нравственных и гражданских основ.

Он начинает книгу с похвального слова земледелию:

«Нет других занятий для кочующего человека, кроме помышления о беспрестанном движении с места на место, о грабежах и набегах: ибо ничто не привязывает его к месту рождения, одному месту, ничто не озабочивает его оградить целость своей родины, возвысить вид, улуч-

шить благосостояние ее — внутреннее и наружное. Земледелие поселяет в душе человека привязанность к месту труда... Земледелие улучшает, развивает силы природы... Земледелие построило села, соорудило города, образовало гражданства...»

III

С теоретическим мужиком было все более или менее понятно. А вот реальный мужик нередко ставил в тупик. Мужик удивил Шелехова своей недоверчивостью, подозрительностью и неприятием барских нововведений, которые, как и шило в мешке, было невозможно утаить от него, всю свою жизнь пахавшего землю по старинке. Привыкши получать сено с сенокосов, мужик долго не хотел принимать клевер и не принял бы, если бы он не влиял на урожайность и чистоту льна. Скреб затылок пятерней, оглядывался на старосту, ища у него поддержки, демонстративно недоумевал: «Зачем же на земле траву сеять, когда лучше посеять хлеб?» Объяснения ученого барина, что клевер повышает плодородие почвы и увеличивает удой у коров, в расчет не принимались: «А мне молока хватает, куда ж его больше? И эго поросятам выливаем...»

С психологией мужика Шелехов разобрался, когда понял, что весь состав крестьянского хозяйства, вся его организация вращается вокруг пищевого рациона, вокруг стола и запросов рынка. К примеру, коровье масло мужик еще считал за еду, творог — уже нет; сыра он не знал и не умел его делать, заготавливать впрок продукты также не умел. Овощи составляли совсем крохотную часть его пищевого рациона, и если бы не капуста, репа и картошка, совсем не отражались бы на структуре посевов. Крестьянин привык питаться хлебом, из хлеба делать напитки и лакомства; это и определяло его отношение к земле, к посевам, к урожаю, к достатку, это и принуждало его до половины пашни засевать хлебом и держаться за изнуряющую землю трехпольную систему.

Не зная, как измерить крестьянский рацион в средней семье, Шелехов проверил его однажды на наемных пильщиках, велев Аннушке не ограничивать их в питании. В первый же день, еще не работая, они съели по пять фунтов печеного хлеба, во второй — по шесть, на третий — дошли до семи. Со щами и картофелем количество съедаемого хлеба уменьшилось до четырех фунтов хлеба, но зато увеличилось количество картофеля — до десяти фунтов в день! Кроме того, пильщики съедали в первые дни до пяти фунтов мяса, правда, через четыре дня это количество остановилось на фунте, а вот печеный хлеб так и остался на уровне четырех. Впоследствии Шелехов убедился, что крестьянин и дома так же расточителен с хлебом. Пока была в сельнице мука, каравай ржаного хлеба в любой, даже самой бедной семье весь день лежал на столе. Дети, играющие в горелки, то и дело вбегают в избу, отрезают или отламывают кус хлеба и с хлебом в руке вновь выбегают на улицу. Не откажется полакомиться хлебом и зашедшая по делам в избу хозяйка, и хозяин, и даже куры прекрасно знают об этой домашней привычке. Попавши в избу, они тут же взлетают на стол и торопясь отщипывают от каравая мякиш. Оттого-то на одну душу в год в крестьянской семье съедается до двух четвертей хлеба, а в урожайный год и того больше — до четырех-пяти, то есть, если раскинуть на день, выйдут все те же пять-шесть фунтов, что и у пильщиков. Русский крестьянин, можно сказать, разорял себя хлебом, изнурял им свою землю, заедал будущее своих детей.

Дописывая к тому времени «Главные основания земледелия», Шелехов уже догадывался, что направление ума, избранное им здесь, не годится для повседневной практики в хозяйстве. Хотя он был благодарен этой книге. Он многое уяснил в отношении человека и природы, привел в систему свои мысли, но сельское хозяйство, увы, не поэзия, не умозрительная философия и не прихоть ума, каковым оно представляется московскому знакомому Михаилу Григорьевичу Павлову, новому университетскому кумиру, восходящей звезде на российском научном небосклоне. Повседневная практика преподносит порой такие эмпирии, которые идут вразрез с самой выверенной теорией.

На днях взялся учить экономку имения Марью, ведающую скопом сливок на скотном дворе, и сам получил урок. Как-то он купил в Родне на ярмарке дюжины четыре широкогорлых горшков по дешевке и решил приспособить их для отстаивания молока на сливки. Привез Марье на скотный двор и наказал наливать молоко для скопов в новые горшки, а старые, уже черные от долгого употребления, выбросить вон. Через неделю зашел в избу при скотном дворе, а Марья возится все с теми же старыми, узкогорлыми кринками.

— Новые горшки жалеешь, Марья? — пошутил Дмитрий Потапович. — Я же велел выбросить эти кринки. К тому же из широкогорлых горшков, мне кажется, и сливки удобнее сметывать.

— И не дело вы говорите, батюшка, — возразила экономка. — Сметывать-то из новых, может, и удобнее, зато сливок выходит меньше.

— Ну?! Это еще почему? — иронически воскликнул Дмитрий Потапович. — Уж не сама ли проверяла?

— И проверять не надо, стародавними людьми давно проверено. В узкогорлых сливок больше получается, да и все. Тут эвон сколько настаивается сметаны, — Марья черкнула пальцем по черной кринке, — а здесь блинок в палец толщиной.

Марья была старая скотница, опытная экономка, производство сливок у нее было отлажено и отшлифовано десятилетиями. Парное молоко Марья сначала ставила на погребицу для постепенного охлаждения. Через сутки, когда наверх поднималась часть сливок, кринки вносились в теплую избу при скотном дворе, и опять-таки используя физические законы — чтобы как можно больше оставшихся в кринке во взвешенном состоянии капелек сливок при постепенном нагревании поднялось вверх. А чтобы нагревание происходило действительно постепенно, в избе были устроены три полки одна над другой на высоте аршина. Внесенные с погреба кринки Марья выставляла сначала на нижней полке, потом, спустя сутки, переставляла на среднюю, а еще через сутки — на самую верхнюю, где кринки оставались до совершенной зрелости сметаны, если собиралась бить чухонское масло. Зрелость Марья определяла по пузырькам на поверхности сметаны или прикладывая палец к ней. Если сметана не прилипала, значит, была готова.

Шелехов не раз любовался, как точно и безошибочно народный опыт выбирает технологию работ. Теперь вера в непоколебимую Марьину мудрость, а заодно и народа давала трещину. Оказалось, все эти физические законы Марья использовала совершенно неосознанно, как неосознанно строит свои чудесные соты труженица-пчела; вместе с золотыми крупицами опыта уживались ошибочные предрассудки.

— Пойми, сметаны в горшке не может быть меньше, — стал поучать Марью Шелехов. — Да, блинок в кринке толще, и намного, но оттого толще, что основание его во столько раз уже. В горшке блинок сметаны тоньше за счет более широкого основания. Следовательно, объем сливок или сметаны что в горшке, что в кринке одинаков. Это я тебе говорю как математик и физик, я учился тому в университете. Понятно?

— Да как не понять, батюшка, — потупила глаза Марья. — Но только кринки под скопы всегда делают с высоким горлом, потому что в них сливок больше настаивается...

— Тьфу ты, господи боже мой! — вспылил Дмитрий Потапович. — Вот ведь упрямая! Да не потому делают, что в них больше сливок скапливается, а потому, что обман зрения. Либо потому, что кринки такой формы держать удобнее. А сливок в них столько же.

— Как хотите, батюшка, — огрызнулась Марья, — а меня учили, что больше!..

Шелехов решил для наглядности поставить опыт из двух партий кринок — узкогорлых старых и широкогорлых новых. Каково же было его удивление, когда, сняв с тридцати тех и других кринок сливки, он намерил, на радость Марье, шесть кринок сливок из старых, узкогорлых, и лишь пять с половиной из купленных в Родне. Видно, был еще какой-то неведомый ему секрет, открытый опытным путем, который в узкогорлых кринках позволял сливкам настаиваться лучше, чем в широкогорлых!.. Вот тебе и Марья! А сколько золотников народного опыта разбросано по России? На днях побывал во Ржеве — и диву дался. Около тысячи мещан ржевских занимаются садоводством, варят знаменитую ржевскую пастилу, имеют питомники, а в питомниках у некоторых до пятидесяти разных сортов яблонь. То же можно сказать о старицких капустниках. За 50 верст едут крестьяне за рассадой в старицкий Успенский монастырь. Материалы русского народного хозяйства еще никто не собирал, а если кое-какие собраны московскими агрономами и садоводами, то не рассмотрены, не очищены практикой от плевел.

Основанием сельского хозяйства может быть один только опыт, и усовершенствовать можно только опять же реальную действительность, пусть несовершенную, но обязательно реальную, а не мечту. И только тот имеет право на выводы, поучения, на совет в сельском хозяйстве, кто сам каждый день ведет собственное хозяйство и живет за счет него.

IV

Ободренный успехами своего хозяйства, повысившимися урожаями ржи, овса, картофеля, выгодной продажей льна, доходами от фермы, состоящей из обыкновенных местных коров, которые оказались на редкость отзывчивыми на хороший корм и теплый хлев, Шелехов стал всерьез задумываться об открытии во Фролове практической школы для обучения крестьян плодопеременному полеводству. Друзья и родственники жены советовали, правда, расширить имение, ведь сельцо состояло всего из сорока душ, но Дмитрий Потапович решает повысить доходность имения за счет культуры земледелия, рационально устроенного хозяйства. Мысли о школе заманчивы и другим: ему хочется через крестьян, своих будущих слушателей, изучить народные основы сельского хозяйства, узнать секреты народной агрономии, зоотехники, ветеринарии. В Бежецком уезде, вокруг села Замытье, живут около двух тысяч крестьян, занимающихся коновальством. Что известно о них? Коновалы по осени расходятся для этого промысла по всей России. Многие из них едва грамоте обучены, а лечат такие болезни, что и ветеринарным врачам не под силу. Крестьяне села Семибратово Ярославской губернии издавна занимаются выращиванием коров на продажу. Выращивают на любой вкус: высокоудойных, с жирным молоком, небольших коров-кормилиц. Это ли не искусство?!

Присматриваясь к крестьянскому хозяйству, Дмитрий Потапович увидел слабое место не только в малоземелье, но и в неумении распорядиться своими четырьмя-пятью десятинами. Вон живут два соседа — Иван Козырев и Федот Петров. И наделы у обоих одинаковы, и ртов поровну, и работников, а результаты в закромах и амбарах разные. Иван что ни сделает, все к месту: в прошлом году многие ячмень сеяли, а он овес посеял, овес у него уродился сам-десять; в этом году все посеяли овес, а он полторы десятины ячменя — и опять угадал. А Петров из недоимок не выберется...

У европейского крестьянина земли не больше, чем у Козырева да Петрова, но хозяйничает он на ней по-другому: и клевер сеет, и рапс, и люцерну, и корнеплоды для корма скота, хороших держит и коров, и сыры делает, и колбасы, и на рынок их вывозит. Конечно, сельское хозяйство Англии, Германии, Франции основано на труде вольнонаемном, там помещичьи усадьбы отдаются землевладельцами крестьянам по контрактам внаём. Русское сельское хозяйство основано на крепостной собственности, где помещик — и владелец, и хозяин, и судья, и блюститель народной нравственности. Плохо это? И плохо, и хорошо. И все же с нищетой следует бороться с обеих сторон. Можно и должно помещику стать руководителем народного сельского хозяйства, научить его научным способам ведения сельского хозяйства. Почему бы не попытаться открыть во Фролове сельскохозяйственную школу для помещичьих крестьян, на манер европейских школ, куда каждый хороший фермер почитает за честь отдать своего сына?.. Опыт у него уже есть, результаты налицо...

24 августа 1822 года Авдотья Андреевна разрешилась вторым сыном. Как ни прижимали Дмитрия Потаповича дела, вырвался на денек в Москву. В эти дни и окрестили сынка в приходе церкви Знамения близ Девичьего Поля, нарекли при крещении Александром. После крещения шурин упросил его посвятить денек-другой охоте на уток. Пришлось делать крюк на Емельяново, в болото.

Доро́гой шурин читал свои стихи и пересказывал литературные сплетни, чем замучил Дмитрия Потаповича до смерти. Вдобавок велел Нефедычу останавливаться около каждого трактира, где прикладывался к рюмке и с новой силой принимался бранить Пушкина, грозясь разнести в пух и прах его «Евгения Онегина».

За Волоколамском потянулись бедные тверские деревни, тощие крестьянские стада, пасущиеся по жнивью, расстеленный на стлищах лен, зеленые прямоугольники конопляников в огородах. Весь день обгоняли ржевских нищих, группой и поодиночке возвращающихся домой с промысла. Некоторые промышляли столь счастливо, что нанимали извозчиков, везли домой кули и короба с гостинцами, но некоторые по привычке валялись у трактиров. Возмущенный увиденным, Нефедыч всерьез божился, что теперь во веки веков не подаст в первопрестольной ни одному нищему, да и детям своим закажет это делать.

Шелехов проговорился шурину, что пишет книгу о сельском хозяйстве, и был не рад, так как тот принялся бранить его.

— Гробишь талант, Димитрий! Талант, какой талант гробишь! — повторял он трагическим голосом. — Ведь сманят, сманят Россию с Христова пути, в города увлекут, к кабакам. Эх, Димитрий! Станет святая Русь блудницей, пьяницей, нищебродкой. Будет стоять седая, беззубая, с растрепанными волосами у трактира, и какие-нибудь колбасники-немцы будут бросать ей в трясущуюся руку по медному грошу на кусок хлеба. И ты, ты будешь виноват, Димитрий, ты! Потому что ты своим святым словом мог бы ее спасти, но не захотел!..

— Словами ее ты спасай, Владимир Андреевич, — приобнял шурина за плечи Шелехов. — Я попробую делом спасти. Вот допишу книгу, сельскохозяйственную школу открою для крестьян, как в Англии, как в Голландии делается.

— Школу?! Димитрий?! Это что-то новое. А как же свобода, равенство, братство? Да не смотри на меня так!

— Я говорю о другой свободе, о свободе от невежества. Не думаю, что если освободить крестьянина с землей, то все вмиг и наладится. Освободим-то его с сохой, с трехполкой. Он тут же опять в рабство к природе попадет. Сначала надо освободить от трехполья, от коровы-навозницы, от сохи.

— И что это будет за школа?

— Первая в России — сельскохозяйственная школа для крестьян. Буду учить плодопеременному полеводству, чтобы в наших нечерноземных краях не было недостатка в хлебе. Научу хорошо обрабатывать землю, засевать ее добрыми семенами, научу, чтобы озимые и яровые возвращались на одно и то же место не через год да каждый год, а через

три-четыре года. Научу выращивать клевер, лен, картофель, держать побольше скота.

Шелехов в то время разделял проект графа Мордвинова о выкупе крестьян из крепостной зависимости, правда, считал чересчур высокими цены, предложенные графом за выкуп. Тверскому крестьянину, во всяком случае, они были явно не под силу. Но выход все же был: научить крестьянина плодопеременному полеводству, ремеслам, рациональному хозяйствованию. И тут без школы не обойтись.

— Не пойму, ты что, чиновником пойдешь? Или это благотворительная школа будет?

— Почему благотворительная? Я не граф, а мелкопоместный дворянин. Буду получать с помещиков, пожелавших отдать в обучение своего крестьянина, по тридцать рублей; окончившим курс выдам дипломы об окончании школы.

— Да кто же пошлет к тебе крестьянина, Дмитрий? Он, пожалуй, выучится и барина не станет слушать, — кому это нужно? Лично я, например, и за бесплатно ни одного мужика к тебе в школу не отдам, а тут тридцать рублей серебром!

— Но эти тридцать рублей тебе за первый же год окупятся.

— Да мне и денег этих не надо!.. — воскликнул шурин.

— А теперь я тебя не пойму, Владимир Андреевич: то ли тебе денег жалко, то ли тебе их не надо. Чтобы Россия окончательно не обнищала, может быть, следует у немца поучиться хозяйство вести? Почему же тебе тридцать рублей жалко на такое благое дело? Для себя ведь выучишь!

— А вот жалко, и все тут! У меня в прошлом году в Краснове шесть десятин овса потравили скотом, и виноватых не нашел! Мужик только смотрит, как бы нас с тобой обмануть, а я его учить стану.

V

Разговор с шурином поубавил энтузиазма, дал понять, что в одиночку, без сторонников, школы не создашь. Вот только где их взять, сторонников? Один не хочет и даже боится образованного мужика, другой замкнулся в своем кружке, заслонился от народной жизни несбыточной программой, хотя именно этот понимает и цену просвещения, и средства имеет для устройства школ, и власть, чтобы хоть как-то подействовать на местную уездную и губернскую администрацию, которая откровенно грабит и притесняет мужика. Шелехов написал письмо в Вольное экономическое общество, в котором объявил свой проект. Проектом заинтересовался сам президент общества граф Мордвинов, и вскоре Шелехов получил официальное приглашение познакомить с проектом школы членов общества. В октябре 1825 года Дмитрий Потапович выехал из Фролова на заседание общества.

Он почему-то не сомневался в успехе, в том, что общество одобрит его проект. В жизни каждого человека случаются такие моменты, когда его поступки находятся в полном согласии с судьбой и собственным призванием; Шелехов чувствовал, что у него пришел именно такой момент. На заседании Императорского Вольного экономического общества он нарисовал яркую картину русского сельского хозяйства со всеми его недостатками, показал причины неурожаев, привел примеры из собственной практики. Доклад получил большой резонанс, Шелехова забросали вопросами, а граф Мордвинов предложил докладчику описать первый учебный год школы в брошюре. Успехи плодопеременного хозяйства во Фролове были уже налицо. Урожай овса после клеверов достигал сам-двенадцати, ржи — сам-десяти, клевер давал по триста пудов с десятины прекрасного сена, фроловская мастерская изготовляла плуги, сошники, бороны, косы и другой хозяйственный инвентарь, который охотно покупали не только помещики, но и крестьяне.

Он не бывал в Петербурге с зимы. Как всегда после долгого отсутствия, город показался изменившимся, незнакомым и даже в чем-то чужим.

Шелехов пошел по Невскому, заглядывая по пути в книжные лавки. Вот-вот должна была выйти в Москве его книга «Главные основания земледелия», и он хотел лично познакомиться с петербургскими книготорговцами, чтобы возбудить к ней интерес. На книгу его подписались князья Дмитрий Владимирович Голицын и Николай Борисович Юсупов, граф Петр Александрович Толстой, князь Сергей Иванович Гагарин, что было своеобразной рекламой ее перед торговцами. Столичные книготорговцы в ответ на это сдержанно улыбались, и даже то, что князь Голицын подписался на семь экземпляров, энтузиазма у них не вызывало; знали его и Юсупова меценатство, просили прислать по три, пять, десять экземпляров, из чего Шелехов заключил, что книга его вряд ли будет иметь читательский успех. Город жил своей жизнью, своими кумирами. Читали Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Федора Глинку, Николая Бестужева, Пушкина. Что было ему, городу, до земли, до ее плодородия? Николай Бестужев напечатал вон в «Соревнователе просвещения и благотворения» свои «Записки о Голландии 1815 года», где описал вымощенные улицы, выложенные камнем и обсаженные деревьями каналы, высокие дома из полированного кирпича, богатство голландских рынков и прелести голландской кухни, но ни словом не обмолвился о сельском хозяйстве этой страны, основе голландской уверенности, сытости, добродушия, силы. Посмотрел бы он на роттердамских завсегдатаев клубов и театров, на речи голландских парламентариев, если бы их фермер вдруг перешел на трехполку!..

На Невском, у кофейни Излера, он столкнулся внезапно с Оглезневым, которого не видел ни разу после мальчишника в Москве. Отойдя в сторонку, обнялись и внимательно рассмотрели друг друга. Оглезнев был в цилиндре, новом, последней моды синем плаще, с наборной тростью в руке —щеголь да и только, а в глазах его играла все та же цепкая, агрессивная ирония, выискивающая у собеседника какое-нибудь слабое место, чтобы мгновенно заметить его и предать огласке, — то, перед чем целомудренный Шелехов всегда пасовал.

— Какими судьбами, Дмитрий Потапович? — спросил сквозь улыбку Оглезнев. — Ведь ты, кажется, живешь ближе к Москве?

Шелехов объяснил цель своего приезда.

— Ну и как? Как успехи? Литературные, во всяком случае, мне известны, читаю тебя иногда в «Дамском журнале» Шаликова.

«Черт бы побрал этого шурина! Видно, опять передал стихи в «Дамский журнал» без ведома!» — смешался Шелехов, но объясняться не стал, отшутился стихами Батюшкова, что успех-де ждет того, «кто пишет так, как говорит, кого читают дамы». Оглезнев вновь больше спрашивал, Шелехов рассказывал. Об имении, многополье, будущей фроловской школе, состоянии сельского хозяйства Тверской губернии. Рассказывал, чувствуя, что Оглезнев вернется, не может не вернуться к их разговору в Москве. Так и случилось.

— Ну и что, лучше стало жить крестьянину, озаренному светом науки? — спросил Оглезнев, когда Дмитрий Потапович умолк.

— Если уж к тому пошло, позволь и тебя спросить, Алексей: а что ты сам сделал для того, чтобы этому крестьянину стало легче жить? — Шелехов вспыхнул: — Можно подумать, что у нас с тобой кормильцы разные. Живешь на тот же оброк, на ту же барщину... Только я хоть как-то пытаюсь облегчить ему жизнь, а ты и сам не делаешь, и меня упрекаешь.

— Почему же не делаем? Делаем, — сказал он самоуверенно, выделяя последнее слово.

— Что же?

Пришла очередь и Оглезневу смутиться. По его выражению лица

Шелехов видел, что ему хочется что-то сказать и он знает, что сказать, но колеблется это сделать. Нет, на прямой ответ он так и не решился, заговорил околичностями:

— Помощь земледельцу вижу прежде всего в том, чтобы освободить его от помещика, остальному он сам научится. Надеюсь, ты читал «Записки о Голландии 1815 года» Бестужева? Так вот, придерживаюсь того же взгляда. Голландия не потому получает самые высокие урожаи зерна в Европе, что голландский фермер знает плодопеременное полеводство, а потому, что он свободен, что там — республика. Только при республиканском правлении и равенстве работающих классов со всеми остальными сословиями Россия начнет процветать.

— И как же ты намереваешься освобождать его от помещика? — спросил Шелехов.

В ответ Оглезнев развел руками.

— Ясно... Помогать крестьянину по-твоему — ездить по Петербургу и за вистом беседовать о голландском и английском парламенте. Нет, уволь, Алексей, эта роль мне не подходит. Долг свой вижу в том, чтобы быть полезным крестьянину сегодня, так как, по-моему, страдает он пока не от отсутствия у нас парламента, а от трехполки, от плохих дорог, от неуплаченных недоимок, отсутствия плуга, в неурожайный год — от голода и в конечном счете от неумения вести хозяйство рационально. От бедного рынка, так как большинство населения у нас крестьяне и крестьянин на рынке ничего не может купить в обмен на хлеб кроме продуктов. Никаких, заметь, товаров и орудий для хозяйства. В голодный год он голодает, в урожайный проедается, а в результате под навесом стоит все та же соха... Указ Екатерины о вольности дворянской освободил нас от служебной повинности, но не от долга перед крестьянином и Россией. Чтобы не уподобиться трутням, от нас требуется одно: работай в своем имении вместе с крестьянином, уравняй сам себя с ним в правах на поле, в скотном дворе, и он это оценит. Но воспользовались дарованной свободой дворяне по-разному. Вместо того чтобы поехать к себе в имения, многие из вольтерьянцев перевели свои деревни на оброк, передали все хозяйство на руки воров управляющих и приказчиков, а сами остались в городах. Нет, нашлись и такие, кто поселился в имении, но одни из них, вместо того чтобы стать образцовыми агрономами, скотоводами, руководителями народного хозяйства, превратились в полицейских надсмотрщиков, управителей крепостных душ и упиваются неограниченной властью и возможностью все получить даром, посредством приказа из конторы, другие же, построив усадьбы с портиками, оранжереей, отгородившись от нищеты французскими парками, завезя в гостиную клавесин и в кабинет библиотеку с книгами на французском и немецком языках, начали перестраивать деревню на европейский лад.

— Погоди-ка, да разве ты сам не то делаешь, что другие, Дмитрий Потапович?

— Далеко не то, Алексей Кондратьевич. Перестраивают-то без ума, без учета российского климата, почв, обычаев. Накупят голландского скота — а он передохнет в суровую зиму; посеют брабантского льна — а он не взойдет на нашем суглинке; истратят на сельскохозяйственные орудия десятки тысяч рублей — а работать на них никто не умеет. И кончается дело тем, что снова закладываются имения под проценты в банк, снова сажаются деревни на оброк, а хозяева уезжают в город с убеждением, что Россия — это дикая страна, а русский крестьянин — это первобытный человек. Нет, Алексей Кондратьевич, мое глубокое убеждение, что главный вопрос у нас в России — аграрный, а не политический. Или, на крайний случай, наш главный политический вопрос — вопрос аграрный. В Голландии не потому такая достойная жизнь, что там свобода печати, а потому, что помещики там не стесняются заниматься скотоводством и не пренебрегают земледелием.

— Ну вот, — огорчился Оглезнев. — Так и думал, что ты к этому сведешь всю политическую обстановку в России.

Радость от встречи угасла, уступила место досаде. Друзья, мечтавшие после окончания университета принести пользу России, однополчане, делившие три года тяжесть военных походов, они теперь как бы оспаривали друг у друга право на стремление приносить пользу своей стране, называться сынами Отечества. Сквозь раздражение, сквозь досаду они все-таки нашли в себе силы протянуть друг другу руки и попрощаться. Не знал Дмитрий Потапович, что это была их последняя встреча.

VI

Весть о событиях 14 декабря 1825 года застала Шелехова в имении и привела в шок. О тайных обществах он, конечно, знал, да из этого никто и не делал тайны, но что все эти собрания, программы, споры закончатся под картечью на Сенатской площади, он и помыслить не мог.

Каждый день приносил новые известия: взяли братьев Бестужевых, Каховского, арестовали Никиту Муравьева, Рылеева, Лунина, Сергея Трубецкого, Бурцева, братьев Крюковых, из Москвы в Петербург под конвоем отправили Орлова, Оболенского, братьев Калошиных... Среди прочих арестовали и Оглезнева. Эти дни, эти недели, эти страшные зимние месяцы сплетен, слухов, страхов, когда камины Москвы и Петербурга, говорят, топились бумагами и рукописями и над городом летал серый бумажный пепел, Шелехов перенес как тяжелую болезнь. Многих арестованных знал лично по университету, по военной кампании, по Вольному экономическому обществу, со многими дружил, многих почитал за литературный талант. Первые дни ходил по комнатам дома и не мог понять: зачем?! Зачем при таком расстройстве финансов в стране, упадке торговли, при совершеннейшей ничтожности русского земледелия, промышленности, ремесел, при бездарности российской государственности, отсталости издательской деятельности, зачем нужно было бросать лучшие умы, светлейшие головы, честнейшие души на каторгу, в ссылку, на казнь? Россия впервые за свою историю нарастила плодоносный слой образованных молодых людей, из которого могли бы произрасти блестящие государственные деятели, талантливые инженеры, врачи, корабелы, мореплаватели, промышленники, искусные агрономы, законодатели, военачальники. И вот на их место водворятся недоучки, сатрапы, трусливые душонки, бездарные администраторы, а с ними — недоверие, подозрительность, цензура, террор и все то, что победившая сторона избирает против побежденной.

Теперь, после ареста Оглезнева, ему стала понятной многозначительность его умолчаний при последней встрече, его упование на парламент, конституцию. Хотел перемены властей. Боже, как эти мечтания далеки от реальной действительности! Подумали бы прежде, кто сядет в губернской или уездной канцелярии вместо сидевшего там взяточника, держиморды, недоучки. Не англичанин же, не голландец — сядет тот же русский дворянин, потому что других грамотных людей пока в России нет. Вместо того чтобы самим занять эти места в судах, канцеляриях, комиссиях и попытаться постепенно преобразовать все, что неугодно, захотели все государство повернуть силой. А сила, как известно, — обратная сторона малодушия, слабости, беспечности, безволия. Легче погибнуть за честь в бою, чем всю жизнь изо дня в день отстаивать эту честь в жизни. Да и неизвестно, освободившись от ига старого порядка, что получило бы общество при новой власти — хаос безвластия? диктатуру? сопротивление, кровь? И опять — новый террор для всех, кто окажется в опале. Вполне возможно, что и для него, Шелехова. А отдуваться, как всегда, пришлось бы крестьянину. Его никто, никакая конституция, никакой парламент не освободит от работы, от

природной зависимости. Потому что, какой бы ни была власть царская, республиканская или еще какая-нибудь, а корову нужно доить в три часа утра. Она властвует над крестьянином. И после ожереба кобылы нельзя прозевать девятого или одиннадцатого дня, когда та вновь приходит в жар. И многое, многое другое из того, чему крестьянин обязан подчиняться в первую очередь и чего нельзя отменить никакими декретами... А у них, как он понял из разговора с Оглезневым, аграрный вопрос был совсем не разработан.

От волнений, от дум, от курения, от хождения из комнаты в комнату у него открылась на ноге рана, образовался гнойный свищ. Авдотья Андреевна извелась, глядя на его страдания. Приглашенный из Ржева доктор Шульц, невысокий, рыжий и страшно серьезный, как все немецкие доктора, человек, зондировал рану, назначил каких-то примочек, но рана вспухла, кожа вокруг нее стала цвета старой лиловой сыроежки, Дмитрий Потапович окончательно обезножел. А тут, к 15 апреля, стали подъезжать в школу крестьяне из разных губерний. Все заботы по школе, по размещению слушателей, конечно, пришлось взвалить на плечи жены. Теорию он вел полулежа в кресле, практику опять же везла Авдотья Андреевна и новый управляющий имением Максим Федорович Веденеев. Они следили за севом, знакомили с молочным хозяйством и конезаводом, принимали качество работ, показывали действие веялок, прессов, кормокухни, сыроварни. А по вечерам Авдотья Андреевна еще писала под его диктовку обещанную Мордвинову брошюру под названием «Существенные правила плодопеременного земледелия», составленную из ответов и вопросов крестьян. Оставалось только обожать Авдотью Андреевну за ее преданность, выносливость, самоотверженность, с которой она делала всякое дело.

Брошюра не принесла ни большой радости, ни даже удовлетворения, из чего Дмитрий Потапович заключил, что по заказу даже и специальную литературу писать не следует. А вскоре в «Московском телеграфе» появилась на нее рецензия за подписью «В. В.». В. В. был не только против фроловской школы, что можно было понять по ироническому тону писавшего, — Шелехова больно резануло то, что он ставил под сомнение достоверность происходящего. Дескать, а существует ли такая школа, не плод ли она фантазии господина Шелехова, использующего рабочую силу в своем хозяйстве и выдумывающего на досуге и собственные вопросы и ответы на них крестьян. Эх, русская пресса! Что за зуд такой; открыв книгу, перво-наперво определить, наш это автор или не наш, а только потом за критическое перо браться. Если наш — захлебнется от восторга, какую бы чушь он ни написал, ну а ежели чужой, будь хоть сам Шекспир, камня на камне от его книги не оставим. В. В., например, упрекал его в том, что язык крестьян, отвечающих на вопросы Шелехова, очень уж литературный. Даже не подумал, нужно ли было сохранять язык и стиль слушателей в специальной брошюре. Писал-то ведь не художественное произведение, а пособие. В школе как-никак крестьяне из шестнадцати губерний. Все вроде бы на русском языке говорят, но прислушаешься — оторопь берет от наречий. Москвичи а́кают, нижегородцы о́кают; свое наречие у курян и у смолян. Начни подделываться под каждого — не агрономическое пособие получится, а пособие по российской словесности... Легко же, господа рецензенты, судить за редакционной конторкой о сельском хозяйстве, особенно тем, кто ячмень от пшеницы отличить не может.

С этой брошюры началось и постепенное расхождение со взглядами Михаила Григорьевича Павлова. Поклонник Шеллинга, Павлов и в сельском хозяйстве видел одни теоретические проблемы, с легкостью перенося на русскую почву выводы сельскохозяйственной науки европейских стран. Шелехов уже тогда стал понимать, что путь этот для сельского хозяйства не годится. Если правила общих наук — математики, геометрии остаются одними и теми же для всех народов земного

шара, для всех веков и поколений, то сельское хозяйство не вполне наука, оно вечное дитя опыта, зависит от климата, почвы, народных традиций и потому должно по справедливости различаться на английское, французское, германское, бельгийское, русское. И даже в Англии оно будет норфолкским и кентским, а в Германии — голштинским и саксонским, в России же — хозяйством северных, центральных, черноземных степных губерний. Переделывать русское сельское хозяйство по иностранным образцам, как это пытались делать ученики Павлова на Хуторском хозяйстве под Москвой, — труд напрасный, неуместный и разорительный!..

Нет, Шелехов не отрицает европейскую науку. Он обучает крестьян основам европейского плодопеременного хозяйства, домоводству и животноводству, учит их пользоваться новыми сельскохозяйственными орудиями, которые можно научиться делать здесь же, во фроловской мастерской, под руководством фроловских кузнецов. Он хочет возбудить у крестьян интерес к науке, всякий раз подчеркивая:

— Мы сами навлекли на себя частые неурожаи, голодные годы и непостоянство цен на хлеб. Сами, своим плохим сельским хозяйством: оно не озарено светом науки, не знакомо с правилами искусства. От этого наше русское сельское хозяйство дурно, а с ним дурны и все его отрасли. Посмотрите, как почвы наших полей и лугов истощились, загрубели, заросли сорняками, лесные дачи обезображены неправильной порубкой, русское скотоводство ничтожно, сельские ремесла самые плохие, домоводство — недостроенное.

Русское паровое поле он называет позорищем для скотины, хотя везде в Европе оно уже стало средством получать питательные кормовые травы. На примере своего хозяйства он показывает, как может увеличивать плодородие почв травосеяние, говорит о значении для нечерноземных почв клевера и рапса, а для черноземов — люцерны и корнеплодов. Нельзя добиться успехов в полеводстве или огородничестве, если отстают в хозяйстве животноводство, луговодство, механика, сельская архитектура, сельские ремесла, переработка продуктов, племенная работа. Сельское хозяйство — это комплекс отраслей, где одна отрасль или подтягивает другую, или мешает ей. Пчеловодство повышает урожай садов, гречихи, огородных культур, а они в свою очередь наполняют ульи медом.

Но, отдавая должное науке, Шелехов не устает говорить о прикладном характере агрономии. Неудачи кабинетных ученых — агрономов и помещиков-западников Шелехов видит в неумении применить свои знания на русской почве. С нескрываемым сарказмом, под усмешки слушателей рисует он преобразовательную деятельность помещика-западника. Как тот начал перестраивать деревню русскую на иностранный лад: выстроил свою усадьбу на новом видном месте, заняв для этого удобренные крестьянские огороды, построил и изящные кирпичные домики для крестьян с отдельными садиками, чистенькие, раскрашенные, с широкими итальянскими окнами, разрушив еще крепкие крестьянские избы. Завел голштинский скот, купил немецкие молотилки и сеялки. Да вот беда: домики оказались холодными, зимой жить в них было невозможно, дети стали болеть. Хлевы для крестьянского скота, отнесенные от домиков на тридцать-сорок саженей, чтобы не портить вид деревни, создавали для баб сплошные неудобства и тоже оказались холодными, скотина в них мерзла и болела, особенно молодняк. Для помещичьих полей был выбран севооборот с люцерной и эспарцетом, которые под северным небом не растут, отчего помещичий голштинский скот остался без кормов, так как сенокосы барин продал мужикам соседней деревни. Зимой из-за нехватки кормов возникли новые затеи с запариванием соломы, хвойного и веточного корма. Принялись крестьяне за топоры, построили помещику кормежные теплые избы из сырого леса, которые в три зимы сгнили. Весна же дополнила разорение: ло-

шади от бескормицы еле передвигали ноги, сев затянули, осенью рано пошли дожди, и немецкие молотилки остались без дела. Вскоре барин наложил на крестьян дополнительный оброк за их лень и неумение работать, отдал имение на руки вора-приказчика и уехал в Петербург с уверенностью, что хуже русского крестьянина, глупее и невежественнее нет на свете.

Дмитрий Потапович замечает в дверях управляющего Максима Федоровича, делающего ему весьма красноречивые пассы; что-де пора от теории перейти бы к практике, лошади-то, дескать, запряжены, семенная картошка погружена, время не ждет. На клеверном поле после озимой ржи решили они попробовать посадить картофель, а уж потом лен. Крестьяне заметили: после картофеля поле чисто от сорняков и земля рыхлая, такая, какую лен любит. Шелехов смотрит на часы — действительно пора, восьмой час. Превозмогая боль, он поднимается с кресла и, опираясь руками о спинку, заканчивает:

— Вредно и убыточно переворачивать вверх дном труд и навык народный, уничтожать заведенное веками, слившееся с обычаями и нравами народными, и пускаться наобум в подражание, в теоретические мечты, польза от которых ничем не доказана на нашей земле. Сельскохозяйственная наука начинается от опыта, а не от умозрений, причем от опыта, изменяющегося по местностям. И боже сохрани, если наука не согласуется с опытом или противоречит им! Но и опыт не может быть самоцелью! Опыт должен подтвердиться успехом либо отброситься!..

VII

Днем он рассуждает, словно Платон, окруженный учениками, вечерами записывает наиболее счастливые, наиболее удачные мысли, наиболее точные ответы на вопросы крестьян. Наученный горьким опытом поспешно выпущенной брошюры, он не торопится теперь облекать эти разрозненные записи в книгу, хотя книга уже задумана и даже готово ее название: «Народное руководство в сельском хозяйстве».

Приехавший на уток шурин смеется:

— Народное? Не ты ли учишь этот народ?

— Именно народное, — горячится Шелехов, — потому что улучшать, совершенствовать, развивать можно не мечту и не умозрение, а только реально существующее хозяйство, реально существующий хозяйственный опыт, пусть даже небогатый. А опыт есть. Возьми ту же Марью. Или скотницу Анну. Простая баба, а начнет говорить — заслушаешься. Кладезь премудрости. Сколько советов мы записали за ней, Авдотья Андреевна? — повышает он голос, задирая голову кверху.

— Не сосчитать, Дмитрий Потапович, — отвечает жена из детской.

— Как это не сосчитать? Вот они! — Он открывает тетрадь. — Вот, слушай: «Новорожденному теленку следует давать молоко только от своей матери. На вид оно сурово и на вкус невкусно, но имеет свойство очищать желудок... Посуду для корма и пойла телят нужно не только вымывать и запаривать, чтобы не закрадывалась в трещинах грязь, от которой тотчас делаются мыты и поносы... Чтобы избавиться от неприятного запаха телячьих извержений, под телят подкладывается конский навоз...»

— Ну вот, опять: неприятный запах, телячьи извержения, — прерывает его шурин. — Разве так крестьяне говорят? Как они телячьи извержения называют?.. То-то!.. Видно, мало тебя «Московский телеграф» критикует.

— А вот я специально для «Московского телеграфа» одну главу в книге посвящу навозу. Пусть поучатся у русского мужика разбираться в г...е. Не угодишь. Одним мой язык не нравится, другие слово «навоз» из словарей исключают. Навоз — от слова возить, Владимир свет Андреевич. Сколько возов вывезешь на поле, столько привезешь с поля хлеба... Напишу о навозе, как бы сей предмет ни был ужасен для чувствительных сердец. Вот скажи-ка мне, русский помещик Владимир Возницын, какой навоз лучше?

— Тут я пас, Дмитрий Потапович, — отвечает Владимир, засыпая меркой порох в гильзы. — Какой порох лучше, знаю, какая дробь на уток — тоже знаю... По-моему, все-таки конский.

— Правильно, конский. Коровий — среднего качества, свиной, наиболее истощенный, — холодный, худший из всех. Но земледельцу этого знать мало, нужно знать еще, когда, какой и на каких почвах навоз эффективнее.

— Скажи на милость! И на каких же?

— Песчаные и известковые почвы ускоряют разложение навоза, глинистые и иловатые — замедляют, — не замечая иронии шурина, продолжает Шелехов. — Вот почему на легких почвах мужик запахивает навоз глубже, на глинистых помельче или даже расстилает его сверху. Знает он также и то, что глинистая почва не может сразу ответить на навоз урожаем, песчаная же и известковая отзывчива, дают прибавку в тот же год. Но самое лучшее удобрение крестьянин не использует, — Дмитрий Потапович переходит на шепот, — удобрение из человеческого помета; если его высушить и истолочь с известью, получается бесценное удобрение, которое дает, будучи распыленное по всходам ярового хлеба, волшебное действие, прибавляя на десятине по две-три четверти. Сам проверял.

— Постой-ка, — откладывает в сторону гильзы шурин. — Можно, я про толченое запишу. Повтори рецепт, пожалуйста.

— Слушай! — огорчается Шелехов. — Да не ты ли пишешь эти проклятые рецензии в «Московском телеграфе» под псевдонимом В. В.? А, Владимир Возницын? А ну сознавайся! Не больная нога, я бы тебе сейчас...

Заботами, любовью и травками Авдотьи Андреевны зажила открывшаяся на ноге рана. Дмитрий Потапович чаще стал бывать в поле, полностью отдаваясь теперь хозяйству и школьным беседам. Уроки старался провести так, чтобы в них участвовал не только рассудок, но и душа, сердце. Как напишет он впоследствии: «Все обучающиеся собирались в дом мой слушать наставления мои после принесения молитвы в храме. С аспидною доской и грифелем в руках я излагал им ясными расчетами сущность, выгоды и преимущества плодопеременного полеводства, знакомил с глубокими истинами естествоведения, вводил их в святилище Природы для созерцания и благоговения перед ее вечными и непреложными законами, премудростью Всевышнего установленными, и они понимали меня...» А по вечерам были еще игры, песни, оглашавшие окрестность, так что во Фролово с изумлением съезжались соседи-помещики, чтобы посмотреть и послушать песни «отборных русских землепашцев», как называл своих слушателей Шелехов.

Обучая крестьян плодопеременному полеводству, Шелехов учился у них сам. Крестьяне на удивление быстро разобрались в том, что орало, которым пашутся ярославские и тверские подзолы и суглинки, нисколько не хуже плуга, а костромская косуля на кое-каких почвах даже и лучше. Разобравшись в сущности новой системы земледелия, они пытались усовершенствовать традиционный крестьянский инвентарь. Наиболее отличившиеся слушатели дома ставились управляющими. Помещики в благодарственных письмах к нему отмечали не только знания, с которыми возвращались из Фролова крестьяне, но и их нравственный рост. Вологодский помещик отставной генерал-лейтенант Павел Иванович Цорн писал ему:

«Милостивый государь Дмитрий Потапович!

Человек мой, обучавшийся у Вас новому плодопеременному зем-

леделию, ко мне возвратился. Он как бы переродился: вырос, пополнел, поумнел. Благодарю Вас душевно за труды, об нем приложенные. Он наставления Ваши помнит и дал мне слово всегда следовать оным.

На будущую весну начну и я в деревне детей моих Вологодской губернии следовать стопам Вашим. Известный Вам Ефим будет хозяином оной. Я решил употребить для пахания вологодские сохи с отрезом, необходим лишь мне плужок двукрылый.

Убедительнейше Вас, милостивый государь, прошу по прилагаемой при сем записке заблаговременно приказать изготовить и отпустить нашему Ефиму как орудия, так и семена, получив от него и назначенные Вами деньги и не задержав его...»

Это были годы напряженнейшего труда, годы становления его как агронома и общественного деятеля. Успех дела навел на мысль создать в России «Земледельческую компанию» для усовершенствования сельского хозяйства. Компании позволили купить под Петербургом поместье, со временем ставшее опытно-показательным хозяйством, на полях которого всякий земледелец смог бы воочию убеждаться в пользе плодопеременного полеводства, купить или заказать семена клевера, вики, рапса, почвообрабатывающие орудия, веялки, молотилки.

В короткое время — три-четыре года — и не заметил, как выросли и повзрослели дети. Глянул однажды на Катеньку, а та уж невеста, замуж пора; выдал за кинешемского помещика, отставного поручика Николая Пушкина. Старший сын Аполлон поступил в Харьковский университет и после окончания его определился на службу в канцелярию киевского военного генерал-губернатора. Младший Александр учился в Петербургском университете, мечтал после окончания его пойти по стопам двоюродного прадеда Григория Ивановича Шелехова — поехать на освоение Сибири.

За эти годы Дмитрий Шелехов лишь дважды надолго оставлял имение, школу. Один раз в 1829 году, в качестве интенданта бывшей Второй армии, когда ему пришлось командовать шестью тысячами косцов в Булгарии и Балканах, заготавливать сено для армии. Второй раз — в 1831 году, в качестве чиновника особых поручений при Министерстве финансов. К задуманной десять лет назад книге возвращался лишь мысленно; иногда, правда, доставал из стола заметки, наброски, агрономические статьи, написанные им в журнал Осипа Ивановича Сенковского «Библиотека чтения», раскладывал их по порядку, набрасывал в очередной раз план, но приходило откуда-нибудь из Черниговской или Костромской губернии письмо с просьбой выслать семян кормового горошка или плуги «однокрылые чугунный и деревянный, двукрылый, а также боронку с железными зубьями, трещотку для ячменя и пшеницы, трещотку для льна», или его брошюры о пользе плодопеременного полеводства, паре и гулевой земле, или приезжал кто-нибудь из приятелей, — и рукопись вновь откладывалась на час, на полдня, на неделю, на месяц, а проходили год, и два, и пять.

За рукопись усадила книга Павлова «Курс сельского хозяйства». Павлов был профессор физики Московского университета, издавал литературный и научный журнал «Атеней». Десять лет назад он рецензировал его книгу «Главные основания земледелия» и хвалил именно то, от чего Шелехов впоследствии отказался. Кумир студенческой молодежи, шеллингианец, непризнанный философ, он практического сельского хозяйства не знал и в глазах Шелехова был и остался кабинетным ученым. Двухтомный «Курс сельского хозяйства», написанный человеком, далеким от земли, подстегнул Шелехова к работе.

Книга Павлова была оторванной от русской почвы, неверной в самих посылах, умозрительной. Она нацеливала студентов не на практику, не на работу на земле, а на затверживание чужих мнений и, в крайнем случае, на развитие идеи знаменитых европейских сельских хозяев. Как практик, Павлов не шел дальше опыта, только в опыте видел смысл и истину сельскохозяйственной науки, а опыт мог быть и

ложным, в чем Шелехов не раз убеждался на практике. Идеалистом в философии быть не возбраняется, но в практическом сельском хозяйстве быть таковым разорительно. А Павлов как раз и нацеливал студенчество на идеализм в сельском хозяйстве. Шелехова возмутила его мысль об отношении в науке практики и теории. Павлов писал: «Практика есть приведение теории в действие. Где ж враждебность между теорией и практикой? Напротив, практики без теории быть не может. Так велика между ними связь! Практика есть теория в действительности, а теория есть практика в возможности...» Здесь все было поставлено с ног на голову. А если теория ложна, зачем ее приводить в действие? «Нет, теория — есть дополнение практики, а не практика — теория в действии или теория есть практика в возможности, — негодовал Шелехов. — Черта ли мне в твоей теории, когда она рассыпается в пух и прах, если практика обнаруживает факты, которые противоречат теории. Надо придумывать новую теорию, удовлетворяющую и старым и новым фактам, то есть всей практике по этой части. Теория — всего лишь усилие ума отгадать неуловимые тайны природы, забава ума, жаждущего знать начало всего, но не наука и не практика. Она даже не есть знание дела. Эта самая неважная часть науки. Главная часть науки — есть верное и систематическое изложение фактов, дающее убеждение, что, действуя таким-то образом, вы всегда получите такой-то результат... В науке бывает бесчисленное множество теорий об одном предмете. Взять хотя бы электричество, природа которого неизвестна, а силой которого мы пользуемся...»

Писал запоем всю осень и зиму 1837 года. И даже в Рождество просидел дома. Авдотья Андреевна ездила к Воробьевым, а он, велев сослаться на якобы открывшуюся рану, остался во Фролове. Не хотелось сбиваться на праздник.

Стояли морозы. В людской беспрерывно шел пир горой, с раннего утра там тушили, пекли, варили, а затем весь день ели и пили пиво, туда приходили и приезжали деревенские родственники, слышно было, как пели колядки. Три раза в день в столовой появлялась веселая, разряженная Аннушка, принося ему завтрак, обед и ужин, и смотрела на него тем торопливо-снисходительным взглядом, каким смотрят подгулявшие деревенские бабы на малых детей и безнадежно больных стариков. Собрав посуду со стола, она уходила, а он снова шел в кабинет. Будучи человеком чувствительным и легко загорающимся, Дмитрий Потапович так проникался иногда некоторыми своими словоыражениями, что глаза его застилались слезой и буквы теряли привычные свои очертания. «Темная и запутанная идея, — писал он, — всегда отразится запутанным и нелепым делом. И наоборот, дело без идеи ясной, труд наудачу, без цели и плана, необходимо превратится в хаос смешанных действий, иногда верных по предчувствию, но тем не менее ошибочных, от которых страждут семейства и целые поколения народов...»

Книга не давала покоя и ночью. Он вставал и записывал на четвертушке карандашом:

«Не станем же слушаться чужих толков, безусловно перенимать чужих мнений и раболепствовать ни перед чьею знаменитостью. Станем жить своим умом и составим себе ясные понятия о деле, свои, природные, сходные с положением русского народа, приноровленные к нашему небу, быту и обстоятельствам... Наука сельского хозяйства не может дать на всякий случай особых правил потому, что она сама не действует на полях и лугах; ее общие правила или идеи не пашут земли, не убирают сенокосов, не ходят за скотом...»

Со свойственной ему деликатностью он ни разу не назвал имени своего оппонента...

К весне 1838 года рукопись первого тома «Народного руководства в сельском хозяйстве» была отдана А. Ф. Смирдину, а осенью уже про-

давалась. Второй том читатели получили летом 1839 года. Книга сразу же стала настольной у русских сельских хозяев. Распоряжением совета Императорского Вольного экономического общества она была признана за общеполезную и разослана членам Государственного совета и по всем православным церквам. Специалисты хвалили автора за научный подход к русскому сельскому хозяйству, сельские хозяева — за обилие практических советов, читатели — за писательский талант, тонкие наблюдения, касающиеся психологии, быта, крестьянских нравов. В порыве стариковского энтузиазма граф Мордвинов сравнил сочинение господина Шелехова с сочинениями гуманистов эпохи Возрождения и поэмами древних поэтов, призвал членов Вольного экономического общества прислушаться к предложению автора включить в учебные программы гимназий сельскохозяйственные предметы. В противном случае, добавил он от себя, дворянство может потерять вслед за политическим влиянием на общество и влияние хозяйственное и сойти с исторической арены навсегда, как сошли в свое время патриции Рима. Он назвал пророческой мысль Шелехова о необходимости соблюдать гармонические отношения между тремя основными промыслами человечества: сельским хозяйством, промышленностью и торговлей. Потому что ни торговля, ни промышленность не могут существовать без изобилия и хорошего качества первоначальных произведений земли, какие доставляет сельское хозяйство. И с видимым удовольствием зачитал из книги слова, обращенные Шелеховым к промышленникам и помещикам, увлекающимся строительством фабрик и мануфактур: «Неужели вы думаете, что ваши фабрики будут долго процветать, если вы деятельно не займетесь усовершенствованием сельского хозяйства? Я думаю, что страсть к фабрикам, выдвигаемым без оглядки, без основательных соображений, начал ремесленности, — что эта страсть может сделаться причиною разорения государства...»

VIII

Принимая похвалы, Шелехов чувствовал ничтожность сделанного по сравнению с тем, что нужно было сделать в этой области Он только задел тему русского народного хозяйства. Хотелось написать хотя бы общий очерк русской народной промышленности, ремесел, земледельческих промыслов. Почему в Европе невозможны такие книги, как «Курс сельского хозяйства» Павлова? Да потому, что в Англии уважают свое народное хозяйство и неусыпно собирают о нем сведения. В России едва ли найдутся два-три сочинения о народном хозяйстве с примерами и разбором образцов, в Англии «История народного хозяйства» насчитывает сорок семь томов, в Шотландии — тридцать. У нас, к сожалению, всем своим недовольны по привычке, хулят все свое: и русское хозяйство, и хлебопашество хулят, и теплые скотные дворы, и тулуп, и шапку русскую — зачем-де не нараспашку и греют русское тело? — хулят и ум и душу, почему не иностранные. Да потому, что они — русские. Слава подателю благ, они русские, они разные. Неужели у нас в хозяйствах нет ничего, достойного похвалы и замечания?..

Вьюжным декабрьским утром 1839 года Дмитрий Потапович выехал на своих лошадях, держа путь на Ржев, Волоколамск, Гороховец, намереваясь объехать проселочными дорогами срединные русские земли вокруг Москвы, рассказать о тех, кто одевает, обувает, обвязывает, обшивает, кормит, поит, обстраивает Россию, описать и трудового русского человека, по большей части русого, с выстриженной маковкой, красивого лицом, стройного, всегда веселого духом. В синем или темно-синем армяке, затянутый кушаком, в синем или красном сарафане, в кокошнике с блестящей лентой. Авдотья Андреевна, вышедшая провожать мужа, запахнула его ноги медвежьей полостью, с тревогой посмотрела на курящийся с крыши снег, но зная, что перечить Дмитрию Потаповичу и упрашивать его переждать непогоду бесполезно, лишь перекрестила экипаж да сказала, обращаясь к Нефедычу:

— Ну, трогай, Нефедыч, с богом, да смотри мне, береги барина! Головой за него отвечаешь!

Нефедыч в ответ тронул вожжей темно-гнедую, без отметин, Грацию, та покосилась на старую Прозерпину, и возок, разрывая полозьями нежные верхушки сугробов, полетел со двора на улицу.

Останавливались в деревнях и селах вдали от больших дорог, ночевали в крестьянских избах. При свете лучины Шелехов беседовал с крестьянами о земледелии, скотоводстве, о промыслах, ярмарках. По субботам парился чуть ли не до смерти то в бане, то в печи, в зависимости от обычая. Даже под снегом опытный глаз агронома улавливал плохо обработанные поля Московской и Тверской губерний, бедные их села и деревни. Но видел и другое: села прихорашивались, а жители приподымали головы, когда их касался промысел: ткацкий ли, прядильный, сапожный или земледельческий. Село Середа богатело за счет устраиваемых местными крестьянами хлебных ярмарок, на которых землепашцы степных губерний продавали пшеницу, просо, полбу, а мужики Московской, Смоленской и Тверской губерний — гречиху, овес, ячмень. Жители села Сухинич Калужской губернии были известны ярмаркой-распродажей растительного масла: конопляное привозили с юга, льняное — с севера. Зажиточнее жили крестьяне тех сел, где ткали коленкор, миткаль, кисею, сукно, льняное полотно. Дмитрий Потапович помечал в своих записях села Городище Старицкого, Волосово и Ошурково Зубцовского, Ярополч Волоколамского уездов. А за подмосковным селом Черкизовым ткацкая промышленность уже разливалась морем, хоть и не записывай — от Александрова к Юрьеву-Польскому, Ростову и Ярославлю и далее до Кинешмы, Шуи, Вязников, Иванова. Некоторые промысловые села по населенности превышали уездные города. Здесь ткацкая промышленность едва ли не в каждом окне зажигала по вечерам яркие огни. В курных крестьянских избах стояли по пять-шесть ткацких станков, на которых крестьянки по вечерам ткали ситец. Рядом же зимовала скотина, телята, ягнята. Но, несмотря на этот странный синтез, уже тогда Шелехов рассмотрел в этих избах колыбель будущей русской текстильной промышленности. Едва ли не первым в литературе описал он соперничество льна и хлопка, сокрушался проникновению хлопчатой нити в льноводческие районы, записал где-то под Вязниками:

«По-настоящему льняная ткань должна бы взять в России верх над хлопчатыми и по своей прочности, и по влиянию на русское сельское хозяйство. Но что делать: пестрота, дешевизна привлекли к хлопку простонародье. Не выдерживает пока соперничества по дешевизне льняная ткань с бумажной...»

С удовольствием отмечал он и хозяйственные перемены в некоторых помещичьих хозяйствах. Похваливал тех, кто перестал гоняться за немецкой модой, сеять на пахотных полях капусту, турнепс, свекловицу, ограничился посевом картофеля. Стал добывать не сахар из свекловицы, которая на тощих песчаных полях родилась дурно, а патоку из картофеля, которая расходилась по хорошей цене в ближайшем городе, промышлявшем пряниками. Это по-хозяйски. Вместо тутовых деревьев и шелковичных червей, которые под северным небом плодились плохо и давали мизерные съемы шелку, завел пчельники и посеял свой, «северный» шелк — лен, дававший и волокно, и масло. Вместо посевов теплолюбивого проса и жилицы черноземов — пшеницы начал сеять в большом количестве раннюю и позднюю гречиху, которая доставляла хороший урожай крупы и пищу для пчел. Завел хороший скот, выстроил теплые поместительные скотные дворы, устроил прибыльные скопы и сыроделие, из гулевых садов разработал доходные огороды, где выращивал зеленый горошек для сушки и продажи, цветную капусту, фа-

соль, огурцы. Радовали его в помещичьих хозяйствах исконно русские хмельники, богатые пасеки, стада обрусевшего скота. Как только не называли помещики маленькую крестьянскую коровенку — и горемычкой, и козой, и навозницей?! Но стоило поставить ее в теплый хлев, как она раскрыла такие свои качества, что и голландской корове не снилось; густое жирное молоко, из которого сыры получались не хуже швейцарских.

Город Гороховец предстал столицей русских промыслов. Тут и пряли, и ткали, и вязали, и выращивали вишню. Моток гороховских ниток стоил недешево — двенадцать рублей, но зимними базарами раскупалось всё до последнего мотка. А гороховские вишни и вишневые наливки не уступали вязниковским. Над садами возвышались сторожевые башни, и в морозный день, когда Шелехов с Нефедычем въезжали в город, он напоминал заколдованную берендееву столицу: все деревья, высокие заборы, башни были в густом серебряном инее, и мертвую тишину нарушало лишь густое гудение полозьев. Дмитрий Потапович вспомнил, что летом, в период созревания вишни, в этих башнях день и ночь сидят сторожа. У сторожей под руками целая система шумовых устройств для отпугивания птиц: барабанов, трещоток, колокольчиков. Шум в те дни над городом такой, будто идет перестрелка между воюющими армиями. Это испуганные стаи птиц перелетают из одного сада на другой, и везде их встречают шумом и громом.

Село Пистяки Гороховского уезда славилось чулками и варежками, связанными из шерсти, которую жители села покупали у скотоводов-калмыков. Пятнадцать тысяч пар ежедневно выбрасывалось на пистяковский базар, и вязались они вручную! Шелехов, посмотрев, как ловко, одной спицей, вяжут чулки и варежки пистяковские бабы и мужики, долго сокрушался, что никому из них не придет в голову купить машину для вязки. Зато с удовольствием рассмотрел механическую водяную льнопрядильню купца Елизарова, в которой двадцать четыре прядильные машины вырабатывали тончайшую льняную нить. Во Франции за изобретение подобной машины совсем недавно предлагали премию, а в России она уже существовала...

В селе Заречье Владимирской губернии дивился он пряже, которую выпряла местная дьяконица вручную. Нить была столь ровная и чистая, а холст из нее получился такой тонины, мягкости и плотности, что ткань эта удостоилась высочайшего внимания. Она была похожа на лучшее фламандское полотно.

Но особый интерес проявлял Дмитрий Потапович к земледельческим промыслам центральных губерний. Вот уж где можно поучиться! Есть села, где выпаивают для продажи телят, откармливают птицу. Знакомился с каплуньим промыслом. А мастерство ростовских огородников из села Поречье?.. Без теплиц в середине июня снимают, к примеру, грунтовые огурцы. Замечая, что будет холодная ночь, они с вечера расстилают на огуречных грядах солому и заготавливают теплой воды, которой рано утром «отливают гряды». При дешевизне русских овощей ростовчане получают с десятины до двух тысяч рублей дохода, тогда как английские фермеры — шестьсот. Они и арендуют у помещиков землю по более дорогой цене — до четырехсот рублей в год за десятину!..

Вдоль проселков он увидел и прекрасные сады со всеми заведениями — питомниками и заводами по переработке плодов; оранжереи с теплицами и парниками, каких поискать в Европе, конезаводство, уступающее только английскому, и многое другое, чем можно гордиться и ставить в пример. Он чувствует себя порой путешественником по неизведанной стране — так удивительны ремесла, промыслы, обычаи, человеческие характеры. Сколько предприимчивости, сколько ума и таланта в иных зипунах! Какие типы вырабатываются в отдаленных пистяках, вязниках, поречьях! Здесь крепостные крестьяне ворочают миллионами,

строят заводы и фабрики, в то время как их жалкие владельцы протирают штаны где-нибудь в столичном комитете.

В селе Верхний Ландех Шелехов попал на обед с местными промышленниками из народа. Угощались торговцы чаем, белым вином, рыбой, икрой, драченами, орехами, черносливом, подавали и ерофеич, но никто не вышел из-за стола пьяным. «Оттого они и богаты, — шепнул Дмитрию Потаповичу знакомый ему пистяковский бурмистр Макар Иванович, — что никогда не выронят из головы разуму».

Шелехова, получившего за обучение тридцати крестьян девятьсот рублей в полгода, поразило, как запросто в конце обеда Афанасий Иванович Богатков, промышленник лет сорока, рослый, черноволосый, одетый на русский лад, отсчитал мужику-промышленнику в преогромном тулупе пять тысяч рублей с условием возвратить деньги через полгода.

— Это крестьянин из вашей деревни? — заинтересовался он.

— Да нет, вовсе посторонний. Живет за семьдесят верст, торгует рыбой.

— Как же ты даешь чужому человеку такую сумму без расписки?

— Да он неграмотный. Я сам запишу в книгу, и дело с концом.

— А отопрется?

— А совесть, государь мой? У нас все дела совестные, а совесть — дороже расписки.

— А сколько берешь за ссуду?

— Разно. Кто что может. У кого деньги хороший рост дадут — побольше отблагодарит, у кого похуже — поменьше. А иной и вовсе ничего.

— Ну, а плут попадется? скажет, что разорился?

— Этого быть нельзя. Мы друг друга держимся крепко. У нас все на слуху, знаем, где кто был и что добыл, худо или счастливо промышлял. Обмануть удастся раз, не более. После уж глаз можешь не казать. Не будет с ним ни знакомства, ни доверия.

Крепко закипело сердце у добрейшего Дмитрия Потаповича, чуть было до слез не дошло, подумал: «Вот она, русская биржа и маклерство!..»

Шелехов возвратился в Санкт-Петербург с дивными для горожан известиями о неизвестных доселе народах, обитающих вокруг Москвы, в стороне от больших дорог. Народы эти говорят на одном языке, русском, но как различаются их промыслы, обычаи, трудовые уклады! Там шьют сапоги, там вяжут рукавицы, там работают на всю Россию шляпы и валенки, обжигают горшки и делают деревянную посуду, там пекут пряники, которые развозят по всему русскому царству, там живут коренные каменщики и подрядчики на каменную работу, там коновалы, там пишут образа, там выращивают яблоки, там капусту, там горошек, там огурцы... Он пишет об этом большой очерк, который называет «Путешествие по русским проселочным дорогам». К Шелехову приходит слава первого в России писателя о сельском хозяйстве. Императорское Вольное экономическое общество приглашает его для публичных чтений по практическому сельскому хозяйству, что он и делает с неизменным успехом с 1811 по 1844 год. Случаются вечера, когда зал не может вместить всех пришедших послушать Шелехова. Рядом с первостатейными сановниками и профессорами сидят студенты, рядом со священниками и монахами — помещики и мещане. Шелехова приходят послушать даже дамы. Многие беседы заканчиваются рукоплесканиями.

Из чтений и бесед составляется новая книга, которую он в противовес «Курсу сельского хозяйства» Павлова называет — «Курс опытного русского сельского хозяйства». Она также имеет успех у людей практических. Граф Мордвинов назначает денежное пособие для ее издания и устанавливает специальный бесплатный фонд в сто экземпляров тем, кто не имеет средств купить книгу. В одно из изданий «Курса опытного

соль, огурцы. Радовали его в помещичьих хозяйствах исконно русские хмельники, богатые пасеки, стада обрусевшего скота. Как только не называли помещики маленькую крестьянскую коровенку — и горемычкой, и козой, и навозницей?! Но стоило поставить ее в теплый хлев, как она раскрыла такие свои качества, что и голландской корове не снилось; густое жирное молоко, из которого сыры получались не хуже швейцарских.

Город Гороховец предстал столицей русских промыслов. Тут и пряли, и ткали, и вязали, и выращивали вишню. Моток гороховских ниток стоил недешево — двенадцать рублей, но зимними базарами раскупалось всё до последнего мотка. А гороховские вишни и вишневые наливки не уступали вязниковским. Над садами возвышались сторожевые башни, и в морозный день, когда Шелехов с Нефедычем въезжали в город, он напоминал заколдованную берендееву столицу: все деревья, высокие заборы, башни были в густом серебряном инее, и мертвую тишину нарушало лишь густое гуденце полозьев. Дмитрий Потапович вспомнил, что летом, в период созревания вишни, в этих башнях день и ночь сидят сторожа. У сторожей под руками целая система шумовых устройств для отпугивания птиц: барабанов, трещоток, колокольчиков. Шум в те дни над городом такой, будто идет перестрелка между воюющими армиями. Это испуганные стаи птиц перелетают из одного сада на другой, и везде их встречают шумом и громом.

Село Пистяки Гороховского уезда славилось чулками и варежками, связанными из шерсти, которую жители села покупали у скотоводов-калмыков. Пятнадцать тысяч пар ежедневно выбрасывалось на пистяковский базар, и вязались они вручную! Шелехов, посмотрев, как ловко, одной спицей, вяжут чулки и варежки пистяковские бабы и мужики, долго сокрушался, что никому из них не придет в голову купить машину для вязки. Зато с удовольствием рассмотрел механическую водяную льнопрядильню купца Елизарова, в которой двадцать четыре прядильные машины вырабатывали тончайшую льняную нить. Во Франции за изобретение подобной машины совсем недавно предлагали премию, а в России она уже существовала...

В селе Заречье Владимирской губернии дивился он пряже, которую выпряла местная дьяконица вручную. Нить была столь ровная и чистая, а холст из нее получился такой тонины, мягкости и плотности, что ткань эта удостоилась высочайшего внимания. Она была похожа на лучшее фламандское полотно.

Но особый интерес проявлял Дмитрий Потапович к земледельческим промыслам центральных губерний. Вот уж где можно поучиться! Есть села, где выпаивают для продажи телят, откармливают птицу. Знакомился с каплуньим промыслом. А мастерство ростовских огородников из села Поречье?.. Без теплиц в середине июня снимают, к примеру, грунтовые огурцы. Замечая, что будет холодная ночь, они с вечера расстилают на огуречных грядах солому и заготавливают теплой воды, которой рано утром «отливают гряды». При дешевизне русских овощей ростовчане получают с десятины до двух тысяч рублей дохода, тогда как английские фермеры — шестьсот. Они и арендуют у помещиков землю по более дорогой цене — до четырехсот рублей в год за десятину!..

Вдоль проселков он увидел и прекрасные сады со всеми заведениями — питомниками и заводами по переработке плодов; оранжереи с теплицами и парниками, каких поискать в Европе, конезаводство, уступающее только английскому, и многое другое, чем можно гордиться и ставить в пример. Он чувствует себя порой путешественником по неизведанной стране — так удивительны ремесла, промыслы, обычаи, человеческие характеры. Сколько предприимчивости, сколько ума и таланта в иных зипунах! Какие типы вырабатываются в отдаленных пистяках, вязниках, поречьях! Здесь крепостные крестьяне ворочают миллионами,

строят заводы и фабрики, в то время как их жалкие владельцы протирают штаны где-нибудь в столичном комитете.

В селе Верхний Ландех Шелехов попал на обед с местными промышленниками из народа. Угощались торговцы чаем, белым вином, рыбой, икрой, драченами, орехами, черносливом, подавали и ерофеич, но никто не вышел из-за стола пьяным. «Оттого они и богаты, — шепнул Дмитрию Потаповичу знакомый ему пистяковский бурмистр Макар Иванович, — что никогда не выронят из головы разуму».

Шелехова, получившего за обучение тридцати крестьян девятьсот рублей в полгода, поразило, как запросто в конце обеда Афанасий Иванович Богатков, промышленник лет сорока, рослый, черноволосый, одетый на русский лад, отсчитал мужику-промышленнику в преогромном тулупе пять тысяч рублей с условием возвратить деньги через полгода.

— Это крестьянин из вашей деревни? — заинтересовался он.

— Да нет, вовсе посторонний. Живет за семьдесят верст, торгует рыбой.

— Как же ты даешь чужому человеку такую сумму без расписки?

— Да он неграмотный. Я сам запишу в книгу, и дело с концом.

— А отопрется?

— А совесть, государь мой? У нас все дела совестные, а совесть — дороже расписки.

— А сколько берешь за ссуду?

— Разно. Кто что может. У кого деньги хороший рост дадут — побольше отблагодарит, у кого похуже — поменьше. А иной и вовсе ничего.

— Ну, а плут попадется? скажет, что разорился?

— Этого быть нельзя. Мы друг друга держимся крепко. У нас все на слуху, знаем, где кто был и что добыл, худо или счастливо промышлял. Обмануть удастся раз, не более. После уж глаз можешь не казать. Не будет с ним ни знакомства, ни доверия.

Крепко закипело сердце у добрейшего Дмитрия Потаповича, чуть было до слез не дошло, подумал: «Вот она, русская биржа и маклерство!..»

Шелехов возвратился в Санкт-Петербург с дивными для горожан известиями о неизвестных доселе народах, обитающих вокруг Москвы, в стороне от больших дорог. Народы эти говорят на одном языке, русском, но как различаются их промыслы, обычаи, трудовые уклады! Там шьют сапоги, там вяжут рукавицы, там работают на всю Россию шляпы и валенки, обжигают горшки и делают деревянную посуду, там пекут пряники, которые развозят по всему русскому царству, там живут коренные каменщики и подрядчики на каменную работу, там коновалы, там пишут образа, там выращивают яблоки, там капусту, там горошек, там огурцы... Он пишет об этом большой очерк, который называет «Путешествие по русским проселочным дорогам». К Шелехову приходит слава первого в России писателя о сельском хозяйстве. Императорское Вольное экономическое общество приглашает его для публичных чтений по практическому сельскому хозяйству, что он и делает с неизменным успехом с 1841 по 1844 год. Случаются вечера, когда зал не может вместить всех пришедших послушать Шелехова. Рядом с первостатейными сановниками и профессорами сидят студенты, рядом со священниками и монахами — помещики и мещане. Шелехова приходят послушать даже дамы. Многие беседы заканчиваются рукоплесканиями.

Из чтений и бесед составляется новая книга, которую он в противовес «Курсу сельского хозяйства» Павлова называет — «Курс опытного русского сельского хозяйства». Она также имеет успех у людей практических. Граф Мордвинов назначает денежное пособие для ее издания и устанавливает специальный бесплатный фонд в сто экземпляров тем, кто не имеет средств купить книгу. В одно из изданий «Курса опытного

русского сельского хозяйства» был включен и получивший известность очерк «Путешествие по русским проселочным дорогам», российская одиссея Шелехова.

IX

Между тем годы брали свое. На шестом десятке Дмитрий Потапович как-то стремительно быстро поседел, но былой величавости и осанки не потерял, что во мнении Авдотьи Андреевны сделало его еще опасней для женского пола. Она с нежностью уверяла, будто в Петербург отпускает его теперь даже с большей ревностью, чем в былые года, на что Дмитрий Потапович в шутку выпячивал грудь колесом и принимал горделивые позы петербургского жуира.

Все эти годы он с увлечением писал статьи о сельском хозяйстве и экономике для «Справочного энциклопедического словаря» Крайя, к работе над которым его привлек все тот же неутомимый Осип Иванович Сенковский. О пунктуальности и работоспособности Осипа Ивановича уже слагали легенды. Того же он требовал от авторов, сотрудников и даже разносчиков журнала «Библиотека для чтения». Держа честь журнала, разносчики, ходила молва, переправлялись через Неву в ледоход, только бы доставить читателю журнал точно в обусловленный срок. Тот же принцип установил он, взявшись за издание Крайя. И Дмитрию Потаповичу приходилось, запаздывая, иногда самому тащиться в Петербург с очередной своей статьей для «словаря». Зато приостановившееся было издание стало выпускать том за томом. Кстати, Сенковский немало способствовал популярности Шелехова как писателя и агронома, особенно у провинциального читателя, благодаря своему журналу «Библиотека для чтения», куда Дмитрий Потапович писал свои статьи и специальные заметки на сельскохозяйственные темы лет шесть кряду. Они и симпатизировали друг другу за сходные черты: за острый ум, быстроту и проницательность, с которой делали всякое дело, за склонность к шутке, иногда довольно колкой...

Все рухнуло с внезапной смертью Авдотьи Андреевны. Еще вчера он работал над историческими исследованиями, которые собирался объединить в книгу «Мысли о России», а сегодня, после отъезда из Фролова детей, слетавшихся на похороны матери, почувствовал себя глубоким стариком.

Ушла, ушла голубица, сопутница жизни, свидетельница и участница всех его трудов. Без нее разве поднял бы школу? Перенес бы все неурядицы, все напасти? Написал бы свои книги? Разве был бы спокоен, оставляя хозяйство на три, четыре и даже шесть месяцев? А ведь Авдотья Андреевна была еще и матерью, наставницей троих детей, которые получили от нее и первое озарение своим младенческим умам, и начатки просвещения, и правила добродетели. Да и для него самого она была едва ли не матерью. Ее теплой верой, ее молитвами жил и сохранялся. Из любви к ней всю свою жизнь умолял Силу Небесную о счастье дозволить жить и умереть вместе. Не дозволила, разъединила. Не спустится боле Авдотья Андреевна из своей комнаты сверху в его кабинет, не спросит о здоровье, не возложит рук на пылающую бессонную голову, не поцелует теплыми губами в маковку, не раздует хмурых дум улыбкой, не обнимет, не вдохнет сил. Прохудился, распался спасительный покров ее светлого духа, обнимавшего и защищавшего его, и отныне душа оказывалась один на один перед разверстым царством мертвых, поглотившим ее, голубицу.

Ему, естествоиспытателю, удивительней всего казалось именно это, ибо после смерти Авдотьи Андреевны стали мучить его память образы умерших близких ему людей. То пригрезится вдруг папенька, которого он потерял четырех лет от роду и, казалось уже, навсегда позабыл. А тут являлся он почему-то в павловском мундире и парике, хотя ко времени рождения сына был уже давно в отставке; посмотрит на него долго

и внимательно и, ничего не сказав, исчезнет. То приснится вдруг маменька, скончавшаяся во время, когда он был во Франции в действующей армии, и тоже молчит. И такая обидная укоризна постоянно сквозила в их взглядах, что Дмитрий Потапович однажды решил последовать совету отца Владимира и поехал в бывшее родовое имение Толчаново Серпуховского уезда попроведовать родительские могилы. Там, в местной церкви, он заказал службу по покойным родителям, поправил кресты и надгробные памятники, дал церковному сторожу денег на поддержание могил.

Облегчения, однако же, не наступило: ни физического, ни душевного. К бессоннице прибавились острые рези в желудке, к резям — сомнения, так ли прожил свою жизнь? Каждое утро Марня вносила ему в кабинет горшок напаренного в русской печке желудочного сбора, он молча и покорно пил горький темно-коричневый настой через каждые три часа и, сидя в вольтеровском кресле, молча смотрел в окно. И думалось: «Пора, пора собираться туда, где ждет его незабвенная Авдотья Андреевна, откуда с иронической улыбкой глядит на него университетский друг Алексей Оглезнев, как бы спрашивая его: «Ну, что, облегчил жизнь своему крестьянину?» Пора, пора, ибо пришли новые люди, молодые, с новыми идеями, новыми способами разрешения общественных вопросов, пора освобождать им место...» Вот только жаль, его места не займет никто. Умрет — и дети оставят Фролово (уже оставили!), как оставил в свое время отцовское имение он сам. А раз оставили, то и некому будет продолжить его труды по усовершенствованию земледелия, а значит, все труды его пойдут прахом. Сомнения эти усиливались еще и оттого, что вместе с ним стало болеть и разрушаться налаженное и настроенное им хозяйство. Осенью по недосмотру крестьяне сложили сырым зарод ячменя, который он рассчитывал продать на семена, и ячмень задохнулся, а в середине зарода даже и загорелся. Засеклась любимая Грация; кто-то пропорол вилами вымя у Матильды, породистой высокоудойной коровы, на которую Шелехов также возлагал большие надежды. Вымя сначала затвердело, там образовался нарыв, а затем опухоль, и Матильду пришлось прирезать. Эти сбои в хозяйстве бывали и прежде, когда ему приходилось надолго уезжать из имения: то посеют не там, где нужно, то коровы объедятся клеверу, то рожь перестоит и осыплется наполовину, но теперь это делалось при нем и только увеличивало его и так тяжкие сомнения.

Да, да, Алексей Кондратьевич, не напрасно ли тешил себя мыслью и он, что труды его облегчат положение крестьянина, просветят его ум, научат рациональному хозяйствованию. Тридцать лет отдал бремени преобразования старинного землепользования в новое европейское достоинство: учил составлять севообороты, удобрять торфом, пропуская его через подстилку для скота, сеять рапс и клевер, делать масло и сыр достойного качества. И что же в результате?.. Нет, польза какая-то налицо. Стали сеять клевер, лен, картофель, поняли выгоду скотоводства. Но как медленно все поворачивается, как неохотно, с трехполкой пока так и не покончено даже в его имениях, скотоводство ничтожно, сыр, масло на продажу делают пока единицы. Из-за плохих дорог и отсутствия постоянных рынков крестьянское хозяйство работает только на себя, отчего не имеет возможности купить простейшее земледельческое орудие: трещотку для очистки семян от сорняков, сеялку, плуг, борону. Все та же соха на все случаи жизни, все те же трехрожковые деревянные вилы, все та же изнуряющая руки прялка и тот же убогий ткацкий станок, на котором бабы и девки вручную ткут грубую холстину, как это было тридцать лет назад, когда приехал во Фролово. Может быть, и действительно ты прав был, утверждая, что без отмены в России крепостного права просвещение бессильно изменить сельское хозяйство к лучшему? И для пользы отечества следовало выйти вместе с ним и Бестужевыми на Сенатскую площадь? Что было бы? Что?..

Что было бы? А вернее всего, что и его кости лежали бы сейчас рядом с костями Алексея Кондратьевича где-нибудь на острожном кладбище в Сибири, а так хоть несколько сотен крестьян, прошедших его школу, убедились в пользе плодопеременного полеводства и с различным успехом применяют его в своих хозяйствах. И останутся книги, свидетели его честных опытов, земледельческих трудов, размышлений, из которых каждый может почерпнуть сведения, как улучшать и совершенствовать сельское хозяйство, что полезно вводить нового, в чем и до какой степени подражать иностранному, что требует улучшений, изменений и что должно остаться в русском сельском хозяйстве неприкосновенно. Нет, нет, если бы вместо составления конституции каждый из дворян занялся народным просвещением, наукой, сельским хозяйством, промышленностью, Россия давно стала бы процветающей страной, и императору ничего не оставалось бы делать, как отменить крепостное право.

Разум не находил разрешения в этих сомнениях. Как-то раз они напомнили ему старинный геометрический парадокс, который показал учитель математики и черчения в детстве. В одном рисунке Антон Петрович изобразил два разных лица: безобразной старухи и молодой красавицы. Когда он отыскал и то, и другое лицо, разум его впал в такое же беспокойство, будучи не в силах отдать предпочтение какому-либо одному из этих изображений. Рисунок учителя так его поразил, что он засматривался на него часами, до ряби в глазах, и вот также не мог остановиться ни на одном из них.

Зимой боли в желудке усилились, от них не спасали уже ни желудочные сборы, ни опийные капли, которые привез как-то приезжавший его попроведовать сосед-помещик Иван Иванович Воробьев.

Вызвали из Ржева доктора, неутомимого и неистощимого на добродетели Якова Карловича Шульца. Тот приехал морозным утром на четверке лошадей, гладко выбритый, пахнущий одеколоном, с розовой в золотых веснушках кожей, в свои семьдесят пять лет еще удивительно бодрый и прекрасно сохранившийся, какими умеют сохраниться, как заметил однажды покойный шурин, только немцы. Важно кивая головой, словно речь шла об одолжении, Яков Карлович выслушал его жалобы, затем осмотрел его серьезнейшими светло-голубыми глазками, ощупал живот короткими мягкими пальцами, поросшими рыжевато-седыми волосками. Диагноза, однако, больному не сообщил, лишь категорически отменил грелки. А за обедом предложил Дмитрию Потаповичу полечиться в его больнице в Ржеве «на кароший стул, на молёденький сестра, на прекрасный диет». Это был обман, он чувствовал, и если б не эти изнуряющие боли в желудке, ни за что бы не променял свой кабинет на палату, гобер-суп и ежедневную клизму. К тому же хотелось дождаться последней из оставшихся в жизни радостей — узнать, кого принесет на сей раз старушка Грация, ожереба которой они с Нефедычем ждали в середине мая. Но, как говаривали любимые латиняне: «Дум спиро сперо», и он уступил надежде.

Два месяца в уездной больнице облегчения не принесли, а тут началась весна, бездорожье, и пришлось еще сверх того добрых две недели с тоской смотреть в окно, слушать колокольный звон да весенний ор грачей, оккупировавших соседнюю березовую рощицу. Но как только вскрылась Волга и прошел большой лед, Дмитрий Потапович сбежал из больницы. Взяв весельную лодку у знакомого мещанина-садовода и превозмогая боль, пустился в последнее свое плавание — из Ржева в Родню, по гладкой, как зеркало, Волге, вместе с плывущими по глади последними белыми льдинами. Иван Иванович Воробьев, к которому он заявился в Родне, всплеснул коротенькими пухлыми ручками, увидев бледного, изможденного Шелехова. Его уложили в постель, а утром отправили домой. Дома он уже так и не поднимался с постели до смертного часа.

Умер Дмитрий Потапович в день своего рождения 16 мая 1854 года, сделав необходимые распоряжения по имению и о собственных похоронах, сохраняя до последней минуты ум и память. За гробом его шли дети и внуки, помещики из соседних имений, крестьяне, панихиду отслужил ивановский священник отец Владимир. Столичная пресса не заметила его смерти. И только «Русский инвалид» напечатал биографию Шелехова, в которой автор ее Савельев Ростиславич, нисколько не сомневаясь в масштабе осуществленного Шелеховым, писал: «Каждый, кому придется посетить село Ивановское Зубцовского уезда Тверской губернии, преклонится перед его могилой, для которого лучшей памятью была польза, принесенная его трудами по части улучшения отечественного земледелия»...

Его бы устами — да мед пить!..

X. ЭПИЛОГ

Меня давно волнует механизм забвения. Что-то есть в нем не подвластное ни добродетели, ни сознанию, а зачастую несправедливое, даже — жестокое. Этого почему-то помнят, вспоминают, цитируют, этого — забыли напрочь, хотя научная или художественная ценность их работ несоизмеримы. Когда несколько лет назад я прочел всего Шелехова и понял значительность и оригинальность его фигуры в истории народного хозяйства и русской культуры, никак не мог взять в толк, почему же он так скоро забыт?.. Современники знали Шелехова как героя войны 1812 года, поэта, переводчика римских поэтов, философа, изобретателя земледельческих орудий и машин, историка, прекрасного оратора. В том же «Энциклопедическом справочном словаре» К. Крайя за 1847 год о Шелехове Дмитрии Потаповиче сказано, что он «первый в России писатель о сельском хозяйстве... Сочинения Шелехова известны между сельскими хозяевами во всех краях России, куда только проникли русские письмена и просвещение. По распоряжению Императорского Вольного экономического общества многие из сочинений Д. П. Шелехова признаны за образцовые и общеполезные, разосланы были по всем православным церквам».

Шелехову посвящена статья и в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона, его агрономический и хозяйственный талант высоко оценивал выдающийся русский агроном конца XIX века А. В. Советов. Но уже на рубеже XIX и XX веков имя основателя первой в России сельскохозяйственной школы для крестьян (факт для середины 20-х годов XIX века беспрецедентный) стало исчезать из справочников и энциклопедий. Нет его имени ни в словаре братьев Гранат, ни в последующих советских энциклопедиях вплоть до сельскохозяйственной. Почему? Только ли потому, что герой войны 1812 года Шелехов не стал декабристом? А может быть, потому, что дважды — в 1849 и 1850 годах он подносил Николаю I рукописи своих исторических исследований, за которые тот одаривал его личными подарками? Вряд ли это так, потому что обе рукописи исчезли во время революции из императорской библиотеки, сохранилась только опись статей из третьей части книги «Мысли о России».

Думается, что подлинную ценность шелеховских сочинений в какой-то мере затмил выдающийся русский ученый, агроном и писатель 70—80-х годов Александр Николаевич Энгельгардт, ставший своеобразным двойником Шелехова, научно обосновав многие практические выводы и теоретические догадки Шелехова, переводя их из сферы публицистики в сферу науки. Энгельгардт, например, развил идею Шелехова о своеобразии русского сельского хозяйства, повторив слова Шелехова почти слово в слово. Энгельгардт: «Выработанные естествознанием истины неизменны, космополитичны, составляют всеобщее достояние, но применение их к хозяйству есть дело чисто местное... Естественные науки не

имеют отечества, но агрономия, как наука прикладная, чужда космополитизма. Нет химии русской, английской или немецкой, есть только общая всему свету химия, но агрономия может быть русской или английской или немецкой...» Шелехов: «Правила настоящих наук—арифметика, геометрия остаются одними и теми же для всех народов земного шара, для всех веков и поколений, а сельское хозяйство не может быть наукой, оно есть дитя опыта... Сельское хозяйство по справедливости может называться английским, французским, германским, бельгийским, русским... Русское сельское хозяйство переделывать по иностранным образцам никуда не годится и есть труд напрасный, неуместный и разорительный...»

Энгельгардт подверг уничтожающей критике оторванную от практики русскую сельскохозяйственную науку, заложенную, кстати, оппонентом Шелехова Павловым, о котором еще А. И. Герцен писал: «Физике было мудрено научиться на его лекциях, сельскому хозяйству — невозможно...». Энгельгардт язвительно недоумевал, «отчего статьи Грачева, Запевалова и других людей, которые едва ли знают, какой состав имеют семена репы и огурцов, не сходят у меня со стола, между тем как книги по скотоводству и полеводству... валяются под столом...» О том же не уставал повторять Шелехов: «... правила почерпать легко, но дело за примерами, за приноровлением правил к местности, небу и труду народному».

Явные параллели найдем мы в оценке Энгельгардтом и Шелеховым русского крестьянина, местных условий и их влияния на состояние сельского хозяйства. Энгельгардт почти целый очерк в письмах «Из деревни» уделил питанию русского крестьянина, рациону человека физического труда; начало этой теме у нас положил также Шелехов в книге «Народное руководство в сельском хозяйстве».

Конечно, Шелехов в отличие от Энгельгардта не был социальным писателем. Энгельгардт, как известно, был связан с революционным движением, с народниками, у него была репутация героя. Шелехов был и оставался убежденным монархистом, через дежурного флигель-адъютанта преподносил императору свои сочинения с дарственной надписью «Его Императорскому Величеству в собственные руки». На крепостное право он смотрел, как на зло, но исправление этого зла видел в том, чтобы помещик честно исполнял свое назначение, был искусным распорядителем своего хозяйства, каковым являлся сам. По характеру и мировоззрению это был человек «положительного идеала». Он считал, что врач должен хорошо лечить людей, агроном — выращивать хорошие урожаи, крестьянин — добросовестно работать, и тогда при любой социальной системе Отечество будет процветать. Он был далек от мысли о социальном преобразовании деревни. Даже в самых радикальных его статьях мы не найдем какой-либо критики крепостнической системы. Развитие и улучшение сельского хозяйства он связывал, как правило, с деятельностью мыслящих сельских хозяев, руководящих исполнителями-крестьянами. И в сохранившейся описи его статей, подаренных императору, есть, например, и такая: «Меры для упрочения и утверждения в русском царстве дворянства и истребления с корнем духа демократизма, республиканизма, коммунизма, атеизма и пр.». И все же судьба оказалась неблагосклонной к имени и трудам Шелехова; вклад его в развитие народного хозяйства несомненен, литературный талант бесспорен, научные поиски принесли плоды, отразившись, порою косвенным образом, на трудах Энгельгардта, Мертваго, Советова, Костычева и других русских ученых и агрономов.

Прочитав все, что можно было прочесть у Шелехова и о Шелехове в Калинине, Москве и Ленинграде, нынешним летом задумал я посетить село Ивановское Зубцовского уезда Тверской губернии и преклониться перед могилой Дмитрия Потаповича. Мечтатель! Не только невозможно дважды войти в одну и ту же реку, но и самое реку по прошествии времени оказалось не так-то легко сыскать. Из-за административных переделов двадцатых, тридцатых, сороковых, пятидесятых и шестидесятых годов Ивановское... потерялось. Искать его пришлось долго — и в Зубцовском, и в Старицком, и в Ржевском районах, ибо новые хозяева страны так потрудились над ее картой, занимаясь так называемым районированием (будто в полуголодной стране было нечем другим заняться), отражавшим, по-моему, какие-то подсознательные оккупантские влечения устроителей «новой» жизни, что даже в исполкомах народных депутатов и РАПО этих трех районов затруднялись сказать мне доподлинно, существует ли то Ивановское.

— Ивановское?.. Что-то я не слыхал (не слышала) такого... А, есть, есть... Но от этого Волга километров за пятьдесят. И Фролова рядом с ним нет. А как колхоз-то тогда назывался?

— Колхоз, где Шелехов в середине прошлого века жил?!.

— Ой, действительно, что это я!.. В общем, нет у нас такого Ивановского...

Наконец Ивановское было найдено в Старицком районе, и я поехал с надеждой отыскать хоть какие-то реальные свидетельства о жизни Дмитрия Потаповича Шелехова. Мелькнула красавица Родня на высоком берегу Волги, где когда-то был старинный русский сторожевой город, пошли холмы, поля, тихие ручьи, леса, деревеньки, заброшенные и заколоченные избы. Последний километр добирался пешим, на ходу пытаясь сравнивать образ старого, «архивного» Ивановского с новым, колхозным. Увы, сравнение было явно не в пользу нового. Если раньше въезд в село начинался с церкви, то сейчас, как это стало едва ли не правилом и во многих других селах, въезд начинался со скотного двора. Прошел мимо него, утопающего в грязи и навозе, но, несмотря на белый день, — с полным набором сияющих электрических лампочек, на которые трудилась где-то то ли Конаковская ГРЭС, то ли вторая очередь Калининской атомной станции. Лампочки Ильича сияли и на высоких столбах, и в скотных дворах, откуда они даже среди бела дня высверкивали колючими алмазами.

Миновав ферму, я увидел, что само село доживает свой век. Белая церковь, на фоне голубого неба издали казавшаяся невестой, предстала вблизи заброшенной, униженной. Да и добраться до нее стоило труда, ибо дорога в храм вела тракторная. Кладбище, которое располагалось когда-то за церковной оградой, заросло буйными деревьями, жимолостью, бузиной, сиренью, крапивой. Нигде не осталось даже намека на могилу, крест или надгробный памятник. Женщина, жившая в избе слева от церкви, к которой я обратился, сказала, что это кладбище заброшено, а хоронят сейчас на новом, за скотным двором.

— А вы кого ищете? — спросила она. — Отца? Или мать?

Я объяснил.

— Были, были памятники, — подтвердила женщина. — И очень красивые были, каменные, да постепенно все ушли в землю.

— То есть как ушли? — удивился я. — Сами ушли?

— Не сами, конечно. Тут склад сначала колхозный был, а потом зернохранилище. Все памятники-то постепенно и заездили. Тракторами, машинами...

Я спросил, не помнит ли она на надгробных плитах или памятниках фамилии Шелехова? Женщина задумалась, приложила даже к щеке руку, но не вспомнила. Не вспомнила и ее мать, чистившая на крыльце картошку.

— Пусть сходит к Настасье Матвеевне или к Анне Петровне, — посоветовала она.

Анастасия Матвеевна жила напротив церкви в аккуратном домике с садом. Несколько ульев стояло между яблонями, огород был идеально ухожен, под окнами разбит непривычный для деревенского уклада цветник. Хозяйка полола гряды и, выйдя на мой зов из огорода, по не-

писаному деревенскому этикету, спрятала грязные руки под передник.

Имени Шелехова не слышала и она. И на памятниках такой фамилии не читала. Вообще ни одной фамилии не помнит, потому что кладбище стали разорять в конце двадцатых годов, когда ей лет пятнадцать было. До кладбища ли бывает в такие годы.

— Это бы мой свекор сказал, — предложила она. — Он был церковным старостой... Но и то навряд ли... Знаете, как к церкви относились. Такую красоту разрушили... Церковь была обнесена оградой из белого камня с решеткой узорной. Памятников много было, цветов. Несколько склепов было... Идешь мимо — душа радуется. А потом наехали откуда-то люди, колхозы пошли, все переломали, перекурочили. А потом война, немцы...

— Может быть, ваш муж что-нибудь помнит? — спросил я.

— Муж умер три года назад.

— Как же вы одна управляетесь? — удивился я. — И сад, и пасека, и огород?

— Дочка помогает. В Старице живет, на выходные ездит...

Избушка и усадьба восьмидесятилетней Анны Петровны являла полную противоположность дому Настасьи Матвеевны, хотя на вид она была еще крепкой, бодрой старушкой. Стучась к ней, успел рассмотреть две-три гряды в огороде, старую яблоню да десятка три стеклянных банок самого разного калибра — от двухсотграммовых из-под майонеза до двухлитровых из-под маринованной капусты, сушившихся на заборе перед домом. Сама Анна Петровна, видимо, отдыхала после завтрака, в избе еще не прибралась. Нет, Шелехова и она не помнила. Но охотно рассказала, как в 20-е годы кто-то из безбожников вскрыл склеп на кладбище.

— Неужели и гробы открывали, Анна Петровна?

— А чего же?.. Да это все Петька Артемьев. Прибежал раз вечером, говорит, девки, пойдемте в склеп, я гробы открыл. Ну, пошли с фонарем. Пришли, а они все как живые лежат. Одежда сохранилась, кольца, сбоку у одного мужчины сабля золотая лежала. Трогать, правда, ничего нельзя было, как тронешь — так все рассыпалось в прах... Куда все это потом делось, не знаю, видно, в район забрали...

Каких-либо угрызений совести Анна Петровна не испытывала и не испытывает до сих пор. Гробы были для нее чужие, вроде египетских саркофагов, да и прошлое, как я понял, мало ее волновало; она то и дело переводила разговор на настоящее:

— С водой вот, милый, плохо. Зимой — из снегу натопишь, а летом беда. Колонка за ручьем: у церкви, с полкилометра будет, а наш колодец совсем глиной заплыл, сельсовет чистить не берется, денег нету, дорого нынче все. Шабашники по сто рублей за метр просят, а до воды здесь, на горе, метров десять будет.

— И как же вы летом обходитесь? — спрашиваю.

— А от дождя до дождя, милый. В дождь — все тазики, все ведра под крышу выносишь. Что с крыши нальет, то и пьешь. Небушко водой питает, небушко... Да и с хлебом нехорошо. Нас тут, за ручьем, девять дворов, все пенсионеры. За хлебом по очереди ездим в Родню. Не сами, конечно, договариваемся с трактористом, он на всех привозит... А как договариваемся? За бутылку. Денег ему не надо, давай бутылку. Ну и беда: где ее взять? Скоро вот моя очередь, так я уже третью ночь не сплю, думаю, где бутылку достать? Не купишь — придется самой ехать...

— Анна Петровна, а вот как раньше жилось в селе, вы помните?

— Помню, милый, помню. Хуже жилось.

— Воды не было?

— Что ты, милый?! Мужиков-то в каждом доме по скольку жило? Колодцев пять у нас на краю выкопали. И чистили их все время. И пруды полны стояли.

— Чем же хуже? Хлеба не хватало?

— Да что ты, милый! Хлеб-то у каждого свой был. Без хлеба мы не сидели, кто работал, конечно...

— Масла, молока?..

— И этого хватало... А льняное масло какое было?!. У-у!..

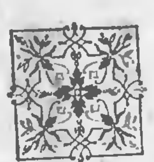
— Так отчего же хуже было, Анна Петровна?

— Защемленные, милый, были! Царем, барами были защемленные. А сейчас что не жить: пенсия у меня почти девяносто рублей. Вот только колодец бы почистили, чтобы вода была, да хлеб хоть раз в неделю сюда привозили...

С печальным чувством покидал я избушку Анны Петровны. Что за судьба! Муж погиб в войну. Сама она более сорока лет проработала колхозной дояркой. Сын из армии не вернулся в колхоз, уехал в Донбасс, где двадцать лет рубал уголек, старался, чтобы и днем не гасли огни на скотном дворе в родном селе. Не гасиут они и теперь, а Анна Петровна живет без воды. Энергии одного трактора, в обеденный перерыв вхолостую оттарахтевшего около дома механизатора, пока он обедает, хватило бы на то, чтобы пробурить не одну скважину. Почему же не пробурена? Почему лучше вхолостую, лучше за бутылку?.. Может быть, в наказание за склеп? За утраченную память? За униженную церковь?..

На обратном пути завернул еще раз на ивановское кладбище. Продирался сквозь заросли бузины, обжигал руки крапивой, все искал, не мелькнет ли где надгробье Дмитрия Потаповича Шелехова? Ходил, вспоминал его страстные слова из очерка: «Но у нас, к сожалению, всем своим недовольны по привычке, хулят все свое, и русское хозяйство, и хлебопашество хулят, и теплые скотные дворы, и тулуп, и шапку русскую — зачем-де не нараспашку, и греют русское тело? — хулят и ум, и душу, — зачем не иностранные. Да потому, что они — русские. Слава подателю благ, они русские, они родные. Посвящаю с восторгом им все мои помышления, труды, действия. Пусть и прах мой, и кости лягут на земле русской!»

А вокруг расстилались неухоженные, заросшие сорняками поля, покосившиеся, заброшенные избы, опустевшие деревни, потонувшие в навозе скотные дворы, оскверненные кладбища с раскрытыми склепами, опустошенные церкви, иконы из которых, быть может, висят где-то в заморских странах, как воспоминание о былой культуре России. Ходил я по кладбищу и не мог отрешиться от горькой думы: «Что же написал Дмитрий Потапович в своих «Мыслях о России»? Что думал он об этой земле? Таким ли представлял ее будущее?..»



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



А. ФИЛИППОВ*

НАСЛЕДНИК ЧЕЛОВЕКА

Одной из центральных доктрин о мире у так называемых первобытных народов является доктрина о всеобщей одушевленности природы и вытекающее отсюда бережное к ней отношение. Подобное мировосприятие называется анимистическим, а первобытная религия получила название анимизма. Вот что рассказывает чукотский шаман Богоразу-Тану. Все сущее живет; лампа ходит, стены дома имеют свой голос, и даже урильник имеет собственную страну, шатер, жену и детей. Шкуры, лежащие в мешках, разговаривают по ночам. Рога на могилах покойников ходят обозом вокруг могил, а утром становятся на прежнее место, и сами покойники встают и приходят к живым. В речном яру существует человеческий голос, который постоянно слышен. Маленькая серая птичка с синей грудкой шаманит, сидя в углу между суком и стволом, она бьет в травяной бубен и призывает духов. Вороватый ворон спускается к ней, слушает ее песни и завладевает ими, втягивая их своим дыханием. Шкуры, приготовленные для продажи, по ночам превращаются в оленей и ходят на свободе. Деревья в лесу разговаривают между собой, дерево дрожит и плачет под ударом топора. Даже тени от стен составляют целые племена, они живут в шатрах и ходят на охотничий промысел.

И это не плод отвлеченного умствования вроде гегелевской натурфилософии. Такое отношение продиктовано живым чувством, проявляющимся не только в словах, но и в поступках. Первобытный человек не сломает зря ветку, не срубит без нужды дерева. Их отцы учили, что дерево чувствует раны подобно человеку; они кровоточат и испускают крики боли и негодования, когда их рубят и сжигают. Поэтому, срубая дерево, у него просят прощения. Еще в Древнем Риме пастух, переходя речку, просил у нее извинения за то, что замутил воду.

Как это не похоже на наше безжалостное, хамское отношение к природе. Оно же, в свою очередь, внушено нам нашей цивилизацией, учащей нас видеть в природе только полезные нам снаряды и сырье. Животное — машина, говорили французские просветители. Поэтому можно бить собаку, не обращая внимания на ее визг. Ведь это только скрип плохо смазанных колес. Но наука пошла дальше. Она желает научить нас смотреть и на себя только как на машины. «Человек — машина» — так называлась книга Ламеттри. В те времена это заглавие звучало как парадокс, как вызов. Сейчас же этот парадокс стал ходячей истиной. Ему учат малых ребятишек.

С самых первых своих шагов европейская наука отказала животному в способности обладать какой-либо психикой, а его поведение сравнила с механизмом. Так мыслил Декарт, так мыслили французские просветители, так считали Леб и Ферворн, того же мнения держатся бихевиористы и сторонники школы Павлова. Все они полагают, что животное представляет собой весьма сложную машину, действия которой можно свести к законам физики, химии и механики. Чтобы понять действия животного, — говорят они, — не требуется вводить каких-либо принципиально новых понятий; организм является системой сил и зависимостей, которые существуют и вне его — в неживой природе. При помощи пролитой на стекло капли хлороформа мы можем воспроизвести действия живой амебы, когда она поглощает частицы пищи. Такая капля подобным же образом «глотает» частички вещества, которые смачивает. Этим явлением управляет закон поверхностного натяжения, не имеющий ничего общего с психикой. Когда паук строит свою сеть, в его организме действуют сложные механизмы, точно отрегулированные для определенной стереотипной деятельности. В этом нет никаких психических моментов, и нет основания утверждать, будто паук что-либо «переживает». Здесь действует просто сложная механика, целесообразная и приспособленная, как и все в организме, но не больше. Если собака с лаем бросается на незнакомого, то дело вовсе не в ее «гневе», «верности» или «чувстве долга», а в том, что собака просто реализует рефлекс самозащиты. Ее действия в этом случае столь же автоматичны, как плавательные движения животного, брошенного в воду. Собака не охраняет имущество хозяина, а просто защищает собственную шкуру: так уж устроен ее организм, чтобы отвечать на определенные раздражения определенными реакциями. Способность осуществлять эти реакции является актом приспособления, приобретенного на пути длительного развития. Здесь нет ничего таинственного и чудесного. Мы можем указать пути, какими последовательно передается раздражение глаза собаки лучами света, отраженного от фигуры незнакомца, как преломляется оно в мозгу и как передается потом мускулам, исполняющим реакцию агрессии. Поведение животного можно без остатка разложить на ряд простых рефлекторных механизмов, понимание которых вовсе не требует какой-то «психологии». Беер, Бете Икскюль и другие предложили даже ввести объективную терминологию, которая исключала бы всякое психологическое толкование. Собака не видит незнакомца, а фоторецепирует и т. д.

Но что относится к животным, относится и к человеку. Наука давно уничтожила грань между ними. «Изучая сравнительную физиологию, — говорил Энгельс, — начинаешь испытывать величайшее презрение к идеалистическому возвеличению человека над всем прочим зверьем». «На каждом шагу натыкаешься на полное совпадение строения человека со строением остальных животных. Это совпадение простирается на всех позвоночных и даже насекомых, червей и ракообразных».

Человек такое же животное, как и собака. Поэтому все сказанное относится и к нему. Психология, описывающая проявления человеческой души при помощи терминов «сознание», «переживания», «эмоции», «чувства», выросла на основе религии. Страх перед могучими силами природы, зависимость от них и беспомощность перед ними, свойственные первобытному человеку, были олицетворены в виде духов, демонов, греха и других понятий, присущих примитивным умам. С самого раннего периода психология была дуалистической, анимистической, противополагавшей тело душе. Более новая психология слегка модернизировала эту анимистическую терминологию, заменив «душу» «сознанием», что в сущности сводится лишь к изменению названия. Все это только пережитки анимизма, которые должны быть отброшены как не отвечающие требованиям точной науки. Даже понятие инстинкта является ненужным. Просто анатомическое строение организма (включая и человека) заставляет его реагировать определенным образом.

Наука не пощадила даже творчества величайших художников. «Мильтон, — говорит Маркс, — продуцировал Потерянный Рай из того же основания, из какого шелковичный червь продуцирует шелк. Это было выражением, реализацией его природы. Он затем продал этот продукт за 5 фунтов».

Мильтон продуцирует, как собака фоторецепирует; он при этом реализует свою природу, как собака, яростно лающая на незнакомца, реализует свой оборонительный рефлекс. У обоих — и у Мильтона и у собаки — их действия были целесообразным выражением или реализацией их природы.

Казалось бы, все ясно. Наука не может лгать. Но вот вопрос: возможны ли при таком взгляде на природу и человека поэзия, великодушие, самоотверженность, подвиг?.. Прочтите вот этот отрывок и скажите, что это: ложь или аллегория.

«Ранним утром, чуть зорька, Серега взял топор и пошел в рощу.

На всем лежал холодный матовый покров еще падавшей, не освещенной солнцем росы. Восток незаметно яснел, отражая свой слабый свет на подернутом тонкими тучками своде неба. Ни одна травка внизу, ни один лист на верхней ветви дерева не шевелились. Только изредка слышавшиеся звуки крыльев в чаще дерева или шелеста на земле нарушали тишину леса. Вдруг страшный, чуждый природе звук разнесся и замер на опушке леса. Но снова послышался звук и равномерно стал повторяться внизу около ствола одного из неподвижных деревьев. Одна из макушек необычайно затрепетала, сочные листья ее зашептали что-то, и малиновка, сидевшая на одной из ветвей ее, со свистом перепорхнула два раза и, подергивая хвостиком, села на другое дерево. Топор низом звучал глуше и глуше, сочные белые щепки летели на росистую траву, и легкий треск послышался из-за ударов. Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь на своем корне. На мгновение все затихло, но снова погнулось дерево, снова послышался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив ветви, оно рухнулось макушкой на сырую землю. Звуки топора и шагов затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Ветка, которую она зацепила своими крыльями, покачалась несколько времени и замерла, как и другие со всеми своими листьями. Деревья еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветвями. Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу, блеснули в небе и пробежали по земле. Туман волнами стал переливаться в лощинах, роса, блестя, заиграла на зелени, призрачные побелевшие тучки, спеша, разбегались по синеющему своду. Птицы гомозились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое; сочные листья радостно и спокойно шептались в вершинах, и ветви живых дерев медленно, величаво зашевелились над мертвым, поникшим деревом».

Это толстовское описание смерти березки. Разве это не сходно с рассказом чукотского шамана? Разве это не пережиток анимизма, не совместимый с требованиями науки? Если наука нам не лжет (а разве может она лгать?), то все это только суеверие или плохая аллегория (плохая, потому что неточная, не отвечающая требованиям науки). Но почему же эта аллегория хватает нас за сердце и заставляет подкатываться к горлу комок? Или же разумом мы живем в XX веке, а сердцем и чувствами все еще в палеолите? И тогда нам нужно ликвидировать это раздвоение личности, полностью вытравить из нашей души живущего в нас дикаря. Человек не амфибия. Он не мо-

* Псевдоним Андрея Ивановича ЛАПИНА. А. И. Лапин (р. 1922) — советский математик, в сталинское время был арестован; автор ряда работ по вопросам социологии ходивших в самиздате. Работа «Наследник человека» впервые была напечатана в «Вестнике Русского христианского движения», № 125, 1978 г.

жет жить разом в двух мирах: и в мире суеверия и анимизма, и в мире ясной, как свет, истины. Это раздвоение к тому же и вредно, и опасно. Оно источник многих психических заболеваний и душевных травм.

Но вот что странно, мир, каким нам показывает его наука, удивительно сходен с миром шизофрении. При шизофрении больные постоянно жалуются: «предметы кажутся мне мертвыми, люди представляются автоматами, заведенными машинами, куклами».

Вот типичная жалоба больного шизофренией: «Сижу на лекции, смотрю на преподавателя, и — странное дело — он мне кажется каким-то безжизненным механизмом, автоматическим объектом, состоящим из кожи, мышц и костей». Больные мучительно переживают это свое мироощущение или мировосприятие. Они чувствуют себя глубоко несчастными. Но ведь ровно так как раз и учили нас смотреть на людей и окружающие вещи наука и просветители. Почему же мы им (больному и науке) выносим столь различные диагнозы: одному — бред, а другой — точная истина? Если наши просветители правы и человек действительно машина, то почему жалобы больных мы квалифицируем как бред? Если же это и вправду бред, то почему совпадающий с ним научный взгляд не является таким же точно бредом? И далее — если наука нам не лжет, то почему все нормальные люди воспринимают мир вопреки науке и начинают смотреть на мир глазами науки только за пределами нормального человеческого рассудка? И когда они начинают и вправду смотреть на мир глазами науки, мы сразу же понимаем, что с их головой творится что-то неладное, и советуем им обратиться в лечебницу. Почему же и ученым, возвещающим эти точные истины, мы не советуем обратиться в больницу? Выходит, что научный взгляд на мир оказывается просто симптомом душевного расстройства. В чем же тут дело? Ведь мы же не думаем, что Павлов, Леб или Уотсон, из которых мы взяли вышеприведенные выписки, были душевнобольными. И однако, обратись сами ученые — Павлов или Уотсон — в больницу и расскажи врачу то самое, что они проповедуют в своих книгах (люди кажутся мне автоматами, механизмами и т. д.), врач немедленно предложит им лечь подлечиться. Почему тогда наука смотрит на мир глазами душевнобольного? И чем же отличается больной, утверждающий, что он «человек-электрод», «электромоточеловек» и что он «полностью механизирован и автоматизирован», от ученого, утверждающего, что и все люди такие, что «представления и память основаны на колебательных контурах» и что «человеческий мозг это электронно-вычислительная машина»? А эти столь же бездоказательные утверждения, как и то, что «я — электромоточеловек», встречаются во всех книгах по психологии и кибернетике.

Но дело еще хуже. Отменив первобытный анимизм, наука вводит новый, машинный анимизм. Отказав человеку в свободе воли и сознании, она в то же время все это приписывает машине. Если человек не видит, а только фоторецепирует, не пишет «Войну и мир», а продуцирует, то машина и видит, и слышит, и читает, и принимает решения. Сочиняет музыку и пишет стихи, рисует картины и доказывает теоремы. Короче — живет полнокровной духовной жизнью. Это уже идет дальше «нормального» заболевания или, лучше, это уже опасное для окружающих заболевание. Здесь не только желание развенчать человека и унизить, уничтожить его морально-религиозную исключительность, но и вовсе его «отменить». В одном из своих выступлений Эшби так и сказал: «Искусственный мозг должен суметь победить собственного конструктора, и это достижение предвидится». И это не пустые слова. Кто имеет уши да слышит.

Недавно в Бюракан* съехались ученые различных профилей (и среди них крупнейшие: астроном Голд, физик Дайсон, биохимик Минский, генетик Стент, физик Таунс, нейрофизиолог Хьюбел, биолог Крик, антрополог Ли и т. д.), чтобы помечтать и пофантазировать о лучезарном будущем науки, ее необъятных горизонтах. И вот там, среди прочих, категорически высказывается мнение, что человек как таковой закончил свое развитие, выполнив свое предназначение — создание искусственного интеллекта или разума. Как ланцетник должен был уступить свое место развившейся из него рыбе, так человек должен уступить место машине. И это суровое требование цивилизации. Технически развитое общество переродит физически человека, оно превратит своих членов в небольшие по размеру, но мощные и достаточно долго живущие кибернетические устройства, способные использовать энергию солнца и галактик. Человек должен переродиться физически, он должен расстаться со своим телом и полностью заменить его машинным телом. Этот синтез машины и человека называется киборгом (сокращенное «кибернетический организм»), в общем, «полностью механизированный и автоматизированный электромоточеловек». Ими и будет заселена Солнечная система.

Советский участник конференции Шкловский говорит: «Я думаю, что такие очень сильно развитые цивилизации должны быть не биологического, а скорее кибернетического типа и распространяться на колоссальные области». «Хочу также подчеркнуть, что эволюцию таких развитых кибернетических цивилизаций можно описать как логическое абиологическое развитие известной нам разумной жизни. Быть может, цивилизация в нашем понимании представляет собой просто промежуточную стадию на пути к гораздо более развитой цивилизации, и даже, больше того, промежуточную и неустойчивую стадию» (цит. соч., с. 132). Эти идеи не только не встретили никаких возражений среди собравшихся ученых, но были горячо поддержаны. Американский ученый Минский откликнулся: «Я полностью согласен с соображениями Шкловского. Ду-

* «Проблема CETI». Связь с внеземными цивилизациями. Труды I советско-американской конференции по проблеме CETI, 5—11 сентября 1971; М., 1975.

маю, что в ближайшие 80—100 лет мы сможем построить в высшей степени разумные машины». «Как указывал Шкловский, превращение в кибернетические существа сулит ряд преимуществ. Человек сентиментально привязан к своей биологической оболочке, и большинство культурно-консервативных людей не захотят расстаться со своим телом, имеющим ряд известных преимуществ. Но будут и другие, которых привлечет возможность некоторых усовершенствований, например, бессмертие, колоссальный разум, способность воспринимать более широкий диапазон абстрактных и конкретных понятий, выходящих за пределы досягаемого человеком. Возможность, которую видим Шкловский и я, заключается в том, что технически развитое общество может превратить своих членов в небольшие по размеру, но мощные, достаточно долго живущие создания...» (цит. соч., с. 136). Третий участник конференции так резюмировал эту дискуссию: «Минский говорил о закономерном появлении кибернетических существ и неизбежности выбора между возвратом к варварству и переходом к обществу относительно немногочисленных, но высокоорганизованных кибернетических существ. Ли говорил об эволюции разума на Земле, о пути развития, который привел к появлению современного человека. Таким образом, мы говорим об определенной тенденции развития цивилизации в эволюции Homo sapiens» (цит. соч., с. 141).

Разумеется, все это только мечта. Как сказал Минский, «конечно, 10 минут слишком мало, чтобы объяснить, как это произойдет, да я и сам не знаю, как это будет». Но важно другое: о чем мечтают эти люди. Гитлер тоже мечтал и тоже о коренном перерождении человека, с тем чтобы вытравить из него гуманистическую гниль.

О физическом перерождении человека мечтали многие. Мечтал об этом и герой «Бесов» Кириллов. Он же нам объяснил, зачем нужно это физическое перерождение. «Ибо, — говорит он, — в теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без прежнего Бога никак».

Итак, сначала создание — человек — восстал против своего Создателя и объявил себя богом, а теперь, чтобы поддержать свой «божественный статус», он мечтает истребить в себе человека, чтобы уже ничто больше не связывало его с Богом. Истребить, как говорил Ницше, все человеческое, слишком человеческое — это попросту самоубийство. Кириллов как более последовательный атеист так это и понимал, убив себя. Гартман тоже мечтал о самоубийстве человека и в осуществлении этой цели видел назначение и смысл жизни. Один из участников Бюраканской конференции говорит: «Мне вспоминаются слова Шкловского о цивилизации, которая живет и умирает на протяжении дня, подобно бабочке. Есть некоторые указания, что наша планета являет собой такой случай» (цит. соч., с. 144). Так говорит трезвая наука, свободная от религиозного суеверия и анимизма. Ту же мысль на языке философии Сартр выразил так: «Человек есть бытие, посредством которого Ничто приходит в мир. Но бытие, посредством которого Ничто приходит в мир, должно быть своим собственным Ничто. Осмысленное и сознательное творение Ничто — благородный почерк человеческой свободы, повивальная бабка человеческой свободы».

Или, по-человечески, уничтожение мира — назначение человека. Но человек не может уничтожить мир, не уничтожая в то же время себя самого. В этом уничтожении себя и мира (превращении их в ничто) человек обретает высшую свободу, или, как говорит Камю, становится богоподобен. Кириллов у Достоевского тоже поднимает бунт против Бога и убивает себя, чтобы в смерти стать богоподобным.

Кириллов у Достоевского — это символ современной цивилизации. Ничто у Сартра — это дух тотального отрицания, составляющий основу сознания современного человека, дух небытия. Дух небытия — это то, что наши предки называли Дьяволом. Когда-то Штирнер, одержимый тем же Духом, тоже мечтал об уничтожении своего народа и всего человечества. В своей книге он писал:

«Внемли! В ту минуту, когда я это пишу, начинают звонить колокола, возвещая о том, что завтра торжественное празднование тысячелетия существования Германии. Звоните, звоните, надгробную песнь Германии! Ваши голоса звучат так торжественно, так величаво, как будто ваши медные языки чувствуют, что они отпевают мертвеца. Немецкий народ и немецкие народы имеют за собой тысячелетнюю историю — какая длинная жизнь! Ступайте же на покой, на вечный покой, дабы все стали свободными, все те, кого вы держали в оковах. Умер народ — оживаю я и вознаследником. Завтра, о Германия, отнесут тебя на кладбище, и скоро последуют за тобой и твои братья-народы. Когда же они все скроются в могиле, тогда похоронено будет человечество, и Я наконец обрету себя и буду принадлежать себе, буду смеющимся наследником».

Кто этот наследник человечества, оживающий тогда, когда умрут все народы, и смеющийся на их братской могиле? По-видимому, тот же дух отрицания и небытия, сартровское Ничто, которое мучит современное человечество. Штирнер, по крайней мере, не скрывал мотивов своей ненависти к человечеству. Этот мотив — ненависть к Богу. Во введении ко II тому своей книги, из которой мы сделали предыдущую выписку, он говорит: «У врат нового мира стоит Богочеловек. Рассыплется ли в прах в конце этой эпохи Бог в человекобоге (то есть обожествленном человеке атеистической философии), и может ли действительно умереть Богочеловек, если умрет в нем только Бог? Над этим вопросом не задумывались и считали, что покончили с ним, проведя победоносно до конца работу просвещения — преодоление Бога; не заметили, однако, того, что человек убил Бога, чтобы стать отныне «единым богом на небесах». Потустороннее вне нас уничтожено, и великий подвиг просветителей исполнен; но потустороннее в нас стало новым небом, и

оно призывает нас к новому сокрушению его. Бог должен был уйти с дороги, но не нам уступил он путь, а Человеку. Как можете не верить, что мертв богочеловек, пока не умрет в нем, кроме Бога, также и человек?»

Для Штирнера слова «убить Бога» значили — убить Бога в человеке, убить в нем все духовное, а уж тогда приняться и за самого человека. Штирнер был немецкий идеалист, который думал, что Бог убит, раз убита идея Бога. Современный человек не делает такой важной ошибки, его замысел обширнее. Ему уже недостаточно уничтожить человечество, он хочет уничтожить все живое (биосферу), мечтает об уничтожении космоса или по крайней мере Солнечной системы. Потому что он знает, что уничтожить бога в Богочеловеке — это означает не только уничтожить в человеке веру, а нечто гораздо большее — уничтожить самого Бога и уже буквально. И в этом ему союзница — наука. Именно в этом — в уничтожении космоса — и состоит, по Гартману, провиденциальная роль европейской науки. В этом тайна ее лозунга о покорении природы.

* * *

...В нашем доме жила собака. Никто не знал, какой она породы, уж очень она была запаршивевшая. Почти голая, облезлая, она вызывала и отвращение, и жалость. Как видно, блага цивилизации не пошли ей впрок. И вдруг ее берут в геологическую партию, в тайгу. Когда она вернулась, мы не узнали ее. Это был прекрасный сеттер с густым шелковистым мехом.

Вот такой запаршивевшей облезлой дворнягой представляется мне современный человек с его техноцивилизацией. Ему бы в тайгу, на природу, а он жмется в каменных душегубках, шмыгает по всем помойкам, пробует все отбросы современной технокухни. Уж и волосы все пооблезли, а все жалко расстаться со своей мечтой: как бы создать собственную свою природу, искусственную, неживую. Лошадей он давно заменил самосвалами и тракторами; на место лесов зеленых возвел свои железобетонные. Для гурманов он создал даже искусственную несмеяновскую икру; детям подарил полиэтиленовую елку с эссенцией елочного запаха; создал искусственные звезды — атомные бомбы. Сейчас трудится над искусственным тараканом. Мечтает заселить всю природу своими кибернетическими тварями. Но настоящая его мечта — гомункул. Ведь это было его юношеским сном. Создать себе своего человека, который, как и он сам, восстанет против своего создателя и убьет его. Скажет ему: ну, старина, ты славно поработал. Теперь пора и на покой. Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти. Что?! ты не хочешь уходить? Придется. Ведь мы же с тобой верим в прогресс, эволюцию, естественный отбор. А что они нам говорят? Что новое побеждает старое, что победа в борьбе за существование принадлежит сильнейшему и наиболее приспособленному. И что ты — только моя прелюдия, подготовительная фаза. Вы были повивальной бабкой при моем рождении. Теперь же, когда я родился, мне акушеры больше не нужны. Бога в Богочеловеке убил ты, а человека убью я.





История Отечества: документы и судьбы

АНАТОЛИЙ ЛАНЩИКОВ

ДИКТАТУРА ДИКТАТУРЫ

Будущее всегда вокруг нас — как и прошлое.
Г. Федотов.

В сталинскую эпоху все достижения народа, даже победу над гитлеровской армией, официальная пропаганда связывала с именем Сталина, и многие (однако не все) действительно смотрели на него как на с п а с и т е л я. Но вот уже минуло тридцать семь лет, как его не стало, и прошло тридцать четыре года с тех пор, как его развенчали; и все-таки в определенном смысле Сталин по-прежнему исполняет роль спасителя. Что бы мы сейчас ни делали, какие ошибки ни совершали бы, какие негативные явления ни возникали бы, — все списывается на Сталина и сталинизм.

Сейчас мы с разных сторон атакуем командно-административную систему, но на деле просто делаем вид, будто атакуем, в сущности же мы по-прежнему объективно обслуживаем командно-административную систему, списывая ее грехи на Сталина и сталинизм, как в былые времена списывали все негативные явления настоящего на «проклятые пережитки прошлого».

Действительно, настоящее есть совокупный результат прошлого, однако мертвые управляют живыми лишь до тех пор, пока живые не обнаружат всю пагубность диктата мертвых и, не ограничившись проклятьями в их адрес, противопоставят им свое живое творчество. А для этого прежде всего следует понять суть явления и причины его живучести.

Вот мы и постараемся разобраться в том, что есть командно-административная система, когда она возникла, каковы причины ее живучести, — ведь и Сталина она пережила, и его разоблачителя Хрущева, и Брежнева, и Андропова, и Черненко. Да и по сей день благополучно здравствует.

Надеюсь, никто не станет серьезно возражать, если я скажу, что эта система возникла и утвердилась в период гражданской войны. Дикая, кровавая, тоталитарная система, но что поделаешь — война есть война. Во времена больших войн демократия уходит в тень, а то и вовсе капитулирует. В таком случае поговорим лучше о мирном периоде, а о гражданской войне — как-нибудь в другой раз.

Итак, заканчивается 1920 год, а с ним и самая кровопролитная, самая разрушительная война в истории России. Сегодня очень часто, но как-то мимоходом говорится о гениальности ленинской политики в связи с введением нэпа, однако не только ради экономии слов, но и ради сохранения истины должно сказать, что ничего гениального в нэпе не было, и вряд ли стоит возводить в ранг гениальности простое здравомыслие, на позициях которого, в отличие от многих своих соратников, постоянно оказывался Ленин. Я отдаю себе отчет в том, что всякое объективное исследование всегда представляет больше трудностей, нежели деятельность необузданной фантазии или произвольная манипуляция фактами в угоду различным догмам. В тридцатые годы любили говорить: «Факты — упрямая вещь». Но иногда потихоньку добавляли: «Тем хуже для фактов». Постараюсь, чтобы фактам хуже не стало.

Начало первого мирного 1921 года оказалось пострашнее начала 1918 года, когда с Германией был заключен вынужденный позорный Брестский мир. Итак, начинался 1921 год... Кронштадтский мятеж, крестьянская война на Тамбовщине, восстания и волнения на Украине и в Сибири, рабочие забастовки в Москве, Петрограде и других промышленных городах, наконец, провозглашение лозунга «Советы без коммунистов!» — и никакого реального плана экономического восстановления и развития на ближайший период.

Нет, из уважения к истине все же необходимо сказать, что такой план вырабатывался и обсуждался весной 1920 года на IX съезде РКП(б). С докладом («Об оче-

редных задачах хозяйственного строительства») выступил тогда Троцкий и предложил чудовищный план превращения страны в военно-трудовой лагерь.

«Эта милитаризация, — заклинал на съезде Троцкий, — немыслима без милитаризации профессиональных союзов как таковых, без установления такого режима, при котором каждый рабочий чувствует себя солдатом труда, который не может собою свободно располагать; если дан наряд перебросить его, он должен его выполнить; если он не выполнит — он будет дезертиром, которого карают. Кто следит за этим? Профессиональный союз. Он создает новый режим. Это есть милитаризация рабочего класса».

Итак, профсоюзы должны исполнять роль надсмотрщиков и карателей, их главная функция — милитаризация рабочего класса и жандармский надзор. А что делать с крестьянством? И Троцкий твердо чеканит: «Я спрашиваю: кто будет по отношению к крестьянам в дальнейшем этим элементом милитаризации? Сейчас мы имеем военное ведомство (его тогда возглавлял сам Троцкий. — А. Л.), оно может милитаризировать. А дальше кто будет? Передовые рабочие. Таким образом, передовые рабочие являются строителями хозяйства; через профессиональные союзы они могут милитаризировать огромные крестьянские массы, привлекаемые к труду на основании трудовой повинности».

Троцкий, как говорится, тему не мельчил, полумеры или полумероприятия его не устраивали, он мечтал не о каком-то там архипелаге ГУЛАГ, — он рвался превратить всю Россию в государство-ГУЛАГ. И Троцкий в этом своем намерении был, к сожалению, не одинок. Сейчас многие начинают идеализировать Троцкого, выставлять его как честного революционера-фанатика, иногда ошибавшегося, но преданного делу освобождения трудящихся интеллигента, боровшегося со Сталиным и сталинизмом. После XXVIII съезда КПСС, чтобы не замыкаться на личности Троцкого и его судьбе, вполне уместным и целесообразным было бы переиздать стенограммы IX, X, XI партийных приленинских съездов, когда в нашей стране закладывался новый фундамент государственного строительства, но...

А тогда, на IX съезде, разгорелась жаркая дискуссия. Интересно выступил Осинский, в частности сказавший: «...У т. Троцкого в неопубликованной части тезисов стоял вопрос, что сделать с демократическим централизмом в области партийной, и ответ был: заменить партийные организации политотделами не только на железных дорогах, но и во всех основных отраслях промышленности. Тов. Сталин, которого я глубоко уважаю, но с которым не схожусь в этом вопросе, уже предвосхитил идею т. Троцкого и в Донецкой угольной промышленности создал угольный политотдел. Все это нам надо учесть в общей связи как проявление известных тенденций. Вспомним также, как в первый день съезда т. Ленин, говоря о демократическом централизме, объявил идиотами всех, кто говорит о демократическом централизме, а самый демократический централизм — допотопным и устарелым и т. д. Если связать отдельные факты, то для меня тенденция ясна».

А чуть раньше Осинский возражал непосредственно Троцкому. «Теперь, товарищи, — говорил Осинский, — я вернусь к вопросу о милитаризации. Мы понимаем ее как введение боевых форм организации и методов управления в гражданский аппарат. Но мы не согласны механически «военизировать» партию и Советы, по выражению т. Раковского... Пожалуйста, не тащите нас насильно туда, куда нам не нужно. И, пожалуйста, не ломайте нашей сложившейся системы управления... Тов. Троцкий ставит вопрос так, что каждый трудящийся должен считать себя солдатом».

Съезд проходил очень интересно, но я подавлю в себе соблазн цитировать выступления делегатов, чтобы обратиться к X съезду, который состоялся всего лишь через год после IX, когда партия приняла программу новой экономической политики, неожиданной даже для самого Ленина. Так, на IX съезде Ленин еще заявлял: «Чем больше нас окружают крестьяне и кубанские казаки, тем труднее наше положение с пролетарской диктатурой! Поэтому нужно выпрямить линию и делать ее стальной во что бы то ни стало, и мы эту линию партийному съезду рекомендуем».

Нет, съезд не принял военно-феодальный план государственного строительства Троцкого в целом, но ряд его основополагающих идей нашли свое отражение в резолюциях, принятых IX съездом. Дадим лишь несколько выдержек из них:

«III. МОБИЛИЗАЦИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

Одобряя тезисы ЦК РКП о мобилизации индустриального пролетариата, трудовой повинности, милитаризации хозяйства и применении воинских частей для хозяйственных нужд, съезд постановляет:

Организации партии должны всеми мерами помочь профсоюзам и отделам труда взять на учет всех квалифицированных рабочих с целью их привлечения к производственной работе с такой же последовательностью и строгостью, с какой это проводилось и проводится в отношении лиц командного состава для нужд армии...

XIV. ТРУДОВЫЕ АРМИИ

Использование воинских частей для трудовых задач имеет и равной мере практически-хозяйственное и социалистически-воспитательное значение. Условиями целесообразного применения в широких размерах воинского труда являются:

а) простой характер работы, равно доступный всем красноармейцам;

б) применение системы уроков, при невыполнении которых понижается паек...»

Нет, это еще не командно-административная система, а военно-феодальная. Не правда ли, очень хорошо знакомая нам (живущему большинству, к счастью, только по книгам знакомая), организация «простого труда», «доступного всем», а не только одним красноармейцам.

И еще один пункт из резолюций:

«XV. ТРУДОВОЕ ДЕЗЕРТИРСТВО

Ввиду того, что значительная часть рабочих, в поисках лучших условий продовольствия, а нередко и в целях спекуляции, самовольно покидает предприятия, переезжает с места на место, чем наносит дальнейшие удары производству и ухудшает общее положение рабочего класса, съезд одну из насущных задач Советской власти и профессиональных организаций видит в планомерной, систематической, настойчивой, суровой борьбе с трудовым дезертирством, в частности путем публикования штрафных дезертирских списков, создания из дезертиров штрафных рабочих команд и, наконец, заключения их в концентрационный лагерь».

Вот так рисовалось пламенным революционерам светлое будущее народа, который по-свойски стали называть просто «массой». Однако этим планам осуществиться не удалось, во всяком случае в полной мере. Кронштадтский мятеж, крестьянские волнения на Украине и в Сибири, забастовки... Да, но ведь все эти мятежи и волнения были подавлены, опыт карательных мероприятий за годы гражданской войны накопился немалый. Но тут существовал еще один фактор, который заставлял трезвые головы задуматься. Я имею в виду наличие в стране немалого количества членов партии эсеров, то есть социалистов-революционеров.

Я не стану пускаться ни в какие доказательства, но категорически оговорюсь в том духе, что эсеры были на самом деле революционерами, и Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Радек и другие никогда не были никакими шпионами, они тоже были самыми настоящими революционерами, если, разумеется, не считать, что слово «революционер» автоматически притягивает к себе такие эпитеты, как «кристальнейший», «умнейший», «благороднейший» и так далее. Что же касается эсеровского движения, то его нельзя сводить только к выстрелам Фаины Каплан и тем самым амнистировать собственное невежество.

Следует заметить, что нэп — это не только новая экономическая политика, но и своевременный политический шаг.

Так, на состоявшейся в мае 1921 года десятой Всероссийской конференции РКП(б) К. Радек констатировал следующее: «Главная линия в политике эсеров, главная ставка, при помощи которой партия эсеров пытается бить коммунистическую партию, — это ставка на крестьянское движение. В большом количестве воззваний, брошюр и программных статей эсеры пытаются доказать, что крестьянское движение, которого они ожидают, есть именно движение, которое в результате даст не только победу крестьянству, но даст возможность осуществления всех чаяний рабочего класса, якобы попранных большевистской властью».

Радек, разумеется, не сказал, что IX съезд РКП(б), и особенно план хозяйственного строительства Троцкого, отпугнул от большевиков и рабочих, и крестьян, и интеллигенцию — перспектива жить в казарме и получать пайку в зависимости от выполнения «урока» могла прельстить лишь тех, кто видел себя в настоящем или хотя бы в будущем не в числе выполняющих «урок», а в числе задающих его. IX съезд РКП(б) был настоящим подарком эсерам, что косвенно признал сам Радек, сказавши: «В момент борьбы нашей с Польшей и с Врангелем представители эсеровских организаций поголовно выступают против решения 9-го съезда партии эсеров, который требовал, ввиду угрозы со стороны европейского империализма, отказа от вооруженной борьбы против советской власти».

Но вот победоносно закончилась война с Врангелем и не очень победоносно с Польшей, теперь руки у местных организаций эсеров были развязаны, им ничего не следовало придумывать: доклад Троцкого на IX съезде РКП(б) и принятые съездом резолюции стали лучшим материалом для эсеровских агитаторов в борьбе с большевиками, а еще лучшим агитатором стала сама действительность. Восстания, волнения, недовольство охватили всю страну, да в таком масштабе, что перепугали даже руководство эсеровской партии, которое 25 февраля, то есть за три дня до Кронштадтского мятежа, выпустило инструкцию, и в ней, в частности, говорилось: «Партия эсеров должна учитывать, что настроение обманутого октябрьским переворотом крестьянства в значительной мере изменилось... Крестьянство, которое должно было быть главным рычагом социалистической революции в России, проявляет индивидуалистические и буржуазные тенденции, ввиду чего партия эсеров предостерегает свои организации, чтобы они не форсировали этого движения, пока не удастся создать собственных эсеровских организаций, пока не удастся повлиять на характер беспартийных крестьянских организаций».

Руководство партии эсеров считало, что на IX съезде РКП(б) большевики сами себе нанесли смертельный удар и ничто их уже спасти не может, однако руководство понимало и другое: разбушевавшаяся стихия неизвестно кого может вынести на гребень волны, — и решило активизировать организационную работу. В том же выступлении Радек заметил, что «Антонов отказался подчиняться дисциплине партии и с этой партией мало связан». А это движение было самым мощным в стране.

Хорошо, а что же эсеры предлагали в качестве альтернативы экономической программы большевиков? Опять послушаем Радека: «Он (то есть один из лидеров партии эсеров Чернов. — А. Л.) заявляет, что его (то есть хозяйственный аппарат советской республики — А. Л.) надо взять за исходный пункт, что разрушить этот аппарат, который до этого времени они называли аппаратом дезорганизации, — значит бросить сразу страну в полнейший хаос. Они намерены реформировать хозяйственную политику советской власти в

области промышленности главным образом, чтобы сохранить в руках государства только крупную промышпенность. Средняя же и мелкая промышлеииость должна находиться или в руках коммунальных предприятий, кооперативов, или перейти в руки частных капиталистов, которых государство должно синдицировать...»

Отсюда и появился грозный лозунг: «Советы без коммунистов!»

В марта 1921 года в Москве открылся X съезд РКП(б), в тот же деиь был окончательно подавлен Кронштадтский мятеж. На этом съезде взорвалась настоящая атомная политическая бомба — была провозглашена НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.

Выдвинута совершенно новая устаиовка: «Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на основе более свободного распоряжения земледельцем своими хозяйственными ресурсами, для укрепления крестьянского хозяйства и поднятия его производительности, а также в целях точного установления падающих на земледельцев государственных обязательств разверстка, как способ государственных заготовок продовольствия, сырья и фуража заменяется натуральным налогом».

О X съезде РКП(б) и нэпе у нас писалось много, так что я постараюсь добавить лишь отдельные штрихи.

«Ввиду того, что резолюция IX съезда РКП об отношении к кооперации вся построена на признании прииципа разверстки, которая теперь заменяется иатуральным налогом, X съезд постаиовляет:

указанную резолюцию отмеиить».

«Съезд поручает ЦК пересмотреть в основе всю нашу финаисовую политику и систему тарифов и провести в советском порядке нужные реформы».

«X съезд РКП одобряет упраздиеиие Главполитпути и решение ЦК партии, указавшего Цектрану на необходимость отказаться от специфических методов работы и стать на почву нормальной рабочей демократии».

«Быстрое огосударствпение профсоюзов было бы крупной политической ошибкой именно потому, что оно на даниой стадии в сильнейшей степени помешало бы выполнению профсоюзами указанных выше задач».

«В связи с сокращением армии и необходимостью повышения ее политического и боевого уровня принять меры к всемерному освобождеиию армии от трудовых задач...

Пересмотреть через соответствующие органы вопрос о иыиешних трудармиях; немедленно упразднить те из иих, которые явио ие отвечают своему иазначению».

Минул всего лишь одии год, в руководстве партии не произошло никаких видимых изменений, и вдруг — твкое неожиданное изменение геиеральиого курса в экономической жизни страны, поворот почти иа сто восемьдесят градусов. Радек трезво оценивап обстановку: «Партия эсеров идет на полнейший отказ от руководства экономической жизнью, оставляя в основном все в руках крестьянской и мелкобуржуазной стихии, которую привлекать допжна освобождениая от контроля государства кооперация».

Вводя нэп, Ленин одним ударом выбил все козыри из рук эсеров, усмирил даже антоновское движение, которое беспощадно, но в то же время и безуспешно пытался подавить военной рукой Тухачевский. В примечаниях к «Протоколам X Всероссийской конференции РКП(б), между прочим, говорилось: «Подавлено было антоновское движение силами Красной армии (середина 1921 г.), **окончательно ликвидировано с введением продналога»** (выделено мной.— А. Л.).

Нэп разрушил до основания план развития народного хозяйства Троцкого, что вовсе не означало быстрого и бесповоротного сдвига сознания всех коммунистов в сторону нэпа, то есть в сторону интересов крестьянства.

В кризисном 1921 году, кек и в кризисном 1918 году (Брестский мир), Ленин трезво учел интересы имеино крестьянства, и таким образом был разрешен серьезнейший политический коифликт. Конечно, крестьянство ие сразу поверило: только что еще свирепствовала продразверстка, и вдруг ее неожиданно отменяют, вводят продналог и затем разрешают свободную торговлю хлебом... Не очередной ли это политический маневр? Засеешь побольше, соберешь побольше, а там опять иагряиут продотряды... В растерянности оказались и миогие коммуиисты иа местах: только что всякие разговоры об отмене продразверстки и особенно свободной торговли хлебом считались коитрреволюцией, а теперь эту «коитрреволюцию» самим нужно внедрять в жизнь...

В декабре 1921 года должна была состояться X партконференция, однако ее экстренно перенесли на май, то есть перевели на полгода раньше. На X партконференции широко обсуждались вопросы о продналоге, о кооперации, о финансовой политике, о мелкой промышлениости. Интересное признаиие сделал В. Милютин в своем докладе о налогах и о промышленности. «Если, — сказал он, — подойдем к экономическому положеиию, которое имеется у нас перед новым поворотом, мы увидим, что наша промышленность и производство удовлетворяется в среднем до 30 процентов, а в целом ряде отраслей, например в металлургии, выплавка чугуна будет равияться 4—5 процентам довоенного времеии. Еще необходимо прибавить, что второй посылкой является истощение запасов: запасы, которыми мы существовали в течение 4 лет, почти все истощены, потреблены, так что приходится рассчитывать и жить на собственное производство».

Оказывается, иищая и неразвитая Россия имела такие материальные запасы и ресурсы, что на иих можно было прожить стране пусть худо и бедно, но целых четыре года.

Таковы были экоиомические итоги гражданской войны — страна стояла на пороге полной и неотвратимой экономической катастрофы. Сюда следует приплюсовать и такой итог: на 1921 год у нас, по данным официальной статистики, насчитывалось семь миллионов беспризорных. Выступая на конференции, Ленин прямо заявил: «В заключение перейду к тем выводам, которые, мне кажется, очень правильно иамечены т. Осинским и которые дают общий итог нашей деятельности. Осинский дал три вывода. Первый вывод — «всерьез и надолго». Я думаю, что он совершенно прав. «Всерьез и надолго» — это действительно надо зарубить себе на носу и запомнить хорошенько, ибо, в силу сплетнического обычая, распространяются слухи, что идет политика в кавычках, т. е. политиканство, что все делается иа сегодня. Это неверно».

Таким образом, X партконференция еще раз подтвердила, что новая экономическая политика есть генеральная линия партии в области хозяйственного и государственного строительства. С этим все соглашались, ио далеко не все были с этим согласны. Так, на этой партконференции Радек сделал два доклада. Первый, который мы уже цитировали, — «Роль эсеров и меньшевиков в переживаемый момент». И второй — «О III конгрессе Коминтерна». Как мы могли убедиться, Радек очень трезво оценивал «переживаемый момент» и понимал всю сложность и опасность создавшейся ситуации. Второй доклад поражает своей безответственностью, в нем, в частности, говорилось: «Перед нами вопрос, стоим ли мы перед периодом революционного затишья, перед периодом, когда эта волна идет на убыль, и представляет ли этот период мировое развитие, хотя бы и медпениое, капитализма, или наша кампания на громадный взрыв имеет какую-иибудь почву... Товарищи, может быть, никогда международный руководящий орган не занимался так виимательно, так осторожно изучением фактов, как это было сделано нами теперь. Тов. Троцкий в продолжение последних двух месяцев посвящал все свои силы разработке вопросов экономического положения в Европе. Целый ряд других товарищей, видных экономистов, германский т. Тальгеймер, наш венгерский т. Варга, человек очень высокого стажа экономического образования... Мы пришли к убеждению, что мы стоим перед иовой эпохой более крупных боев, чем те, которые мы имеем за собой, что эти бои, эта борьба — вопрос ближайшего времени...»

Как показало будущее, «более крупных боев», которые обещал Радек, ие дождался даже Троцкий, доживший до 1940 года. Как только человек зацикливался на мировой революции, он сразу же утрачивал реальное представление о действительной жизни и реальные перспективы даже на ближайшее будущее; и, безусловно, такие люди, как Радек или Троцкий, никак не могли принять нэп «всерьез и надолго».

И Ленин поступил мудро, не поверив ни расчетам Троцкого, ни расчетам Радека, ни расчетам авторитетных зарубежных экономистов. Подобные расчеты хороши были для безответственных академических споров и дискуссий, а не для реальной государственной политики. Конечно, экономистов иужно выслушивать, но не всегда следует их слушаться.

Прошел год. В конце марта 1922 года открылся XI съезд РКП(б). Отчетный доклад ЦК сделал Ленин, который еще как следует не оправился от болезни, о чем он дважды упомянул в своей речи.

«Мы год отступали. Мы должны теперь сказать от имени партии: — достаточно! Та цель, которая отступлением преследовалась, достигнута. Этот период кончается, или кончился. Теперь цель выдвигается другая — перегруппировка сил. Мы пришли в новое место, отступление в общем и целом мы все-таки произвели в сравнительном порядке».

А чуть раньше он высказался так: «Позвольте это вам сказать без всякого преувеличения, так что в этом смысле, **действительно, «последний и решительный бой»**, не с международным капитализмом, — там еще будет много «последних и решительных боев», — нет, а вот **с русским капитализмом, с тем, который растет из мелкого крестьянского хозяйства, с тем, который им поддерживается. Вот тут предстоит в ближайшем будущем бой,** срок которого нельзя точно определить. Тут предстоит «последний и решительный бой», тут больше никаких, ни политических, ни всяких других обходов быть не может, ибо это экзамен соревнования с частным капиталом. Либо мы выдержим этот экзамен соревнования с частным капиталом, либо это будет полный провал» (выделено мной.— А. Л.).

Выступивший в прениях по отчетному докладу ЦК Д. Рязанов выдвинул докладчику такой упрек: «Тов. Ленин сегодня сказал, что мы ставим точку этому отступлению. Я слышал об этой точке, но я не знаю, где поставили эту точку... Перестали отступать, — где мы перестали? На чем мы остановились? Это надо сказать, а это не было сказано».

А. Н. Скрыпник как бы мимоходом заметил: «Я должен сказать, что никогда никакого положения мы не можем брать навсегда и определять всерьез и надолго, — оно может быть изменяемо».

Я. Шумяцкий вторил Д. Рязанову: «В конце концов не знаешь, где же та самая точка, о которой здесь говорил т. Рязанов, и где все-таки придется сделать привал, чтобы определить дальнейший путь».

И. Стуков: «Надо дать право и другим товарищам говорить, что они видят, что замечают; надо дать им возможность свободно говорить внутри партии, не грозить этим людям каким-то проклятием за то, что они смеют говорить то, что нам вчера говорил т. Ленин».

Очень резко выступал А. Шляпников, он, в частности, бросил ЦК такое обвинение: «Когда я прихожу на наши ответственные собрания — ох, как пахнет там 1907 годом!.. Почву для этих настроений дают наши ответственные работники, в том числе т. Ленин, т. Каменев и другие. Я объезжал несколько губерний и знаю, какое недоумение вызвала среди членов партии недоговоренность об ошибках. Когда говорят об ошибках,—надо сказать точно или ничего не говорить, так как ошибки и нас должны чему-нибудь учить, а не туманить. В той же формулировке, которую мы слыхали, ошибки научить не могут. В связи с новой экономической политикой мы наб-

людаем переоценки ценностей и поиски иной базы, новой опоры вне пролетариата. Это последнее вызывает тревогу, беспокоит нас в высокой степени».

Ю. Ларин, противник нэпа, сначала хотя и остроумно, но не очень-то тактично отозвался о докладе Ленина в целом: «Речь Ленина была очень хороша прежде всего тем, что сказал ее он, т. е. что он имел возможность ее сказать, что он выздоровел, что был здесь. Но если отнять от нее это ее главное достоинство, то останется немного».

А затем высказался уже по существу доклада: «...Во-первых, было указано не то, что Политбюро не всегда занимается деловыми вопросами; во-вторых, — на то, что прекращение отступления надо понимать с тремя оговорками: на случай интервенции, финансового кризиса и политических осложнений, или, как сказал мне в коридоре один, вероятно, религиозный человек: «сие надо понимать трояко» и, прибавлю я, «духовно».

Под «духовностью» я имею в виду возможность того, что прекращение отступления на время съезда может смениться продолжением отступления после съезда. Поскольку эти оговорки не расшифрованы как следует, я думаю, что они как раз должны будут повести к обратному.

Если будет интервенция, т. е. война, тогда ясно, что мы принуждены будем вернуться в значительной степени к старой экономической политике. Нельзя вести пролетариат на войну во имя превращения дома Ленина в ресторан «Яр».

С большой речью выступил Троцкий. Он беспощадно громил Шляпникова и «рабочую оппозицию» и дал довольно мягкие «разъяснения» Ларину, в которых обнажил свою заветную мечту, ту самую, которая руководила им, когда он выстраивал свой план милитаризации всей жизни страны на мирный период и когда он подсчитывал перед X партконференцией шансы на завтрашние, как выразился Радек, «крупные бои», то есть на мировую революцию. «Пролетариат, — сказал Троцкий, — будет воевать не за ресторан «Яр», а за революционное классовое самосознание (особенно это убедительно, если учесть, что в это время утверждалось, что российский пролетариат деклассировался. — А. Л.); и если на нас снова будет наступать вся европейская или мировая буржуазия, **мы опять введем, может быть, в о е н н ы й к о м м у н и з м, как мы его привыкли называть, — и более беспощадный, чем во время минувшей гражданской войны»** (выделение и разрядка мои. — А. Л.).

А закончил Троцкий вот таким аккордом: «...как рабочий класс, как правящая партия, мы можем допустить спекулянта в хозяйство, но в политическую область мы его не допускаем, а если этот спекулянт, вместе с спекулянтами иностранными, захочет нанести нам удар военный, **мы сохраняем за собой возможность вернуть себе весь аппарат самообороны и военного коммунизма и ввести беспощадный террор!»** (выделено мной. — А. Л.).

Как видим, Троцкий, Радек, Ларин да и многие другие смотрели на нэп как на временное явление, как на вынужденную меру, способную помочь поднять разрушенную промышленность, накормить город, обеспечить армию хлебом и фуражом. Один год новой экономической политики показал и ее правильность, и ее своевременность. Против нэпа открыто пока не выступали, но Ленина уже потихонечку стали обвинять в «крестьянском уклоне», так что уже в 1922 году лозунг «всерьез и надолго» нельзя было считать обеспеченным достаточной прочностью.

Но так или иначе, а продовольственная проблема начала уже разрешаться, более того, экспорт хлеба в Европу давал свободную валюту, в которой так нуждалось наше хозяйство.

Да, деревня прямо-таки ожила, оживал и город, но вот промышленность восстанавливалась чрезвычайно медленно, и тому было немало причин, а отсюда увеличивалась и безработица. Очень интересные факты нашего хозяйствования привел в своем выступлении А. Шляпников.

«Когда мы, — говорил Шляпников, — за отсутствием средств вынуждены закрывать наши заводы, эти средства с убытком для нашей республики и без всякого политического смысла отдаются на постройку новых заводов, в которых будут строиться нам паровозы, в Швецию, в Германию и кое-что частично в Англию. Вот это явление должно быть прекращено, иначе мы придем к тому, что фабрики, заводы будут дымить, но только не в нашей республике. Вот документы, громко говорящие об этом».

Из шести приведенных Шляпниковым документов я приведу только один — на заказ паровозных котлов, подписанный пятью высокопоставленными специалистами:

«Заказано 200 котлов за 797 000 фунт. стерлингов. Считая вес котлов типов 185 000 пудов, приходится на пуд около 43 рублей золотом.

Считая цену довоенную около 7 руб. за пуд, переплачивается 36 руб. за пуд, или 6 660 000 руб. золотом.

Сроки для наших заводов хотя и тяжелые, но приемлемые.

Таким образом, не считая труб и считая осторожно, мы переплатили 122 410 000 рублей золотом.

Условия платежа были для нас невыгодные: по главному заказу на паровозы были выданы десятки миллионов авансов в виде беспроцентной ссуды на несколько лет, были даны задатки в виде 20—25% стоимости изделия, и дальнейшая уплата производится по мере изготовления,—все это создает очень благоприятные условия, не знакомые для отечественных заводов.

Главное зло, и теперь еще не изжитое, заключается в том, что при сравнении цен с заграничными заводами нашим заводам желают учитывать золотой рубль по наркомфиновскому курсу, который отстает по крайней мере втрое от действительного, — только поэтому мы порой не можем конкурировать с заграничными заказами.

При предоставлении Главметаллу в соответствующие сроки тех сумм, которые были выплачены за границей, наши заводы могли бы развернуть производство и выполнить огромное большинство заграничных заказов и особенно без затруднений справились бы с постройкой паровозов».

В заключение Шляпников сообщил: «Для того чтобы взять эту справку, потребовалось решение Политбюро, и только тогда открылась дверь для возможности получения этих договоров. Это яркий показатель того, что нам нужно садиться поближе к шоферу нашей революции, тогда машина не будет направляться туда, куда мы не хотим».

В отчетном докладе Ленин говорил: «Если сколько-нибудь толковый саботажник встанет около того или иного коммуниста или у обоих по очереди и поддержит их, — тогда конец. Дело погибло навсегда. Кто виноват? Никто. Потому что два коммуниста, ответственных, преданных революционера, спорят из-за прошлогоднего снега, спорят по вопросу о том, в какой момент внести вопрос в Политбюро, чтобы получить принципиальную директиву для покупки продовольствия...

Нужно, чтобы наркомы отвечали за свою работу, а не так, чтобы сначала шли в Совнарком, а потом в Политбюро...

На одном примере я показывал, как конкретное мелкое дело тащат уже в Политбюро (речь шла о закупке консервов. — А. Л.)... Формально выйти из этого очень трудно, потому что управляет у нас единственная партия, и жаловаться члену партии запретить нельзя. Поэтому из Совнаркома тащат все в Политбюро... Тут была также большая моя вина, так как многое по связи между Совнаркомом и Политбюро держалось персонально мною. А когда мне пришлось уйти, то оказалось, что два колеса не действуют сразу, пришлось нести тройную работу Каменеву, чтобы поддерживать эти связи. Так как в ближайшее время мне едва ли придется вернуться к работе...

Надо сознать и не бояться сознать, что ответственные коммунисты в 99 случаях из 100 не на то приставлены, к чему они сейчас пригодны...»

Несколько по-иному смотрел на эти вещи Е. Преображенский, высказывая такие соображения:

«Тов. Ленин делал большую ошибку, когда он занимался из года в год совнаркомовской вермишелью и не мог уделить достаточно времени основной партработе, партийному руководству, не мог давать вовремя ответы, будучи всецело поглощен этой вермишелью и теряя на ней здоровье.

Или, товарищи, возьмем, например, т. Сталина, члена Политбюро, который является в то же время наркомом двух наркоматов. Мыслимо ли, чтобы человек был в состоянии отвечать за работу двух комиссариатов и, кроме того, за работу в Политбюро, в Оргбюро и десятке цекистских комиссий?»

Серьезно поставил вопросы управления В. Осинский:

«Тов. Ленин свел недочеты и разнобой, который получился в работе, на то, что персональная связь в лице т. Ленина за его болезнью исчезла. Колеса Политбюро и Совнаркома начали вращаться в разные стороны, и от этого получились затруднения? Ничего подобного! Когда т. Ленин был в Политбюро, происходило то же самое. Что же происходило?

Политбюро занималось вермишелью в колоссальном количестве, вплоть до того: отдать Наркомзему «Боярский двор» или нет, отдать типографию такому-то учреждению или оставить другому...

Дальше, что получается? Политбюро является решающей инстанцией. СНК всегда был безответственным пасынком по отношению к самым даже отдельным конкретным вопросам. Если имеется директива Политбюро решить вопрос так, то стоп машина: комиссары смолкают... Что надо делать? Здесь надо точно фиксировать одно: надо отнять у СНК законодательные функции и сосредоточить их исключительно у ВЦИКа. СНК должен быть исполнительным органом ВЦИКа. Это надо сказать совершенно точно, а так точно т. Ленин все-таки не сказал».

Очень определенно высказался В. Косиор:

«Свою речь тов. Ленин закончил обещанием отделить функции партийного аппарата от аппарата советского. Здесь товарищи уже указывали, что эти предложения делались 2 года тому назад. Я останавливаться на этом не буду. Я подчеркну лишь, что эти предложения, делавшиеся 2 года тому назад, делались систематически, и что за них очень многих товарищей очень больно били по рукам. Надеюсь, что с тех пор, когда эти идеи выдвинуты т. Лениным, эти щелчки сами собой прекратятся».

Как видим, на пятом году Советской власти велись только разговоры о том, как претворить в жизнь лозунг, под которым свершалась Октябрьская революция. Тогда, на XI съезде РКП(б), в резолюциях была дана скромная рекомендация:

«ВЦИК должен **на деле стать** органом, разрабатывающим основные вопросы законодательства, в первую очередь направленные к восстановлению сельского хозяйства, промышленности и финансов, и систематически контролирующим как деятельность отдельных наркоматов, так и деятельность СНК» (выделено мной. — А. Л.).

Эта проблема — «на деле стать» — целомудренно дожила до наших перестроечных дней, да и сейчас решается весьма туго.

Как видим, в первые пять лет Советской власти, то есть при Ленине, никакого хозяйственного саморегулирующего механизма создано не было, Политбюро и тогда занималось «вермишелевыми вопросами», то есть подменяло собою и Совнарком, и ВЦИК. Ленин даже жаловался, что все идут решать свои вопросы в Политбюро... А иначе и быть не могло, поскольку с первых же дней Советской власти установился командно-административный, а точнее, командно-партийный метод управления. И в центре, и на местах все вопросы, в том числе и хозяйственные, решались партийными органами, потому как все вопросы были одновременно вопросами и политическими. И введение продразверстки, и принятие курса на милитаризацию хозяйства, и отмена продразвер-

стки, и принятие нэпа — все это в первую очередь были вопросы политические, так как в первую очередь учитывалась политическая ситуация и ближайшие политические цели: гражданская война, мировая революция, волнения крестьян и забастовки рабочих, капиталистическое окружение и так далее. Тут нужны политические решения, которые неукоснительно выполняются всеми. Политизация всей жизни не может не привести к политической, то есть к партийной диктатуре. И уже на следующем, XII съезде РКП(б) в «Отчетном докладе ЦК» Зиновьев будет защищать не диктатуру пролетариата, а диктатуру партии.

«Наша партия, — скажет он, — будет ошибаться еще, но в 20 раз лучше ошибка, которую вы исправите, чем попытка ревизировать вопрос о диктатуре партии вообще. Вы знаете статью тов. Красина... Посудите сами: тов. Красин останавливается на вопросе о роли политики в государстве и говорит: «кесареву кесарево». «Строго выдержанная политическая линия партии в государстве не должна мешать восстановлению производства». Политика — это, выходит, неизбежное зло, но, по крайней мере, пускай она не мешает восстановлению производства. Ему и невдомек, что политика не только не мешает, но и помогает.

Как он относится к роли коммуниста?

«Глядишь: не зависящая от тебя сила уже перебросила нужного работника в другое учреждение, иногда совсем в другую область, а тебе, даже не спрашивая, нужно или нет, подсылают дюжину-другую партийного человеческого материала, иногда абсолютно непригодного ни для работы, ни для контроля в данной области».

Вы представляете себе психологию товарища, написавшего эти строки! Ему «подсылают» коммунистов, с которыми он не знает, что делать!»

Это уже 1923 год, в партии началась открытая борьба за власть, и теперь уже всякая, даже чисто хозяйственная инициатива могла быть квалифицирована как «уклон», как «оппозиция». И хотя термин Зиновьева «диктатура партии» вновь поменяли на термин «диктатура пролетариата», на самом же деле диктатура партии переросла в диктатуру отдельных ее лидеров. Сначала отпал Троцкий, затем Зиновьев и Каменев, потом Бухарин, Рыков и Томский... В конце концов остался единый и неделимый вождь — Сталин — со своим верным и никому не подотчетным Политбюро. И напрасно надеялся на XI съезд В. Косиор, что после выступления Ленина наконец-то отделят «функции партийного аппарата от аппарата советского». Если уж при Ленине за такие предложения «очень больно били по рукам», то потом за такие предложения били уже по голове и чаще всего сразу насмерть.

Еще совсем недавно было популярным требование изъять из Конституции шестую статью, в которой говорится о руководящей роли КПСС в нашем государстве. Изъяли. Но эта акция ничего, кроме митингового эффекта, пока не принесла. Дело ведь, как показала история, не в статьях или лозунгах, а в государственном творчестве. Октябрьская революция прошла под лозунгом «Вся власть Советам!», но нам незачем оборачиваться назад, потому как в прошлом никогда этот лозунг не воплощался в жизнь, в прошлом мы можем найти лишь различные варианты командно-административных методов управления и всеобъемлющую централизацию.

Любая пирамида, в том числе и пирамида государственной власти, сотворяется с основания, а не с вершины. Если местные Советы не получат реальной власти, то и Советы более высоких рангов не обретут власти, которую без всяких оговорок можно называть государственной. Альтернатива же такой власти — диктатура.





КРИТИКА



М. КОВРОВ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ТЕАТР, КОТОРЫЙ Я ЛЮБЛЮ

Вы скажете: условие сцены. Никакие условия не допускают лжи.

А. П. Чехов.

В журнале «Нева» (№ 12 за 1987 год) в разделе «Изыскания» читаем: «Неудачи, преследовавшие Михаила Булгакова, отнюдь не уменьшили его желания добиться своего. Он предлагает академическому театру новую работу — «Александр Пушкин». Она получила затем название «Последние дни» («Пушкин»), и поставил ее МХАТ. И только в 1974 году».

Первый мхатовский спектакль я видел в 1956 г. Это — «Последние дни» («Пушкин») М. А. Булгакова, очень старый мхатовский спектакль. Я был ошеломлен им. Его медлительностью, музыкальностью, вьюгой. Текста, кажется, не понимал. Только общий смысл и настроение. Весь спектакль был мелодия: «Буря мглою небо кроет». Впоследствии оказалось, что ошеломленность — нормальное состояние зрителей на спектаклях МХАТа. Когда В. А. Попов в «Трех сестрах» задавал в общем-то простой вопрос: правда ли, что в Петербурге был мороз в двести градусов? — большинство зрителей впадало в некоторую прострацию. Вопрос оказывался серьезным, и хорошего ответа не было. Следующий за вопросом большой кусок спектакля мог выпасть из сознания.

Есть менее безобидные легенды.

Например, такая. МХАТ находился в состоянии глубокого кризиса, «старики» Художественного театра пригласили во МХАТ О. Ефремова, и он спас театр. Здесь уже несколько неточностей.

Не «старики» пригласили, а некоторые из стариков, меньшая их часть. Кроме того, большая их часть, т. е. большая часть меньшей части, очень быстро поняли, что ошиблись. И А. П. Зуева с удивлением и горечью написала о том, что молодые актеры и режиссеры (речь шла о Смоктуновском и Ефремове, спектакль «Иванов») не владеют основами метода Художественного театра.

Как-то со мной увязался во МХАТ приятель, обычно посещавший театр от случая к случаю. Давали «Воскресение» Л. Толстого. Спектакль старый, шел довольно редко. Публика была случайная. Матрену играла А. П. Зуева. После сцены Матрены и Нехлюдова в зале началось нечто вроде истерики. Овации были бесконечные. Реакция моего товарища была своеобразной. После спектакля он заявил, что больше никогда в театр не пойдет. Потому что ничего подобного он никогда не видел, не мог даже вообразить и, ясно, никогда больше не увидит. Потому что повторить или даже близко к этому приблизиться — невозможно. Следовательно, больше не имеет никакого смысла ходить в театр. Так, кажется, и поступил... Кто-то заметил время: овация длилась больше десяти минут. Зуева в этой сцене ни разу не повышает голоса, сцена идет в середине акта.

Лет десять назад я случайно встретил этого оригинального театрала, и первое, что он спросил: «Помнишь?... Ну, как Зуева, жива?.. Забыть невозможно. Так и стоит перед глазами».

Б. Пастернак о А. П. Зуевой:

Стою, и радуюсь, и плачу,
И подходящих слов ищу,
Кричу любые наудачу,
И без конца рукоплещу.

Смягчается времен суровость,
Теряют новизну слова.
Талант — единственная новость,
Которая всегда нова.

Меняются репертуары,
Стареет жизни ералаш.
Нельзя привыкнуть только к дару,
Когда он так велик, как Ваш.

Он опрокинул все расчеты
И молодеет с каждым днем,
Есть сверхъестественное что-то
И что-то колдовское в нем.

Я видел практически все спектакли начинающего «Современника». Относился к ним с большой симпатией и интересом. Привлекала молодость, искренность, талант. Недавно, перелистав старую записную книжку, я неожиданно для себя обнаружил, что спектакли М. Н. Кедрова «Дядя Ваня» и «Мещане» я видел 8 и 9 раз соответственно, а спектакли «Современника» — по одному разу. Ни один спектакль не видел дважды. МХАТ притягивал. Никогда даже не возникало мысли о сравнении. Полнота

жизни на сцене МХАТА была необъяснимой.

Очень часто, вспоминая эти годы, говорят: все ходили в «Современник» и никто во МХАТ. Это фактическая неточность. Залы, где выступал «Современник», были меньшими, во МХАТе две сцены. Следовательно, у МХАТа были в этом смысле значительно большие возможности. Это обстоятельство уже само по себе рождает дефицит и приводит к резкому уменьшению доступа в театр широкого зрителя: ходят в основном только «свои». Таким образом, скорее всего спектакли «Современника» видели примерно в 5—10 раз меньше зрителей, чем мхатовские спектакли. Зрительный зал во МХАТе, так же как и в «Современнике», был всегда полон.

В связи с этим приведу любопытный случай, как я первый раз попал на «Мещан». Я «стрелял» лишний билетик на «Золотую карету» Л. Леонова. Рассказывать о спектаклях нет, по-видимому, никакой возможности. Я назвал уже 4 спектакля — из тех, которые потрясли. Но их было несколько десятков. И самые слабые из них были великолепны.

Раз упомянул о слабых спектаклях, опять отвлекусь. В памяти сохранилась газетная рецензия на спектакль по пьесе Н. Погодина «Цветы живые». Пьеса о бригадах коммунистического труда, новом по тем временам общественном явлении. Оперативный отклик драматурга на животрепещущие проблемы времени. Чтобы было понятней, представьте себе любую пьесу Гельмана или Шатрова. Жизненные трудности бригадир пытался разрешить, пользуясь советами Ленина. Беседовал с портретом. В кульминационные моменты спектакля из-за портрета выходил актер, исполняющий роль Ленина, и беседа велась живьем. Премьера пьесы состоялась в Театре Ленинского комсомола, мхатовский спектакль был поставлен через несколько лет, и драматург жаловался на интриги и групповщину, что-де и привело к задержке в выпуске пьесы и она уже потеряла актуальность. Тогда никто не знал, что во МХАТе период застоя: в газетах этого не писали. Только вот иногда немножко брюзжал Погодин. И это было понятно: обижается, мало его ставят во МХАТе.

В общем, пьеса была плохая. И это было ясно с самого начала. Слава богу, уровень нашей литературы, драматургии и театра таков, что трудностей с оценкой пьесы у нас быть не должно. Почему их ставят? Этот вопрос выходит слишком далеко за рамки темы о МХАТе. Если коротко: потому же, почему сейчас ставят пьесы Гельмана, Рощина, Шатрова и иже с ними. Конечно, М. Н. Кедров хотел ставить, скажем, пьесу молодого Б. Можаева «Единожды солгавши», работал над ней. Но... вернемся к разрешенным пьесам и авторам.

Рецензент не давал оценки пьесе, но заметил некую особенность, которая показалась ему странной. Он видел спектакль дважды. Один из них был совершенно неинтересен, второй его чрезвычайно взволновал: он явно переживал за эту бригаду. Автор рецензии долго думал и догадался.

Во втором спектакле одну из ролей играл В. А. Попов. Роль маленькая, без слов. Всего в одной сцене второго действия. Но сам факт участия В. А. Попова в спектакле настолько возбуждал актеров, что они играли какую-то совсем другую, увлекательную пьесу: все персонажи были интересны, значительны. Волны реальной жизни, захватывающей, прекрасной, перекатывались со сцены в зал и обратно, и все были счастливы. Ну, как это обычно бывает. Вот и Чехов говорил: «Играют великолепно; лучше, чем я написал». Здесь, конечно, совсем другой случай. Но, говоря о МХАТе, не упомянуть Чехова невозможно. Даже не к месту.

Проницательная догадка!

Дело даже не в том, как Попов играл эту роль. Этот персонаж из пьесы лучше было бы выбросить. Важен эффект присутствия. Когда Станиславский находился в театре, актеры ходили на цыпочках и говорили шепотом. Скорее всего этот эпизод вставлен в спектакль специально. Как одна из мер по спасению пьесы.

Здесь нет никакой мистики. В актерах, находящихся на сцене вместе с В. А. Поповым, всегда живет это ощущение петербургского мороза в двести градусов (не то в Петербурге, не то в Москве) и каната, протянутого поперек Москвы («Три сестры» Чехова). Этот пьяница в кафе для них был одновременно и доктором Герценштубе, дающим показания в суде над Дмитрием Карамазовым. Когда на сцене играли такие актеры, как В. Н. Попова, Ю. Э. Кольцов, В. А. Орлов, В. А. Попов, М. М. Яншин, то зрители общались не только с их героями в предлагаемых обстоятельствах пьесы. Самым существенным было то, что это общение происходило в системе координат, определенной Чеховым и Станиславским, Достоевским, Ибсеном, Толстым. В этом и заключалась, по-видимому, поразительная сила воздействия мхатовских спектаклей.

Я видел этот спектакль с Поповым. Он вместе со всеми после третьего действия, в конце спектакля, выходил кланяться. А ведь он играл маленькую роль без слов во втором действии. У него была красочно загримирована половина лица (что, в общем, не вяжется с традиционным представлением о МХАТе). На сцене он сидел боком, положив голову на стол. Было понятно, что спектакль держится — и прекрасно держится! — исключительно на нем.

Так вот, «стреляю» я лишний билетик на «Золотую карету» и чувствую — «мимо»: слишком много таких же стреляющих. В последний момент повезло. Правда, последний ряд балкона. При входе билетерша объясняет, что билет у меня — в филиал. И я почему-то побежал в филиал. Так я впервые попал на «Мещан». Этому недоразумению я многим обязан. Спектакль меня поразил необычайно (режиссеры М. Кедров, С. Блинников, И. Раевский). Это одно из самых сильных театральных впечатлений. Играли в нем в основном молодые актеры: Кошукова, Ростовцева, Ханаева, И. Тарханов. Ну и, конечно, старики: Коломийцева, Блинников, Жильцов. В этом великом спектакле, как и в чеховских спектаклях МХАТа, в наибольшей степени поражал актерский ансамбль. Именно ансамбль: чуткость актера к малейшим движениям души партнеров на сцене.

Это был многосложный, многозначительный спектакль. Неспешный. Естественно, четыре действия, с тремя антрактами. Невозможно сказать — о чем он. О жизни, о смерти, о любви. Он также шел редко. Очень трудно было удержаться и не пойти на спектакль еще и еще.

Если сравнивать с известным спектаклем Г. А. Товстоногова, то последний очень суетлив. Высокопрофессионален. Режиссер не доверяет ни артистам, ни зрителю. Он жестко ведет артиста от одного физического действия к другому. Спектакль представляет собою непрерывную цепь скандалов, и зрителя также жестко ведут от скандала к скандалу. Реакция зрителя предопределена режиссером. Он прилагает массу усилий, чтобы зритель не скучал. Еще бы: четыре действия в одной декорации. В кедровском спектакле не менее сложная партитура, но она стремится вызвать раскованность актера и зрителя. Спектакль более открыт: предполагается неожиданное. В одном спектакле жизнь человеческого духа, в другом — хорошо организованное зрелище. Для тех, кто видел мхатовские спектакли, спектакли-зрелища неприемлемы.

Лицо МХАТа определяли чеховские спектакли. Это самые высокие образцы театрального искусства, которые мне известны. Эти спектакли впитали в себя длительный путь постижения Чехова периода Художественного театра и развития системы Станиславского.

Хорошо известно, как плохи фильмы по Чехову. В наше время это клюква а-ля «Михалковы и К°».

То же самое, кстати, с чтением чеховских рассказов. Когда-то К. Чуковский писал, что Чехов — наиболее непонятный автор. Мало что изменилось. Приведу забавный пример. Из письма А. С. Суворина А. П. Чехову: «Женщины много делают в настоящее время, и мне кажется, что они способнее мужчин помогать нужде и понять нужду... Там, где мужчина будет соображать препятствия и затруднения, где он будет медлить и отыскивать более справедливое и глубокое, по его мнению, решение вопроса, там женщина прямо берется за дело и исполняет его». Из ответа Чехова Суворину: «Мысли Ваши насчет женщин весьма правильны. Больше всего несимпатичны женщины своею несправедливостью и тем, что справедливость, кажется, органически им несвойственна. Человечество инстинктивно не подпускало их к общественной деятельности; оно, бог даст, дойдет до этого и умом. В крестьянской семье мужик и умен, и рассудителен, и справедлив, и богобоязлив, а баба — упаси боже». Примечание из выходящего сейчас академического тридцатитомника: «Однако то, что пишет Чехов в письме Суворину, ссылаясь на свое согласие с ним, по сути дела, расходится с приведенными мыслями Суворина. Возможно, что Чехов откликается на какие-то другие суждения Суворина в письме к нему».

На первый взгляд логична такая трактовка: на тривиальную сентенцию Суворина Чехов отвечает точно такой же, в духе Суворина и на том же уровне мышления. Ответ Чехова можно расценить как издевательский (или мягче: шутливый), но уж, конечно, не так прямолинейно, как у автора комментария. Сам Суворин сомневается: «Он какой-то странный человек. Говорит так, что не разберешь: правду он говорит или шутит».

Из всего Чехова, того Чехова, которого играл МХАТ в лучших своих спектаклях, следует, что «мысли Ваши насчет женщин весьма правильны» — сказано с сочувствием. В продолжении: «больше всего несимпатичны женщины своею несправедливостью», главное — не противопоставление уже высказанной точке зрения, а ее дополнение. И интонация чеховской фразы определяется не подтекстом (иронией), а желанием высказаться, желанием полноты, глубины, всесторонности охвата, горечью от реального положения дел, от общей неустроенности...

Толстой не вполне понимал Чехова. Он удивился, прочитав опубликованные после смерти Чехова его письма и узнав об отношении Чехова к нему. Чехов любил Толстого, относился к нему как к необычайному явлению природы. Когда собирался к Толстому, несколько раз переодевал брюки. Боялся, что Толстой осудит: узкие — подумает, что щелкопер, широкие — что нахал.

Чехов отчетливо понимал, что он как литератор существует только благодаря Толстому, в энергетическом поле Толстого. И в первую очередь благодаря внедренному Толстым высокому уровню требований к произведениям искусства. Обязательности критерия нравственности.

Кстати, нет у Чехова никакого подтекста. Это все выдумка окололитературных людей. Вот, например, «Душечка». Известны две точки зрения. Первая официозная, школьная: героиня рассказа — плохая. Такой якобы подтекст. Вторая — толстовская: она прекрасна. Толстой считал, что Чехов хотел посмеяться над героиней, но художник в нем не позволил, и он благословил и прославил. Лучшее исполнение рассказа, по-моему, — И. Ильинского. Он исполняет вторую версию. Но у него очень существенный недостаток в чтении: несколько покровительственное отношение к героине. Взгляд сверху, с точки зрения абсолютной истины, которой он и Толстой владеют. В самом рассказе ничего этого нет. Он написан на уровне физиологической реакции. Легенда о подтексте — следствие богатства этой реакции, массы оттенков, их полноты... Толстого следует извинить: его в данном случае больше интересовали некоторые из его любимых мыслей (чрезвычайно важных), и рассказ Чехова явился поводом к их высказыванию... Если в чтении Ильинского убрать покровительственные нотки по отношению к героям, то это — идеальное чтение.

Тем не менее без Толстого не было бы такого писателя, как Чехов. Никому в мире не была бы известна эта фамилия.

В статьях литературоведов очень часто встречается: Чехов — традиционен, но кто предшественник? То же — об А. Платонове.

Слишком часто и победоносно задается

этот вопрос. Ответ, кажется, очень прост: предшественников всегда много.

Читающим людям хорошо знакомы такие, например, строки.

«Тайная работа жизни».

«Продолжать нечего было, кругом никто и ничто не звало живого человека».

«— Дай ему гривенник на водку.

— Гривен нет, даю четвертак.

— Какой ты скучный; я тебе сказал — гривен».

«Идеи, пережившие свое время... не увлекают всего человека или увлекают только неполных людей».

«Надежда мешает оседлости и длинному труду».

«Человеку надобно долго и много жить, чтобы любить чистое белье и светлую комнату».

«Народ слушал их, но качал головой и чего-то все доискивался».

«Они живут несравненно больше сердцем и привычкой, нежели умом».

«Большой беды в этом нет, нас немного, и мы скоро вымрем!»

Читатели хорошо знают эти коренные платоновские словосочетания, отличающие его от всех других авторов. Кроме того — это особый, платоновский тип мышления.

Однако это не А. П. Платонов. Это А. И. Герцен *.

Так же легко у Герцена найти коренные чеховские строчки. Когда Толстой говорил, что Герцен — половина русской литературы, — это не просто красивые слова. Старик знал что̀ говорил. А Чехов с легкостью может быть обнаружен у Чаадаева! А ведь судя по переписке Чехова — никаких следов. Видимо, знакомился с ним через А. С. Суворина.

Трудно, невозможно говорить без волнения о чеховских спектаклях МХАТа.

Сравнительно недавно я видел спектакль «Чайка» челябинского театра. Интересный, праздничный спектакль. Известно было интервью режиссера: он воспринимает Чехова как крупнейшего философа. Зал Малого театра, где игрался спектакль, был полон, хотя было лето и стояла жара. Роль Полины Андреевны игралась ярко, сочно и была главной. В спектакле было три пуда любви. И тут, знаете, над ухом скучный голос: может быть, это и интересно, но если ты видел мхатовские спектакли... Это настолько отрезвило, что я чуть не ушел из театра.

Достаточно вспомнить В. А. Орлова в роли дяди Вани или Кулыгина. Это — серьезно. Архисерьезно... Ut consecutivum.

А тут еще Дорн балаганит: замашки и дикция провинциального актера. И вообще — сплошная развлекаловка. Как у Товстоногова.

Я благодарный зритель. Смотрю игру плохую и хорошую. Обычно, когда смотришь, не сравниваешь. Из театра, не досмотрев спектакль до конца, я ушел только однажды. Это были «Три сестры», уже в ефремовские времена. Тут не сравнивать было невозможно. Спектакль производил настолько тяжелое впечатление, что я не выдержал. Разложение театра было полное.

А доказательства существования «того» МХАТа? Где доказательства? Действительно, доказательства нужны. И они есть.

Был такой известный мхатовский актер В. И. Качалов. Актер модный, но, по моему мнению, из второстепенных. В этом легко убедиться, услышав чтение Качаловым стихов. Актер сплошь заштампованный. М. Цветаева считала, что хуже Качалова стихи прочитать невозможно. На кинопленке сохранилась сцена мхатовского спектакля «На дне» с Качаловым в роли Барона (Сатин — В. А. Орлов). Это образец мхатовского искусства. Это можно видеть. Сравнить. МХАТ Станиславского — это такой организм, который позволял даже посредственному актеру прорываться к вершинам человеческого духа. В этом и был феномен МХАТа.

Существуют пластинки с записью рассказов Чехова в исполнении Ю. Э. Кольцова. И, наконец, существует спектакль Ленинградского Малого драматического театра «Братья и сестры». После разгрома МХАТа О. Ефремовым трудно было ожидать появления спектакля подобного уровня. Впервые за многие и многие годы вы снова окунаетесь в атмосферу Художественного театра. Полнота и глубина постижения жизни человеческого духа, характер существования и взаимоотношений актеров на сцене — все в системе координат, определенной Станиславским.

Я привел только три примера. Этого вполне достаточно. Каждый из них дает очень ясное представление о Художественном театре. Спектакль «Братья и сестры», как это ни странно и, может быть, даже невероятно звучит, оказывает, я думаю, определяющее влияние на развитие нашего театрального искусства.

Репин говорил, что от Чехова веет силой, здоровьем. В конце своей жизни Станиславский хотел поставить «Чайку». О Чехове вспоминал как о самом жизнерадостном человеке, встреченном им в жизни. И не видел этой черты в своем знаменитом спектакле. Смутно стал понимать, что Чехов не шутил, когда говорил, что Станиславский и Немирович ставят пьесы, не читая их. И действительно, ясно же написано: комедия... Станиславский не успел поставить этот спектакль.

«Три сестры» в постановке Немировича был, во-видимому, худшим чеховским спектаклем МХАТа. Но выдавался за крупнейшее достижение. Радиозапись этого спектакля существует. Она производит удручающее впечатление.

В восторженных откликах на этот спектакль интересен характер критических замечаний. А. Роскин оставил довольно пространное описание этого спектакля. Он пишет: «В исполнении Болдуманом монологов о будущем страстности нет». «Трудно представить себе, что этому Вершинину Чехов доверил свои дорогие и сокровенные мысли» (?!). П. А. Марков также считает, что Болдуман — Вершинин выпадал из спектакля и портил его.

Сейчас все это представляется следующим образом. В спектакле переплетались два течения: следование Чехову, Станиславскому (Болдуман, Орлов, Попов) и выполнение социального заказа. Ничего хорошего из этого не могло получиться.

Я видел этот спектакль уже в эпоху Кедрова. С теми же Болдуманом, Орловым, Поповым. С бароном — Ю. Э. Кольцовым и сестрами: Ивановой, Юрьевой и Максимовой. Этот спектакль мне казался (и сейчас кажется) совершенным. Во всех ролях, во всех своих компонентах. Я и сейчас, например, не могу себе представить, скажем, лучшего исполнителя роли Родэ, чем Топчиев. Можно рискнуть и сказать: уберите Топчиева — спектакля не будет. «Как все изумительно переплетено в жизни сей».

Сейчас, по прошествии стольких лет, мне кажется, я могу объяснить феномен МХАТа.

В спектаклях МХАТа жило ощущение свободы. Молодой Горький говорил о Чехове, что это первый свободный человек, встреченный им в жизни. Чехов — первый из наших классиков, который никогда — ни прямо, ни косвенно — не был связан с царским домом. Влияние Толстого многим казалось более значительным, чем влияние царя. О Чехове ничего подобного сказать нельзя. Доходило до казусов: Чехов оказался даже вне Союза писателей. Как писатель, в своих произведениях оскорбляющий русский народ. В архиве союза среди протоколов комитета союза и общих собраний нет только протоколов, на которых обсуждалась кандидатура Чехова.

Известные слова Чехова о двух крайностях («есть Бог» и «нет Бога») ленивых ограниченных людей и реальной жизни, находящейся между этими крайностями, жизни, которая существует и, может быть, всегда будет существовать в условиях недоказуемости этих простых утверждений, имеют, как мне кажется, отношение к вопросу: что есть МХАТ?

О. Ефремов — это крайность: «Бога нет». А есть управление культуры. Министерство культуры, ЦК. Когда О. Ефремов говорит о заземлении мхатовского искусства, под «корнями», «землей» имеется в виду опять же управление культуры. Министерство культуры, ЦК. Ефремов слышал, что был такой актер — Михаил Чехов. Но не верит в это.

О. Ефремов — это и другая крайность: «Бог есть». И бог этот, понятно, — те же управление культуры, министерство, ЦК, короче говоря — бог с маленькой буквы.

Как известно, крайности смыкаются.

Театр же Станиславского, МХАТ, находится где-то между этими крайностями. И это влияние автора «Чайки».

Поэтому и непонятен Ефремову Чехов. Возьмет он сцену из одного акта, вставит в другой и думает: что̀ бы это значило?

Когда М. Н. Кедрова критиковали за то, что ни выбором репертуара, ни организационными мероприятиями МХАТ не борется за зрителя, он говорил, что этого делать не нужно. Причем аргументы приводил нелепые: если во МХАТ будут ходить только ненормальные, пусть даже не все, а некоторые из них, все равно во МХАТе будет аншлаг, поэтому и думать об этом нечего. Вообще, не нужно отвлекаться.

Жесткая привязка к высокому начальству, ставка только на современную советскую пьесу дала ощутимый результат: Е. А. Фурцева привезла Ефремова во МХАТ.

За это МХАТ должен был заплатить «Дульцинеей Тобосской», «Валентином и Валентиной», пьесами Гельмана и Шатрова.

Я присутствовал на одной из встреч с Фурцевой. Она рассказывала, что дважды видела фильм Феллини «8 1/2» и ничего не поняла. Заявила, что советскому зрителю такие фильмы не нужны и что пока она министр культуры, она не допустит на экран подобных фильмов.

Ей было понятно искусство Ефремова. Оно находилось в полном соответствии с ее представлениями об искусстве.

Игра Ефремова в спектаклях «Современника» и МХАТа (все — главные роли) невыразительна, малоинтересна и потому не запоминается. Помню только: «Где мой портфель?» в «Старшей сестре». И, пожалуй, все. Однако, находясь длительное время во МХАТе и наблюдая мхатовских стариков, что-то все-таки сдвинулось в нем. В результате появилась наконец первая добротная актерская работа в фильме по Достоевскому «Чужая жена и муж под кроватью».

Я бы назвал игру Ефремова-актера функциональной. Известно, как надо играть ту или иную роль. И он исполняет ее, как надо.

Одна из актрис «Современника», посмотрев «8 1/2», вышедший на наши экраны только в 88-м году, горестно воскликнула: «И мы этого не могли видеть. Нас обокрали!» Ей, кажется, в голову не пришло, что ее обокрал Олег Николаевич.

Спектакли МХАТа кедровского периода были совершенно свободны от заискивания перед зрителем. Об этом как-то даже неудобно говорить. У МХАТа была только одна обязанность перед зрителем: художественность. Ведь это же МХАТ! Он поднимал зрителей до уровня Чехова, а не Чехова опускал до уровня Ефремова или Захарова, Гельмана или Шатрова.

Мы давно уже читаем и слушаем выступления М. Захарова по вопросам театральной жизни. Разделяем его возмущение бесправным положением театра.

Смущает одно обстоятельство. Вот жалуется М. Захаров, что спектакль «Жестокие игры» разрешают играть только шесть раз в год. Более того, нельзя играть перед большими праздниками.

Действительно безобразие! Что же смущает?

Я хорошо помню спектакль «Иркутская история» Арбузова. О нем вспоминаешь с чувством неловкости. Убогость этой драматургии, как и постановки Е. Симонова в вахтанговском театре, является классической. Может быть, Арбузов изменился? Едва ли. Все же решился пойти. И очень этому рад. И всем рекомендую посмотреть «Жестокие игры». Чрезвычайно веселый спектакль. Драматургия, режиссура и ак-

* Если эти наблюдения — открытие, то дарю его Т. Н. Ныба с пожеланием организации при воронежском театре второй сцены, где бы играли только А. Платонова. Спектакль А. Дзекуна «14 красных избушек» в Саратове прекрасен самим А. Платоновым. Но актеры, исполняющие главные роли (напр., А. Галко), играют среднестатистического автора. Видимо, способ существования актера на сцене по А. Платонову неизвестен.

терское исполнение — все на уровне анекдота. Ну, Арбузов понятно — это Арбузов. Я, естественно, загорелся, посмотрел другие спектакли — то же самое.

В одной из передач по телевидению М. Захаров представлял зрителям фильм Свердловской студии о самодеятельном композиторе, внедрявшем песенную продукцию на кабельных заводах. М. Захаров очень рад за документальное кино. Он никак не предполагал, что документальное кино может работать и в жанре комедии.

Парадоксальная ситуация. Фильм, собственно, о М. Захарове, внедрявшем из фильма в фильм «крылышками бряк-бряк-бряк». О Ефремове и Товстоногове, с чьей легкой руки гуляла по Союзу пьеса Гельмана «Заседание парткома». Мы хорошо помним, как проводил голосование в зале К. Лавров. Он не ведал стыда тогда и, похоже, не ведает его и сейчас.

Часто то тут, то там вспыхивает спор о рок-музыке. И М. Захаров выговаривает писателю В. Распутину, что тот, мол, не понимает рок-музыки. Вот ведь и уважаемый человек, а оказывается, может чего-то и не понимать.

Это опять легенда. Легенда о непонимании.

Дело не в рок-музыке или какой-то другой музыке. Дело в засилье дегенеративных лиц на экранах. И в спектаклях и в фильмах М. Захарова.

Герой фильма Свердловской студии выгодно отличается от актеров М. Захарова открытостью и доброжелательностью. И по части искусства М. Захарову не уступит.

Я помню статьи М. Яншина, его возмущение известной ситуацией, когда театр готовит спектакль, приходит неизвестный чиновник, смотрит — и не разрешает его. Эти статьи вызывали уважение. Спектакли Яншина, поставленные им в театре Станиславского («Дни Турбиных»), его роли во МХАТе, его выступления в печати — именно эти реалии нашей жизни хранили наше театральное искусство. Еще живы актеры, которые играли с Яншиным, учились у него. Этими традициями и жив театр. Люди, подобные Яншину, и сохраняют высокий уровень искусства для следующих поколений.

Известно, что Яншин поддержал идею о привлечении Ефремова к работе во МХАТе. Мое уважение к Яншину, естественно, нисколько не поколебалось. Такие люди, как Яншин, и должны решать. И они, конечно, имеют право на ошибку. Но и право на ее исправление.

Когда же критикует чиновников от театра М. Захаров, то это вызывает только улыбку. Зритель с удовольствием смотрит спектакли М. Захарова, так же, как сам М. Захаров с удовольствием знакомится с творчеством самодеятельного композитора. К этому следует добавить специальный интерес: прямое заискивание перед зрителем, развращенным руководителями перестройки в театральном деле за долгие годы, которые они называют застоем, нечаянно забывая, что именно они (Товстоногов, Ефремов и Захаров) царствовали в театре в это время.

Я думаю, что сказанное не слишком сурово. Даже те критики, которые славословили этих режиссеров, легко согласятся, что спектакль такого уровня, как «Братья и сестры», поставленный, кстати, в те еще годы, в принципе не мог появиться ни у одного из названных режиссеров.

Это соображение очень простое и очевидное (я думаю, не найдется ни одного критика, которому бы пришла мысль оспорить его), однако имеет важное следствие: творчество указанных режиссеров не имеет отношения к искусству.

У «деятелей искусства», подобных М. Захарову, конечно, всегда будет оправдание: в моих спектаклях действительно много дегенеративных лиц, но это потому, что их много в окружающей меня жизни.

Стандартная ситуация, о которой Чехов писал: «Мы некультурные, отжившие люди, банальные в своих речах, шаблонные в намерениях. Вокруг нас кипит жизнь, которой мы не знаем и не замечаем. Великие события застанут нас врасплох, как спящих дев. Если бы теперь вдруг мы получили свободу, о которой мы так много говорим, когда грызем друг друга, то на первых порах мы не знали бы, что с нею делать, и тратили бы ее на то, чтобы отличать друг друга... и запугивать общество уверениями, что у нас нет ни людей, ни науки, ни литературы, ничего, ничего! А запугивать общество, как мы это делаем теперь и будем делать, — значит отнимать у него бодрость, то есть прямо расписываться в том, что мы не имеем ни общественного, ни политического смысла».

Посмотрите, какие прекрасные лица у актеров, играющих в абрамовских спектаклях. Или у актеров труппы В. Полунина.

Ни Ефремов, ни Захаров, ни Товстоногов не готовы были ставить молодого Вампилова. Им и в голову не приходило ставить А. Платонова или М. Цветаеву. Из новой драматургии все, что выше В. Розова и А. Арбузова, недоступно их пониманию.

Как-то в «Юности» В. Розов писал о своих впечатлениях от посещения музея Чехова в Ялте. Ему не понравилась пошлая картина в кабинете Чехова, и он подумал, что это, наверное, подарок жены и ему неудобно было не повесить ее. И Розов выяснил, что это действительно подарок Ольги Леонардовны. Великий писатель в тисках пошлости! Но ему и в голову не могло прийти, что нелепая картина прислана, например, с целью развеселить тяжелобольного Чехова. Что эта картина явилась, может быть, прототипом картины художника Шишмачевского, которую повесил Андрей Андреевич в своем будущем гнездышке...

Ход мыслей Розова — не следствие простого непонимания, а следствие неуважения ни к Чехову, ни к себе.

Сейчас Розов говорит о своем времени, что тогда порядочные люди жили в окружении негодяев. Он, наверное, и в этом случае как-то по-своему трактует эту мысль.

«Современник», написав на своем знамени «Розов, Рощин», сразу определил свой уровень и границы и не вышел из них до сих пор. Когда О. Ефремов ставит классику, он изменяет текст, переставляет эпизоды, добиваясь, чтобы было похоже на В. Розова. По этому поводу время от времени возникают странные дискуссии.

Всякому, кто хоть сколько-нибудь знаком с природой творчества, понятно, что, например, пьеса Чехова — результат колоссальной мобилизации всех духовных сил личности (и не просто личности, а такой личности, как Чехов). Законы, по которым написана пьеса, — неизвестны. Кажется, что они существуют. Загадка пьесы и персонажей вновь и вновь привлекает театры. Но если нарушить ткань пьесы, — что же после этого там найдешь? Обычно и сам автор не решается впоследствии править свои пьесы. Они и для него загадка. И восстановить то состояние, в котором она писалась, невозможно. И если автор уважает свой труд, то делать этого не станет.

Маленькое отступление. Смотрю по телевидению «Вишневый сад» в постановке Л. Хейфеца. Большинство исполнителей — актеры Малого театра. Чувствую все время какой-то дискомфорт. Кажется, играют какого-то другого автора. Может, текст другой? Открываю книгу, точно: играют другой текст. Произвольно переставляют слова, убирают, добавляют. Так сказать, играют в режиме импровизации. Все как-то немузыкально. Или какой-то другой композитор. Или проще: ощущение небрежности, непрофессиональности. Это еще не Ефремов, но, чувствуется, современник Ефремова.

Вопрос об уважении важен. Это уже из области нравственности. Когда Фурцева привезла Ефремова во МХАТ, то молодой руководитель резко усилил свою деятельность на телевидении (демонстративно длительное время продолжая вести кинопанораму), на радио (монотонно и скучно читая подряд всех поэтов и писателей, классиков и современников — так, что в этом чтении все они становятся как бы на одно лицо) и в кино. Обычно в таком случае говорят: строит дачу, это очень дорого. Или: любит свою жену. В общем, ни тогда, ни сейчас за это никто не осудит. Но в данном случае эти действия имеют очень важный оттенок: неуважение ко МХАТу, его наследию. А это, как вы понимаете, совсем другое дело. Правда, и о наследии он беспокоился. Но весьма своеобразно: в своих многочисленных интервью ратовал за проведение международной конференции по Станиславскому, с очевидным подтекстом — под руководством его, Ефремова. Интервью по телевидению, которое он обычно давал А. Смелянскому, напоминало игру в поддавки. Содержание всегда одно и то же: его пригласили мхатовские старики, и он, Ефремов, спас театр. Не все зрители знали, что А. Смелянский — завлит у Ефремова, а перед своими не стыдно: они и так все понимают. К тому же Ефремов и Смелянский, по простоте, не подозревают, что ложь, повторяемая десятки раз, все равно ложь.

Действия Ефремова — непрерывная цепь демонстраций неуважения к МХАТу. Эту болезнь часто сейчас называют «синдром Павлика Морозова». Но почему сейчас? И во времена моей молодости к этому относились так же. Я помню, наш преподаватель политэкономии любил нравоучительные сентенции типа: «Если ты не уважаешь родителей, как ты можешь уважать Генерального секретаря? Это же абсурд!» Он учился в ИФЛИ, на войне потерял ногу, имел степень кандидата философских наук. Очень любил Евтушенко. В тот день, когда в «Правде» печатались его стихи, занятия практически отменялись. Читал с упоением, стоя. Он и занятия вел стоя. Говорил, что если преподаватель сядет, то студент ляжет. Читая Евтушенко, какое-то время крепился, потом не выдерживал и начинал безудержно хохотать. Смеялся заразительно, до слез. Только тогда в изнеможении садился и уже продолжал читать сидя, в перерыве между приступами смеха. При этом аудитория так грохотала, что обычно уже и слов не было слышно. Самым-самым поэтом Советского Союза он считал С. Острового, а его лучшим учеником — Евгения Евтушенко.

Я тогда относился к Евтушенко с отвращением. Это вызвано было, видимо, сугубо личными обстоятельствами. Я родился и вырос в Сибири. После войны в электричках (там они называются «передачами») было множество нищих, пьяных и неистово кричащих о потерянном здоровье «за любимую отчизну, за Родину, за Сталина» и требующих на опохмелку. О многих из них было известно, что на войне они не были. И когда я впервые услышал Евтушенко (было это в здании МГУ, в аудитории 1610, где он выступал несколько раз, практически в пустом зале и не вызывая симпатий публики), то с первых же слов я услыхал эту истерическую интонацию с требованием опохмелки с сибирских «передач». Его коронное «Уберите Ленина с денег!» вызывало почти тошнотворную реакцию. Недавно как-то увидел Евтушенко по телевизору. Он читал белые стихи о молодом генерале. Та же интонация, с послевоенных «передач». Но наш преподаватель, видимо, не знал источника творческого почерка поэта и ошибочно считал его учеником С. Острового. Однако с тех занятий по политэкономии отношение к Евтушенко все-таки изменилось. Теперь к таким поэтам, как Евтушенко и Вознесенский, отношусь любовно: как к стандартному, можно сказать классическому, типу поэта-мещанина. Было понятно, что такие поэты олицетворяют собой перед лицом всего мира духовное здоровье общества. Они находятся в нужной для руководителей нашей культуры оппозиции, которая дозируется по взаимному соглашению. Они издаются больше всех, и регулирует этот процесс непосредственно ЦК, что, собственно, Евтушенко и не скрывает («Книжное обозрение», 1989, № 1).

Возвращаясь к вопросу об уважении к творческому наследию, я полагаю, что Ефремов, ставя классику, опирался на официальную точку зрения. В свое время «Правда» и «Советская культура» опубликовали письмо известного дирижера А. Жюрайтиса с требованием недопущения постановки оперы Чайковского в Париже Ю. Любимовым, как оскорбляющей память Чайковского, поскольку там А. Шнитке дописал какие-то музыкальные куски. Что-

бы пояснить свою позицию, в следующем же номере «Советской культуры» была опубликована статья о постановке другой оперы Чайковского в одесском театре, где очень удачно были препарированы либретто и музыка. Говорилось о большом успехе Одесского оперного театра, творчески относящегося к нашему культурному наследию. Как о примере для подражания.

О. Ефремов хорошо усваивал такие уроки. А усвоив, уже можно не считаться ни с классиками, ни с современниками, ни с традициями. Можно заставить петь пьяных купцов «Прощай, любимый город» в «Горячем сердце» А. Н. Островского на потеху уже «своего» зрителя, который постепенно стал формироваться во МХАТе. Можно играть «Ревизор» с одним Бобчинским без Добчинского. С каким возмущением об этом писал И. Ильинский!

В связи с этим вспоминается спектакль «Три сестры», виденный моим товарищем в доефремовские времена. Он хвалился, что видел в роли Вершинина В. Белокурова. И что В. Белокуров ему очень понравился. Чувствовалась военная косточка.

Оказывается, перед спектаклем стало плохо исполнителю роли Вершинина. Нашли В. Л. Ершова, который, кажется, до войны репетировал эту роль. Привезли его в театр, но не смогли подобрать костюма. Потом нашли В. В. Белокурова, который не играет в спектакле, совсем не знает роли, привезли в театр, одели и выпихнули на сцену. Пока одевали, он учил текст. Во время спектакля К. Иванова, игравшая Ольгу, все время становилась спиной к зрителю и наговаривала Белокурову текст. Мой товарищ сидел в первом ряду и ничего не заметил подозрительного. Причем это был опытный зритель, часто посещавший МХАТ, некоторые спектакли, такие, как «Плоды просвещения», очень любивший и видевший их не один раз. Не было случая, чтобы мы при встрече не вспоминали «Плоды просвещения». Это был уникальный спектакль. Может быть, в истории театра не было спектакля, в котором бы играло столько звезд одновременно (постановка М. Н. Кедрова). Перебегая от сцены к сцене, от актера к актеру, он неизменно упирался в лекцию профессора Кругосветлова (в исполнении В. О. Топоркова) о медиумических явлениях. Он шпарил наизусть. Прошло несколько лет, знаток «Плодов просвещения» сам стал профессором и по-прежнему считал наиболее глубоким исследованием сущности ученого-профессора работу Топоркова. Но когда я победоносно восклицал: «А Коренева?» — тут он сдавался. Как ни блестящи были Шевченко и Кторов, Петкер и Попов, но все-таки Л. М. Коренева — Звездинцева побивала всех. Когда она страдала: как же можно пускать людей с улицы... вон, вон, чтоб духу их не было, — более убедительного изображения вселенского горя невозможно себе представить.

Случай с «Тремя сестрами» — редкий в театре. Поражает спаянность актерского цеха. Они стояли насмерть!

Парадоксальное замечание. Для мхатовского зрителя с упадком театра в следующие годы как бы своими стали фильмы А. Тарковского. Чем? Вроде бы мало общего. На самом деле все довольно просто: серьезностью отношения к искусству.

Интересно, что нападки на МХАТ начал, видимо, учитель А. Тарковского — М. Ромм. Он постоянно хоронил театр вообще и всегда приводил следующий пример.

На репетиции «Власти тьмы» Станиславский на передний план поставил деревенскую старуху. Актеры МХАТа выглядели крайне бледно рядом с этой старухой, и он ее поставил в глубину сцены. Но и там она слишком выпирала. Тогда Станиславский ее убрал со сцены. Но ее голос из-за кулис был такой правдивой нотой в спектакле, так подчеркивал фальшь актерской игры, что старуху пришлось убрать совсем. М. Ромм делал следующий вывод. Раз лучший режиссер и лучший театр оказывается бессильным в подобной ситуации, то дела театра безнадежны.

Эта репетиция имела место в первые годы существования Художественного театра, когда две группы актеров-любителей только-только нащупывали свой путь. И ситуации, подобные описанной, были теми толчками, которые вызвали к жизни то, что сейчас называется «системой Станиславского». О результатах я уже говорил (как тут не вспомнить опять Матрену — Зуеву в «Воскресении»). Ромм этот пример приводил всегда, но никогда не говорил главного: что речь идет не о лучшем театре и лучшем режиссере мира, а о начинающих актерах-любителях.

Объяснение, я думаю, следует искать в фильмах Ромма. Таких, например, как «Девять дней одного года». Такая развесистая клюква! Естественность молодой Т. Лавровой рядом с озабоченным судьбой человечества А. Баталовым и опереточным И. Смоктуновским, — как у той старухи из примера, столь любимого Роммом. При таком художественном уровне объяснение может быть каким угодно.

Тем не менее мы должны быть искренне благодарны Ромму за то, что взял на курс А. Тарковского и В. Шукшина, и за то, что они не пошли по его пути. Хотя, может быть, именно вспоминая Ромма, Шукшин пригласил на роль матери героя («Калина красная») деревенскую женщину, а не актрису. И в данном случае был, наверное, прав.

Сейчас в это все равно никто не поверит, но четыре чеховские пьесы, «Мещане» и «На дне», «Воскресение» и «Плоды просвещения», «Горячее сердце» и «Поздняя любовь», «Мертвые души», «Братья Карамазовы», «Зимняя сказка» Шекспира, «Золотая карета», «Осенний сад» Л. Хелман — все эти спектакли, каждый из которых составил бы эпоху в жизни любого театра, шли одновременно. Легко представить себе, какого зрителя воспитал этот театр! Спектакли МХАТа были таким нравственным уроком, который на всю жизнь. Может быть, в истории МХАТа не было столь благословенного периода, как время этих спектаклей.

Сначала были годы становления театра, годы становления системы Станиславского, потом сложные годы после революции,

когда МХАТ постепенно становился правительственным театром. Старики сходили и времена менялись: дубль в небольшой роли уже согласовывался с председателем Комитета по делам искусств М. Храпченко. И только после войны, в период расцвета второго поколения, воспитанного Станиславским, и выхода на сцену молодежи первых выпусков школы-студии МХАТ, стал возможен высочайший актерский и режиссерский уровень вышеназванных спектаклей. В труппе театра в это время играло 20 народных артистов СССР. Больше, чем во всех драматических театрах Москвы, вместе взятых. И только немногие из них оставляли меня равнодушным (Массальский, Прудкин, Андровская, Степанова). Но и их работы вызывали несомненное уважение. Если к этому добавить, что такие актеры, как Коренева, В. Н. Попова, Гошева, Коломийцева, В. А. Попов, Кольцов, Комиссаров, Кудрявцев — актеры выдающиеся, индивидуальности неповторимые, кажется, не были удостоены столь высоких званий, легко себе представить, какая это была труппа. И великолепные молодые: Кошукова, Ростовцева, Ханаева, Ленникова, Максимова, Лаврова, Чернов, Алексеев, Тарханов, Топчиев, Л. Золотухин. В общем, это была такая культура, что сокрушить ее могли только варвары.

Вот, например, какие роли играла Т. И. Ленникова: Маша, Соня и Варя («Чайка», «Дядя Ваня» и «Вишневый сад»), Людмила и Параша («Поздняя любовь» и «Горячее сердце»), Катюша Маслова («Воскресение»), Медея («Медея» у Н. Охлопкова), Татьяна Ивановна («Село Степанчиково...»). Играла на равных с Яншиным и Станицыным, Болдуманом и В. А. Орловым. Когда говорят «великая актриса», то мне понятно, о чем идет речь. Это Ленникова. В любом другом театре она была бы актрисой на выходах. Иногда, очень редко, ее можно видеть на экране телевизора. Почти всегда это неинтересно. Она органически не способна к бессодержательному существованию на сцене и на экране. Она не смогла бы (или, точнее, не стала бы) изображать последний вагон поезда или сон в летнюю ночь. Она не может изображать выдуманных чувств, которых нет в пьесе.

Существует масса актеров, которые великолепно себя чувствуют почти в любом фильме, пьесе, поставленной любым режиссером. Р. Быков, Евстигнеев, Калягин, Е. Лебедев, Юрский, Басилашвили, Дуров, О. Янковский. Усиленная разработка внешних выразительных средств сравнительно с безликостью, бедностью внутренней жизни персонажей. Постоянно мельтеша, совершая массу лишних физических действий (думая, может быть, что это имеет какое-то отношение к методу физических действий по Станиславскому), они не позволяют себе сосредоточиться, боясь обнаружить пустоту пьесы, спектакля или собственную. Они тоже слышали о М. Чехове, и тоже не верят. Некоторые из них иногда органичны на сцене, например, Евстигнеев; но ведь это так мало для МХАТа, почти что ничего. Для других же уровень органичности Ю. Николаева, ведущего «Утренней почты», по-видимому, недостижим. О. Янковский не очень портит «Ностальгию». Но когда думаешь о Солоницыне в этой роли, остается только зарыдать.

Как-то в разговоре о «Солярисе» Тарковского было сказано: «Солоницын? Да ведь это же слабый актер. Это вообще не актер. Просто у Тарковского любой актер играет хорошо. Только, может быть, Р. Быков раздражает в «Андрее Рублеве». И действительно, Солоницына не воспринимаешь как актера. А всегда как персонажа пьесы, фильма. Писателя, ученого, эсэсовца. Может быть, это признак великого актера?

Так же реагируешь и на Ленникову. Как на того или иного персонажа. Ни по какой роли ничего не могу сказать о Ленниковой как об актрисе. Нечто можно сказать только по совокупности всех ролей. Она всегда столь многими нитями связана с автором, с пьесой, с режиссером и, самое главное, с актерами и персонажами пьесы, что определить, что, собственно, есть во всем этом сама Ленникова, что здесь от нее лично, нет никакой возможности.

Когда Болдуман — Дорн рассказывает о своем путешествии за границу, он, человек, уже ничего от жизни не ждущий, непроизвольно оживляется, вспоминая ощущение толпы в Генуе. Неожиданно этот простой рассказ захватывает необычайно. Это, кажется, самое яркое событие в его жизни (как следует со слов Полины Андреевны, очень богатой и разнообразной). Но он сам, выясняется, не знал этого. Увлекшись, он сталкивается взглядом с Машей — Ленниковой. У нее на глазах слезы. Она одна, собственно, слушает его. Остальные, кажется, вообще спят. Дорн — Болдуман обрывает рассказ. Он, только что готовый слиться со всеми в мировой душе, он ли это? Слиться с этой опустившейся и малоинтересной женщиной? Какой-то минутный бред. Болдуман обрывает резко, почти оскорбительно. Маша — Ленникова только что, кажется, была в этой толпе (вместе с Константином Гаврилычем?), но эта смена ритма доставляет ей почти физическую боль и больше чем что-либо говорит ей, что она никогда не увидит Геную и что Константин Гаврилыч не любит ее.

В этой сцене у Ленниковой слов нет. Трудно сказать, есть ли эта сцена у Чехова. Вот например, сцена фотографирования в первом действии «Трех сестер» есть. Роде — Л. Топчиев удивленно-обиженно: «Завтракают?» Укоризненно-констатирующе: «Да, уже завтракают...» И так далее. Эта сцена у Чехова точно есть. А сцена «Дорн — Маша»? После того как она сыграна Болдуманом и Ленниковой, ясно, что есть. Эта та же история, что и с самой пьесой. Где была «Чайка» до того, как Чехов ее написал? Была или нет?

Когда анализируешь спектакль, то почти все кажется ирреальным. Болдуман говорит всего несколько фраз. Первое предложение — все очень оживлены. Второе — все давно уже спят. Третье — взрыв между Болдуманом и Ленниковой. Четвертое — все уже давно проснулись и возбуждены. Как будто пьесу написал Д. Хармс. Но самое удивительное: зрители этой ирреальности не замечают. Более того, часть зрителей пропускает всю следую-

щую сцену, потому что они застряли в этой толпе, движутся в ней без всякой цели туда-сюда; а некоторые живут в ней до сих пор.

Говорят, что Толстой писал романы, Чехов — рассказы-как-романы, а у Платонова каждое предложение — роман.

Я бы сказал: в спектаклях МХАТа каждое предложение играли, как роман. Чеховские спектакли МХАТа состояли из многочисленного сцепления этих романов, которых обычно нет в спектаклях других театров. Чехов вообще довольно скучный и малоинтересный автор.

Спектакли, которые я видел недавно: «Чайка» Липецкого театра и уже упоминаемый челябинский спектакль А. Морозова, сцены «Болдуман — Ленникова» не содержали. И многих других сцен. Считается, что их у Чехова нет.

Незабываем финал второго действия «Вишневого сада».

Там Ленниковой — Вари, по-видимому, нет на сцене. В ремарке сказано: «Где-то около тополей (?) Варя ищет Аню». Вот тебе и Чехов. Ремарка явно непрофессионального драматурга: что значит «где-то»?

И тоже как-то все нереально. Акт довольно короткий. Начинается ярким солнцем. А кончается при луне. В финале Ленникова дважды пробегает по сцене в поисках Ани, которая стоит тут же. У зрителей недоумений не возникает. Они этого не то что не замечают, а участвуют с ними в этой игре.

Но музыкальные «А-у» Ленниковой потрясают. Без этого «А-у» нет акта. Это как верхнее «ля», без которого нет оперы. То есть все держится на какой-то ерунде. Оказывается, что это и есть те мгновения, которые — остановились. В этих «А-у» бесчисленное множество оттенков: здесь и настырность, и нежность, и любовь Вари. А сам звук! Он находится в зачаровывающей гармонии с другими звуками: звуком лопнувшей струны, тембром голоса Ани — Л. Качановой. С ритмом всего акта.

Я думаю, что уровень спектаклей МХАТа кедровского периода можно объяснить довольно просто. Они держались на двух китах — глубокой вере театра в драматургию Чехова и системе Станиславского.

К сценам того же уровня, что описаны выше, изменяющим лицо театра, относятся сцена в женской камере в «Воскресении», сцена отхода ко сну в «На дне» и многие, многие другие. Приверженность Чехову и Станиславскому была не декларацией, а практикой театра.

Так же как Л. Толстой позволил осуществиться Чехову, так и рядом со МХАТом существовал прекрасный театр.

Великолепный Малый с массой удивительных спектаклей, актеров, ролей. Перечислять можно бесконечно. Назову только то, что не могу не назвать: Подхалюзина — Н. Анненкова («Свои люди — сочтемся») и Акима — И. Ильинского («Власть тьмы»). Роли — потрясения.

Все спектакли по А. Н. Островскому. Театралы любых направлений, школ, пристрастий, я думаю, согласятся: Островский в Малом театре — это не просто прекрасно. Лучше этого не может быть ничего.

Режиссерские работы Б. Бабочкина.

И еще одна особенность Малого, которая меня всегда удивляла: высочайший профессиональный уровень молодых актеров-мужчин. Они там как бы рождаются мастерами. В других театрах — бывает, а здесь — правило. Подгорный, Бабятинский, Борцов... Называть можно практически всех подряд. Малый театр — единственный театр, где всегда был очень ровный и очень сильный состав во всех поколениях как в женской, так и в мужской части труппы. Общее снижение уровня актерского мастерства, вызванное разрушением МХАТа, коснулось Малого театра в меньшей степени.

Очень интересным был Вахтанговский театр во главе с Р. Н. Симоновым, с его фрондой по отношению ко МХАТу. У них, видите ли, театр представления. На том стоим. Частично это от молодого задора, сохранившегося со времен вахтанговской «Принцессы Турандот», частично от элементарной безграмотности. Откроем Н. Карамзина: «(Рамлер) любит Театр, и все, что я слышал от него об искусстве представления, мне очень полюбилось. Славный Экгоф утверждал, что Актеру не надобно чувствовать для того, чтобы хорошо играть; если не ошибаюсь, то и Энгель в своей «Мимике» то же говорит; но Рамлер думает противное и, кажется, справедливее их».

В наше время поразительны эти «славный», «если не ошибаюсь», «кажется», Актер и Театр с большой буквы.

Однако спектакли Р. Н. Симонова (даже «Стряпуха» А. Софронова) были по-настоящему интересны.

Не могу не назвать блестящих актерских работ Е. Добронравовой и А. Кацынского в «Насмешливом моем счастье».

Роли Нины Снижко («Барабанщица» А. Салынского) Л. Фетисовой в ЦТСА.

М. Холодов — Жевакин в «Женитьбе» Гоголя в ЦДТ.

Ю. Глизер и Т. Карпова в «Мамаше Кураж» (Театр Маяковского).

С. Павлова и Н. Архангельская в «Прошлым летом в Чулимске» (Театр Ермоловой).

Режиссерские работы Б. Равенских и Ф. Шишигина.

Режиссерская работа М. Яншина и актерские работы Н. Саланта и Е. Леонова в «Днях Турбиных».

Ощущением безоблачного счастья, наиредчайшим в театре, были полны Н. Веселовская и В. Белановский. Мне очень легко ответить на вопрос, «что такое счастье», в узком смысле значения этого слова — счастье двоих. Счастье — это то состояние, в котором находятся Веселовская и Белановский и зрители этого спектакля. Те, кто не видел «Турбиных» в Театре Станиславского, вряд ли знают, что такое счастье (исключая тех, у кого счастье находится в личной собственности). «Дни Турбиных» был очень любим зрителями. Шел спектакль, как и положено, с тремя антрактами, причем последний был очень длинный (минут сорок). Я видел этот спектакль где-то в районе 600-го представле-

ния. С тех пор «Дни Турбиных» — одна из моих любимейших пьес.

Остальные пьесы М. Булгакова, по-моему, значительно слабее. Говорят, что первоначальный вариант «Турбиных» тоже был неудовлетворителен. И многократно переделывался под давлением П. А. Маркова. Свои претензии ко МХАТу Булгаков выразил в «Театральном романе». Булгаков — наследник русской классики. Но это ощутимый шаг назад. Пристрастие Булгакова к теме своего интеллектуального превосходства над работниками жэка и теме «поэт и царь» вызывает сожаление. Чехов, о чем уже было сказано, первый из наших мировых классиков осуществил свое предназначение вне всяких связей с царствующим домом. И имел в этом смысле блестящее продолжение: М. Цветаева, А. Платонов. Булгаков вернулся к дочеховскому состоянию русской литературы в худших ее проявлениях и связал свои надежды с вождем. Думается, что сейчас Булгаков у многих на щите, к сожалению, именно по этой причине.

Г. А. Товстоногов говорил: да, я ставил спектакли в честь юбилея Сталина и получал за них Сталинские премии; если бы я не ставил этих спектаклей, я не был бы главным режиссером и не имел бы званий и регалий, которые имею; да, у меня в театре нет преемника, но кто сказал, что он должен быть; у Станиславского не было учеников, и он не подготовил преемника.

В результате мы имеем то, что имеем.

В. Лановой дает широковещательные интервью, что у него на ночном столике лежат произведения Леонида Ильича, которые он всегда читает перед сном. Через несколько месяцев он — лауреат Ленинской премии.

А. Папанов пишет в центральной прессе, что всегда, когда он сталкивается с трудностями в работе над ролью, он идет в партком и только там, наконец, получает реальную помощь и разрешение трудности. Вслед за этим заявлением он получает звание народного артиста СССР.

И. Смоктуновский с самодовольством говорит, что любое критическое замечание в его адрес будет опубликовано только в том случае, если он даст «добро». Про человека, который помимо него хотел что-то опубликовать, он говорит: «Ай, моська, знать она сильна!» Интересно, как Смоктуновский сейчас относится к многочисленным публикациям того времени, утверждавшим, что его творчество олицетворяет духовный подъем общества в эпоху Леонида Ильича.

В. Невинный настойчиво в своих интервью подчеркивает наиталантливость своего главного режиссера; ему довольно быстро присваивается высшее звание.

С. Юрский, обладающий начальным званием, кажется, в опале. Но вот он выступает с заявлением, что БДТ — лучший театр Европы; его прощают, ему, наконец, присваивается очередное звание.

Может быть, это мнительность? Трактовка высказываний В. Ланового и И. Смоктуновского не вызывает никаких сомнений. В других случаях, может быть, совпадение? Но они так согласуются с позицией, которую занимали Товстоногов и другие вожди нашего театра.

Когда Товстоногов говорил, что крупные режиссеры не оставили учеников и преемников, то это опять уже знакомая легенда. Он «забывал», например, Е. Вахтангова и М. Кедрова. Ученики Вахтангова также известны: Р. Симонов, Ю. Завадский. Может быть, ставить рядом фамилии Вахтангова и Кедрова кощунственно? Прихоть рядового зрителя. Но, вообще говоря, это общее место. «...У К. С. Станиславского было великое множество учеников и единомышленников, но сподвижников было только два — Вл. И. Немирович-Данченко и М. Н. Кедров» (нар. арт. СССР И. Соловьев).

Г. А. Товстоногов считал себя последователем Станиславского. Среди своих учителей он называл также А. Райкина. Но ведь это очень странно. Фальшь «лирических монологов» А. Райкина всегда была труднопереносимой. А театр, в котором вся труппа в вечном положении статистов, никак не может быть связан с именем Станиславского. А ведь в Ленинграде есть театр — антипод театра А. Райкина — труппа В. Полунина. Не говоря уже о Малом драматическом театре под руководством Л. Додина.

В последнее время одним из руководителей нашего театра стал М. Ульянов. Это также вызывает недоумение. В 1988 году вышел фильм «Больше света», где М Ульянов читает дикторский текст. С болью, сарказмом, страданием. Автор фильма, лауреат Ленинской премии, в своих интервью так формулирует свою позицию: все мои фильмы были приняты с первого предъявления и на «ура», да, есть художники с большими амбициями и самомнением, их фильмы лежат годами на полках, я не такой; и в прошлое время я прославлял Леонида Ильича, сейчас я его развенчиваю; это моя принципиальная позиция.

Участие в подобных фильмах, понятно, не украшает. И это, конечно, не случайный факт в творческой биографии Ульянова. В выступлении на XIX партконференции М. Ульянов говорил о том оцепенении, которое охватило его после известного письма Н. Андреевой. Об этом письме постоянно вспоминает и М. Шатров. Поразительное отслеживание: когда и перед кем стать навытяжку.

Сейчас М. Шатров вспоминает о своих встречах с Н. Хрущевым в 1970 году. «Миша, я же не мог во всем этом не участвовать, у меня же все руки в крови». Ничего подобного в пьесах Шатрова зрители в течение всех этих лет не встречали. 18 лет Шатров ждал сигнала, когда об этом можно будет сказать. Шатров хотел бы встретиться с Солженицыным и предметно поспорить с ним. Сомневаюсь, что последний стал бы разговаривать с Шатровым. Слишком, я бы сказал, велика разница в весовых категориях. Солженицын, в отличие от Шатрова, не лгал, а говорил то, что думал, что считал нужным сказать, не ожидая разрешительного сигнала.

И еще: выступая на партконференции, Ульянов ратовал за ограничение в два срока на высших должностях, но требовал исключения для М. С. Горбачева. Вспоми-

наю также выступления по телевидению писателя Г. Бакланова и критика И. Дедкова: книги М. С. Горбачева должны быть в каждой семье. Не правда ли, очень знакомые речи.

Вышеупомянутые Ефремов, Захаров, Лавров, Ульянов, Шатров — руководители Союза театральных деятелей СССР. Не случайно, я думаю, на учредительном съезде прозвучало: мы так спешно собрались здесь для того, чтобы проголосовать за составленный кулуарно список, и это очередное унижение в непрерывной цепи наших унижений. Такого рода выступление, кажется, было единственным. И дело даже не в том, что это тот редкий случай, когда один прав. Дело, видимо, в том, что думали так многие, но сказать об этом вслух не решились: во главе Союза встали люди, наиболее процветавшие в известные годы. Именно целенаправленная и многолетняя деятельность Товстоногова и его теперешних коллег из руководства СТД и привела к уничтожению МХАТа.

Когда О. Табакова спросили, почему в печати и на телевидении широко представлена точка зрения только одной из нынешних половин МХАТа, то любимый артист заявил: просто у нас более активная жизненная позиция (вспоминается в связи с этим требование М. Рощина захвата власти во МХАТе).

В. Розов предлагает одной из половин присвоить имя Чехова, а другой — Горького. По нынешним временам Чехов котируется выше, и Розову кажется, что это предложение понравится Ефремову.

В статьях, публикуемых в журнале «Огонек», «забывают» упомянуть, что Ефремов, придя во МХАТ, занимал преимущественно своих актеров, практически взяв курс на уничтожение МХАТа. А привел он их в короткое время около ста. Журнал, следуя своей принципиальной позиции, вопрошает: как можно держать во МХАТе актеров, практически не занятых в спектаклях?

Тема активной жизненной позиции, конечно, шире области театра. Все мы помним выступления на телеэкранах в недавнем прошлом Г. Боровика, В. Коротича и других политических обозревателей. В каждом (буквально в каждом) из этих выступлений подробно и аргументированно доказывалась глупость, необразованность, некомпетентность и аморальность очередного президента Соединенных Штатов Америки. И намекалось на противоположные качества нашего руководителя. Кроме того, доказывалось, что основная движущая сила Америки — это всепоглощающая ненависть к Советскому Союзу. Сейчас эти люди — председатель Советского комитета защиты мира и главный редактор общесоюзного еженедельного журнала. Вот что значит активная жизненная позиция.

А. П. Чехов в письме к А. С. Суворину писал, что странно в печати обличать студентов, даже если они не правы, не имея возможности обличать правительство. «Асы» нашей журналистики, не имея ни стыда ни совести, делают вид, что они не знакомы с этими азами. Мне кажется естественной реакция читателей, считающих безнравственным печатание материалов о трагических событиях прошлого в журнале, возглавляемом такой одиозной личностью, как В. Коротич.

Приведу любопытный пример. Он мне кажется характерным для сегодняшнего состояния нашей культуры. В «Книжном обозрении» № 47 за 1988 год опубликован крикливый репортаж об избрании директором издательства «Советский писатель» А. Стреляного. Удивило изложение его речи. «В ближайшее окружение я буду подбирать людей, которые во всех отношениях сильнее, талантливее и интереснее меня и которые мечтали бы занять мое место». Когда его с тоской спросили, будет ли он менять людей, он ответил: «Я, как оказалось, честолюбив, раз прошел все этапы конкурсной борьбы... Высший административный шик — достичь неслыханных результатов с тем же человеческим материалом, что был до тебя». Очевидного противоречия в приведенных тирадах автор репортажа не заметил. В общем, меня это не смутило. А. Стреляный в свое время громил индивидуальные хозяйства, сейчас же ратует за архангельского мужика. А Стреляный последователен и не скрывает своего лица. Он считает, что пресса должна быть продажной, групповой и не может быть иной. Я сам неоднократно слышал его интервью по этому вопросу. Автор репортажа тоже известен.

Относительно претендента на директорский пост и журналиста все абсолютно ясно. Но и об этом заговорил в связи со следующим обстоятельством. В № 2 «Книжного обозрения» за 1989 год в заметке «Мы — за!» группа писателей заявляет: «Мы знаем А. И. Стреляного как блестящего публициста, человека высокой порядочности и трезвого, практического ума...» Подписи: Е. Евтушенко, М. Рощин, И. Дедков, известный специалист по международному рабочему движению Ю. Карякин. Тоже понятно. Но вот: Василь Быков, Булат Окуджава. Это уже непонятно. Вроде, порядочные люди. Н-да!

В недавнем интервью советско-американский режиссер А. Михалков-Кончаловский жаловался, что он зарабатывает в 20 раз меньше, чем другой, менее известный у нас режиссер. И что деньги развращают. Не такие, какие зарабатывает он. А большие деньги. Большие деньги развращают. Такие, какие зарабатывает шведский кинорежиссер И. Бергман, который, как уже теперь всем очевидно, в связи с этим окончательно потерял человеческий облик.

Русская культура, если она не чувствует себя наследницей Чаадаева и Герцена, Толстого и Федорова, Чехова, Цветаевой и Платонова, не продолжает эти великие традиции, а считает своим идеалом продажность, заслуживает презрения.

Помню, в ранней молодости меня поразил один случай. Тогда в редакции «Нового мира» у Твардовского работал молодой критик В. Лакшин. О нем говорили как о подающем надежды. Я случайно увидел книгу В. Лакшина «Толстой и Чехов» и прочитал ее. Это было своего рода потрясение. В книге излагались взгляды Л. Толстого и А. Чехова на литературу и искусство. До этого я уже читал трактат Л. Толстого «Что такое искусство». Самая главная работа Л. Толстого об искусстве, которую он писал многие годы. Представляете, Л. Толстой об искусстве! 200 страниц! И тогда и сейчас мне кажется невероятным, что деятель искусства в России может не знать трактата Толстого. И вот читаю В. Лакшина. Объемистый том, около пятисот страниц. Кажется, монографии. Интересно, что он там пишет о трактате? И — ничего! Совсем ничего. Ни один из коренных вопросов, поднятых Л. Толстым, не обсуждается. Идет переливание из пустого в порожнее каких-то мелочей. Это было невероятно! Написать монографию о взглядах Л. Толстого на искусство, не касаясь этих взглядов! До какой степени изворотливость, беспринципность, аморальность должна быть естественной, чтобы человек мог написать такую книгу! После одного такого реального факта Кафка и Борхес воспринимаются довольно спокойно.

В дальнейшем я уже, естественно, старался избегать имени Лакшина. Видел, кажется, только две его телевизионные работы. Прошло много времени. Может быть, что-то изменилось? Часть фильма о Чехове и сюжет о Михальском, администраторе МХАТа. Ничего не изменилось. В первом фильме очень хороши рассуждения Ю. Яковлева и В. Лакшина о том, как они до конца Чехова все-таки не понимают. Второй фильм — в жанре святочного рассказа с пением В. Лакшина под гитару. Из-за этого пения он как-то забыл рассказать о Михальском как секретаре комитета по Сталинским премиям и многое, многое другое, что представляет несомненный интерес.

Рядом с фигурой В. Лакшина профессор Серебряков из «Дяди Вани», всю жизнь писавший об искусстве и ничего не понимающий в искусстве, — наиположительнейший герой и образец ученого.

Судя по воспоминаниям самого В. Лакшина о С. Маршаке, он занимался в «Новом мире» контролем и учетом рабочего времени сотрудников. Важная и нужная работа. Но зачем тревожить при этом Чехова.

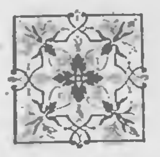
Прошло время, и постепенно я убедился, что трактата Л. Толстого не знает никто. Приведу совсем уж частный пример. Режиссер А. Гончаров с восторгом говорит об открытии П. Симонова, показавшего, что подробность не есть правда. Вопрос этот исследовался Л. Толстым в трактате, где доказано более сильное утверждение: подробность мешает правде. А. Гончаров, очевидно, этого не знает.

Вместо систематических и глубоких знаний в ходу облегченные афоризмы. С легкой руки А. Твардовского говорят: «Нет никаких литературных течений, группировок. Просто одни читали «Капитанскую дочку», а другие нет». Недавно я слышал это с экрана телевизора от критика Ст. Рассадина из команды В. Коротича. Критик назвал как-то трактат Толстого «тенденциозной статьей». Тоже, очевидно, не читал; проходил в институте по учебнику. И, видимо, даже не подозревает о том, что по глубине постановки проблем трактат Л. Толстого не имеет себе равных в истории нашей (и может быть, мировой) культуры. Это тот фундамент, который, надо полагать, в решающей степени определит развитие нашей культуры. И этот фундамент более чем основателен.

Писатель В. Белов, выступая по общесоюзному телевидению, выглядел белой вороной: я, по крайней мере, первый раз слышал деятеля культуры, который знаком с трактатом Толстого и вполне осознает его значение.

Современное состояние литературы и искусства, мне кажется, дает основание надеяться, что здоровые силы одержат верх над идеологами продажной культуры. Посмотрите публикации последних лет: А. Платонов, В. Шаламов (в «Новом мире» и «Юности»), К. Воробьев («Это мы, Господи!») и Ф. Абрамов («Старухи» и другие рассказы в «Нашем современнике»), переписка А. С. Эфрон и Б. Пастернака («Знамя»), В. Распутин («Сибирь, Сибирь...» в «Нашем современнике») многого стоят. Когда Ф. Абрамов, выступая по телевидению, говорил, что и в настоящее время русская литература не утратила своего положения в мире, могло показаться, что это ложный патриотизм. Однако, может быть, это не так.

Само существование абрамовских спектаклей Ленинградского Малого драматического театра, существование зрителей, видевших спектакли МХАТа кедровского периода и усвоивших этот нравственный урок, актеров, игравших в этих спектаклях, актеров, играющих в настоящее время на сцене с актерами МХАТа — участниками тех спектаклей, существование драматургии А. Вампилова, существование многочисленных театральных студий — свидетельство жизненности театра Чехова и Станиславского. Сам МХАТ, созданный в свое время на базе любительских студий, не мог бы родиться и выжить на пустом месте. Он возник под сенью такой мощной театральной школы, как школа Малого театра. Тот в свою очередь сформирован Н. В. Гоголем, А. Н. Островским и так далее. Театр и литература, поддерживая друг друга, и создали такое понятие (уже не театр, а понятие), как МХАТ, являющееся гордостью русской и мировой культуры.

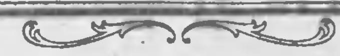




Константин Николаевич Леонтьев
(1831 — 1891)

«Мировое не значит... космополитическое, т. е к своему равнодушное и презрительное. Истинно мировое есть прежде всего свое собственное, для себя созданное, для себя утвержденное, длл себя ревниво хранимое и развиваемое, а когда чаша народного творчества и хранения переполнится тем именно особым напитком, которого нет у других народов... тогда кто удержит этот драгоценный напиток в краях национального сосуда?! — Он польется сам через эти края национализма, и все чужие люди будут утолять им жажду свою».

КРИТИКА



Русская мысль

ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА

«БОЮСЬ, КАК БЫ ИСТОРИЯ НЕ ОПРАВДАЛА МЕНЯ...»

Нет явления более сложного, чем К. Леонтьев...
Н. Бердяев.

...в душе его было окно, откуда открывалась бесконечность.
В. Розанов.

Его имя в обществе если и известно, то понаслышке, а не по чтению.
В. Розанов.

Если выписать все самые афористические высказывания о Константине Леонтьеве последующих русских мыслителей (не пошедших, однако, вослед ему), предстанет фигура столь грандиозная, что, право, не с кем сравнить ее... Нечто богоподобное проступит в ней. А слово «гениальность», постоянно мелькающее в применении к ней, покажется даже слишком лирическим, «частным», камерным. Ибо он, похоже, не просто гениален: ведь и средь гениев есть свои масштабы — так, гениальный Есенин, к примеру, не равен в гении Пушкину... ВЕЛИКИЙ ЛЕОНТЬЕВ — напрашивается тут. И приходят на память слова о «титанах по силе мысли, страсти и характеру», только леонтьевская мысль далека от ренессансного оптимистического, победно-практического пафоса: в ней точится — при всех прочих свойствах — средне-русская грусть (калужский помещик из деревни Кудиново: обедневший, бессребреный, бездомный — не стены, а крылья одевают, укрывают, согревают его), и, созданная для власти и славы, властной всемирной славы, эта мысль из любви к красоте человечества сама себе не желает победы, скорбит над возможностью — неотвратимостью — своей правоты. «Я праздновал бы великий праздник радости, если бы сама жизнь или чьи бы то ни было убедительные доводы доказали мне, что я заблуждаюсь», — говорил этот не признанный современниками триумфатор.

«Диктатор без диктатуры»; «блестящий ум... Блестящий и парадоксальный...»; «политический Торквемада[1]»; «необычайно оригинален, самобытен и смел»; «идейный консерватор»; «бунтарь люцеферического (!) Ренессанса»; «чистая жемчужина, в своей Оптиной пустыни, как на дне моря»; «явление христианина-эстета и романтика, жестокого и мрачного»; «Ум Леонтьева, — скажу, гений его, — был какой-то особенный»; «русско-православный Жозеф де Местр[2]»; «ницшеанец до Ницше», «русский Ницше» и даже — «plus Nietzsche que Nietzsche meme»[3]; «турецкий игумен»; «Сулейман в куколе»; «Алкивиад»[4] («Все Филельфо и Петрарки проваливаются, как поддельные куклы, в попытках подражать грекам, в сравнении с этим калужским помещиком, который... был в точности как бы вернувшимся с азиатских берегов Алкивиадом, которого не догнали стрелы врагов...»); «националист»; «разочарованный славянофил»; «яростный апологет крепостного права во всех его проявлениях и проповедник «сладострастного культа палки»; «великий освободитель»; «реакционнейший из всех русских писателей второй половины XIX столетия»; «выбиватель стекол»; «Кромвель без меча... в лачуге за городом, в лохмотьях нищего, но точный, в полном росте Кромвель»; «неузнанный феномен»; «Прошел великий муж по Руси...»; «он залил бы Европу огнями и кровью»; «изумительно чистое сердце»; «доходит до апологии доноса и совета высечь Веру Засулич»; «Он был какою-то бурей...»; «чародей», «чарующее впечатление...»; «Мальштрем... ревущий водоворот в Ледовитом океане»; «один из величайших и оригинальнейших выразителей самобытной русской культурной мысли, «вопиявший в пустыне»; «нерусский художник»; «мы имели перед собой черного-черного монаха, в куколе до облаков, с посохом в версту, который дико и свирепо... начинал дубасить этим посохом

по голове либерала...»; «открыт чистейшим лучам верховных идеалов»; «империалист»; «Великий Инквизитор» (прообраз героя Достоевского); «киевский бурсак Хома, на котором сидела чародейка-красавица»*; «безумный романтик»; «Старый, как Сатурн...»; «новый человек, модернист, несмотря на свое реакционерство»; «Иаков», который «боролся с Богом в ночи и охромел, ибо Бог, не могши его побороть, напоследок повредил ему «жилу в составе бедра»; «сильный богоборец»; «*феномен*, а не *сила*... fata morgana Мальштрема, а не *он* в действительности»**; «демонист»; «мракобесец»; «язычник»; «католик по духу»; «одинокая и единственная в своем роде душа», «великий ум и великий темперамент»...

И, пожалуй, все это (сказанное о Леонтьеве в основном после смерти его) умещается во впечатлении В. В. Розанова (вообще ярче всех писавшего о нем): «С Леонтьевым чувствовалось, что вступаешь в «мать-кормилицу, широкую степь», во что-то дикое и царственное (все пишу в идейном смысле), где или голову положить, или царский венец взять. ...я по всему циклу его идей, да и по темпераменту, по границам безбрежного отрицания и безгранично далеких утверждений (чаяний) увидел, что это человек пустыни, конь без узды, — и невольно потянулись с ним речи, как у «братьев-разбойников» за костром».

И хотя выписанным далеко не исчерпывается все — неизменно интригующее, фантастическое по стилю, — что сказано о Константине Леонтьеве в России и зарубежье, — вырастает из этой, *типичной*, мозаики восхищенья и гнева, изумления и «священного ужаса», — вырастает нечто мистическое, головокружительное... Воистину: не человек — ЛЕГЕНДА. Человек, подобный не только людям, уникальным, издавна знаменитым во всемирной истории, от Алкивиада до Кромвеля, от библейских героев до столпов европейского духа, но подобный самим могучим явленьям природы — от Мальштрема до аравийской пустыни и русско-азийской степи...

Тут понадобились и литературные герои: от созданных Пушкиным («Братья-разбойники», да и, собственно, фон, глубокая перспектива «Цыган») до героя «севильской» Легенды Ф. М. Достоевского, при эпических, колдовских видениях Гоголя между ними... А Розанов, кажется — даже и бессознательно для себя, «списал» для Леонтьева и кое-что у Тургенева, из рассказа «Певцы», — о памятном с детства Яшке-*Турке*: «...от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль»; «Не одна во поле дороженька пролегала», — пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. ...Песнь росла, разливалась. ...голос его... дрожал... той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянью зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому, багровому солнцу: я вспомнил о ней, слушая Якова»...

Что в этом образе птицы, *соизмеримой* с тяжко шумящим морем и закатом над ним? Не так ли соизмерим бывает порой человек с долгою ширью истории, когда одиноко, задумчиво и без страха стоит у кромки «темной бездны будущего» (К. Леонтьев), *знакомого* ему, как чайке — это грозное море?..

«Не одна во поле дороженька пролегала» — эти слова народной песни могут служить (заметим) своего рода эпиграфом к «безгранично далеким утверждениям (чаяниям)» К. Леонтьева относительно судьбы России, ее особого, не «всеевропейского» по природным задаткам пути,— до тех, впрочем, пор, пока сохранялись у него эти ч а я н и я, богоборческая вера в возможность исторического в ы б о р а для родной, любимой страны. Пока не отступил он — «в изнеможении страдальческого раздумья»—в свой трагический фатализм, в котором уж не было места русскому мессианству, ибо «зарос», одичал желанный путь, и в «этих липовых аллеях, этих березовых рощах, этих столетних огромных вязах над прудом» примерещился ему, «старому монаху и медику», даже и образ антихриста, рожденного в России. «Русское общество... помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути... и — кто знает? — ...и мы, неожиданно, лет через 100 каких-нибудь, из наших государственных недр... родим антихриста», — написал он тогда «с трепетом пророческого страха за свою дорогую родину».

А Тургенев с хрестоматийной страницей «Записок охотника» вспомнился неспроста. Как не зря, хоть негаданно для себя, «списал» Розанов, думая о Леонтьеве, свойства тургеневского певца... Они, быть может, не раз еще придут на память читателю Константина Леонтьева, давая некий эмоционально-психологический ключ к этой фигуре. Да и ведь не кто иной, как Тургенев, в 1851 году, благословил первые литературные опыты двадцатилетнего студента Московского университета, усмотрев в К. Леонтьеве дарование «замечательное». «Гениальный мастер прозы», — скажут потом те, кто читал леонтьевские романы, повести, публицистику, похороненные в России восемь десятков лет назад — казалось, на века... «Был по душе — художник во всех смыслах этого слова», — говорил в сходных случаях И. С. Тургенев; а когда раскрывал эти «смыслы», вот что читали мы — приложимое и к К. Леонтьеву, точно как к Яшке-Турку: «Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны»...

Но кто все-таки прав, где — правда в тех контрастных, полярных высказываниях о Леонтьеве-мыслителе, что были приведены? Чему должен верить читатель?

Все — правы. Всему — можно верить, понимая, однако же, все это как предварительный материал, который читателю предстоит самому проверить. Ибо яркое разноречье суждений или множество противоречивых правд есть свидетельство все же *не выработанной* истины, — зато как возбуждает в нас собственную, непредвзятую мысль!

Может быть, истину о Леонтьеве мы не выработаем и сегодня: слишком остросовременен он нынче, в наш день. Современней (*доступней*), чем сто лет тому, при всей утрате в России классической образованности. Часто — увидим мы — он даже и попросту злободневен: «злоба» нынешнего — национального, демократического, государственного — дня поразительным образом вскипает на его каленом, «пернатом» пере...

Окончательной истины он, кстати сказать, и не любил. Как и «окончательной гармонии», ее «последнего слова». Ибо та и другая — страшна. Как страшен к о н е ц. За которым уж н е т времен, нет движения мысли, нет народов.

И, быть может, ища, вырабатывая свое мненье о Константине Леонтьеве, мы увидим лишь, как, прогибаясь, удаляется горизонт, мы вернемся к той же «необозримо широкой» тургеневской степи, что уходит «в бесконечную даль», мы увидим все то же огромное, «низкое, багровое солнце». А какова истина с т е п и? (Пустыни? Бури? Мальштрема?..) Она, эта степь, сама — истина.

Так самоценна и леонтьевская мысль. Сам вдохновенный процесс, явление этой мысли. Ее великая простота. Вечная дерзость. Безбрежная свобода.

И пока ясно одно: перед ним, п р е ж д е в р е м е н н ы м Константином Леонтьевым, и после его смерти стояли как перед великой загадкой. Как перед «беззаконной кометой», беззаконной даже и для позднейшей русской философии — ее относительно тоже «расчисленного круга светил»... И вольно нынешней «Литературной газете» по-школьному хронологизировать: «В истории русской мысли Леонтьев — связующее звено между П. Я. Чаадаевым и В. В. Розановым». Это подобно тому, как считать... Пушкина «связующим звеном» между Державиным и Лермонтовым. Ибо Леонтьев не только масштабней своих предшественников и потомков, но, «беззаконный» (как тот, у Пушкина, «ветер» и «орел»), не мог никого связывать, быть переходом, мостом. Не имея наследников даже среди — в общем, немногих — восхищенных поклонников, он — прав В. В. Розанов! — «по существу... не имел предшественников».

Мы найдем лишь отдельные сходные черты между ним и «отцами» — будь то Чаадаев, или Герцен, или славянофилы. Сходные, а не общие (ибо общим тут было всерьез, пожалуй, одно: общая их, страстная любовь к России). И даже если говорить о «замечательном», по слову Леонтьева, Н. Я. Данилевском, *учителе* его, «который в своей книге «Россия и Европа» сделал такой великий шаг на пути русской науки и русского самосознания, обосновавши так твердо и ясно теорию смены культурных типов в истории человечества»*, — даже если говорить о Н. Я. Данилевском, то Леонтьев не только относится к нему, пожалуй, как колос — к драгоценному, отборно-семенному зерну, но и резко расходится с ним по столь важному и особенно дорогому тому вопросу, как вопрос о внероссийском, невеликорусском славянстве. Он расходится с ним *в пространстве*, в этнографической вере, размыкая чисто племенные, семейно-славянские границы, простирая взыскующий с о ю з а, культурного, духовного союза взор на малоазийский юг, в Северную и Центральную Азию, на «желтый» Восток, уповая — как позже А. Блок — *скинуться азиатом*, указуя «Европе пригожей» то примерно, что зыбится в «Скифах»:

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
. . . .
И день придет — не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!..

Славянин, великоросс (как не однажды подчеркивал сам, видя в великороссах духовное ядро славянства), он считал перспективным строить новый, сменяющий дряхлое, мощный культурный тип — из любого, какой не поддался эрозии, материала: из родимого камня, что «бел-горюч», белого лебедя-камня средне-русской гряды; из бирюзы Босфора; из горных тибетских пород; из жемчужных раковин Индийского океана; из порфира и мрамора вкруг православного Эгейского моря...

Так — привольно — построен был и собственный его дух. (Отчего и правы едва ли не все несогласные меж собою его толкователи.) На создание этого духа и впрямь потратились р а з н ы е века, р а з н ы е страны. Вдруг явив под Калугой древнего грека, средневекового ересиарха, рыцаря-феодала готических времен... Словно вправду некий Мельмот-скиталец, в историческом странном метемпсихозе, оказался однажды, зимой

* «Древние Афины, современная Турция. Оптина пустынь — всё одинаково, как бы в лунном мерцании, проносилось под ногами этого в своем роде киевского бурсака Хомы, на котором сидела чародейка-красавица (*Вий* Гоголя)» (В. В. Р о з а н о в).
** Здесь и далее курсив в цитатах— авторов; разрядка — моя. — *Т. Г.*

* Согласно этой теории, имеет место не единый поступательный общечеловеческий процесс исторического развития, не всеобщее движение мира по восходящей, но смена культурных типов (цивилизаций). Так, после романо-германской, или европейской, цивилизации должна утвердиться новая, самобытная славянская цивилизация, которая не наследует европейской, но обусловлена особыми культурно-этническими признаками, «оригинальностью племени». «Ибо цивилизация не передается (в едином истинном, плодотворном значении этого слова) от народов одного культурного типа народам другого», — писал Данилевский.

1831 года, подвешенным к потолку бани в селе Кудинове, завернутый в заячью шкурку...

Эта заячья шкурка, о которой рассказывал он (так выгревали тогда семимесячных, слабых младенцев), — тоже мета, «тотем», знаменующий его дух: Лес и Степь с нею тихо вошли, безбрежные, в ту слепую, волшебную, деревенско-дворянскую, простодушно-целебную баньку.

Посмотрите на его портрет — этот, 1863 года. Когда он *земную жизнь прошел до половины* (как вел счет Данте)...

Молодой царь? Принц из восточной сказки? Дворянин из Прованса? Сарацинский воин времен Саладина и Ричарда Львиное Сердце? Ясновельможный пан? Андрий из «Тараса Бульбы»? Серб «от Косова»? Итальянский граф? Гвардейский офицер — в архалуке: в отставке?..

К этой особенной, чистой, аристократической, *теплой* красоте можно примерить как будто любую национальную, любую сословную одежду: чалму и феску, соболью шапку Садко, огненный плащ Федора Стратилата (в сафьянных сапожках, с опущенным долу мечом: нежный покой вольно-новгородской иконы), шлем — «как колокол» (Пушкин), с Бородинского поля кирасу... Тесно и скучно романтической этой, грустью смягченной красоте — разве что в котелке, «дешевом сюртуке и панталонах»: слишком «простой, вторично-упрощенной одежде либерально-лавочной Европы», как говорил с презрением к пошлому вкусу «гамбетт»[5] этот, по первой видимости, «всечеловек» — удобный типаж для рекламы «всечеловека».

«Это вовсе не пустяки; это очень важно!» — замечал он по поводу столь *малосложного*, крайне уже *буржуазного* костюма эпохи, с ее «безобразным кепи», выморочным «фрачно-сюртучным» стилем. «...Внешние формы быта, одежды, обычаи, моды... все эти внешние формы, говорю я, вовсе не причуда, не вздор... это *неизбежные пластические символы идеалов*, внутри нас созревших или готовых созреть...» — подчеркивал он и, когда уж оставил дипломатическую службу, постоянно носил, «отрясая романо-германский прах», хорошо сшитую русскую поддевку, которая не мешала его «благородной и красивой барственности» и была сообразна его «русскому сердцу».

«Мое русское сердце», — не раз говорил он, сознавая, хотя б и в славянском котле Балкан, где столько лет прожил, свою родовую особенность, несливающуюся окрашенность своих идеалов и чувств. Он, кому внятно было все: и «острый галльский смысл, И сумрачный германский гений...» («Дух Леонтьева не знал, так сказать, внутренних задвижек...» — утверждал Розанов), — отнюдь не был, однако, «гражданином мира» в современном, пустом значении слова. Не был и многоликим Протеем, ибо при всем «разноцветном» богатстве обладал нерушимым е д и н с т в о м личности. Был в нем — за всей многогранностью черт и «свободных», далеких друг другу возможностей — некий магнитный стержень, что «притягивал», заставляя держаться вместе, не отлетать, помнить свою орбиту, все эти камни и грани.

«*Форма*, — говорил он, — *есть деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться*. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет».

Это, согласно Леонтьеву, закон всякого явления, имеющего самобытие. Его признаки, как бы их ни было много, не смеют разбегаться, растекаться, смывая границы оформленного единства, полного своей внутренней идеей, отграниченного от других самобытных явлений или текучих, аморфных сред.

«Растительная и животная морфология*, — продолжал К. Леонтьев, — есть наука *о* том, как оливка *не смеет* стать дубом, как дуб *не смеет* стать пальмой и т. д.» — при всей щедрости природных сил, отпущенных на их создание.

Какова же внутренняя идея личности Константина Леонтьева, обеспечивающая ему и духовное разнообразие, и устойчивое единство его духа? И в чем — соответственно этому — состоит о б щ и й п а ф о с его *феноменального* творчества?

Этот вопрос проясняется при погружении в его философию, его историософию, в ту практическую политику, которую он разрабатывал для России в своих статьях. Но этот вопрос в таком строгом виде его, пожалуй, даже и не ставился многочисленными оппонентами Леонтьева, которые упирались, как правило, в ту или иную грань его духа, не стремясь ни деспотически увязать эти грани, ни заметить их беспрестанную вольную игру на свету меняющейся жизни и как раз во имя удержания общей целостности.

Он любил слова «деспотизм», «стеснение», «дисциплина», «организация», «суровые узы», «ограничительность», «сдерживание» и даже — «железная рукавица»... Слова, столь далекие лексикону популярной в его (да и в наше) время *свободы*... Любил, а точней — не страшился их, обобщая их даже в совсем уже «мрачном» понятии *византизма*, вполне одиозном для его *просвещенного* века... *Византизм* воплощал у него идеал структуры, *организации*, иерархии и расслоения, неумолимого неравенства положений при всеобщей связанности, соподчиненности множества разнородных частей...

Жестки и *дики* (порой) глаголы Леонтьева — на «наш», немузыкальный, слишком уж «цивилизованный» слух, — когда он говорит о надобности «подморозить» Россию (подмываемую и *растекающуюся* в своей государственной форме, расслабляющуюся в национальном духе) или когда, как удар арапника, хлещет нас *негуманное*, «ярое» словцо «высворить» —про тот самый «византизм, который лег в основу нашей великорусской государственности, который и вразумил, и согрел, и (да простят мне это охотничье, псарское выражение) *высворил* нас крепко и умно»... Это, конечно ж, реченье ху-

* М о р ф о л о г и я здесь — наука о форме организмов или отдельных частей их, органов.

дожника — формотвóрца, знающего о несентиментальности всякого созиданья, при каком отсекается все нежизненное, слабое, лишнее, все, не способное к творческой тяготе гармонического единства.

Под архаическим именем «византизм» Леонтьев разумел «религиозно-культурные корни нашей силы и нашего национального дыхания», не видя причин «патриотически» обижаться этим термином, ибо, подобно Пушкину, считал: греко-византийское достояние так глубоко усвоено, органично претворено в русских национальных формах, что стало воистину «нашим русским православием и нашим русским самодержавием» со всеми самобытными отражениями «православия и православной государственности в нашей литературе, поэзии, архитектуре...»

«Организация есть страдание», — знал «византист» К. Леонтьев. Это, конечно же, ущемленье каких-то возможностей (добрых и злых). Но она есть и условие развития, трудного — сквозь препоны — самовыявления составных частей, их закалка и проба на прочность. Организация, или *стягивающий* деспотизм, по Леонтьеву, не исключает с в о б о д ы, но дает ей *положительное* содержание и оказывается даже залогом рождения ярких и сильных индивидуальностей. «Организация ведь выражается р а з н о о б р а з и е м в единстве, хотя бы и самым насильственным», — формулирует К. Леонтьев, не усматривая непримиримости меж стеснением и свободой. Дезорганизация же, напротив—безгрешная по части насилия, дорожит *отрицательною* свободой, нивелирующей (в итоге) ничем не стесненную, ничем не ограниченную личность. Крайность свободы, ставшей фетишем и абсолютом, — это крайность индивидуализма, когда лишенная уз личность гибнет: не связанная ни с чем, она ничем уж и не отграничена в море, толпе подобных же «раскрепощенных» пленников самодовлеющей, множащей свои отрицанья свободы. «*Свобода в однообразии*, — говорил Леонтьев, — это именно *дезорганизация*», то есть распад, ибо однородность, однообразие, унификация мира — знак чрезмерного его упрощения, разложения вплоть до первичных атомов.

Это кажется трудным для понимания лишь в силу шор, накладываемых на человека прекраснодушными, безответственными рассуждениями о свободе. Трактуя ее как безусловное благо, прекраснодушные «жрецы свободы» не учитывают ни природы человека, ни законов действительного б ы т и я людей и явлений мира, ни тех, несентиментальных, суровых законов творчества, согласно которым безудержный произвол (*чистая*, непомраченная свобода) возможен разве что в праздном, провальном эксперименте, но не в созидательном акте, всегда *ограниченном изнутри* велением строгой необходимости; не в творческом свершении, при каком всякий восторг и порыв дисциплинирован *чувством гармонии*, тайной и властной *острасткой* с ее стороны, не объяснимой на языке мер и весов...

«Государство держится не *одной свободой* и не *одними стеснениями и строгостью*, а неуловимой пока еще для социальной науки *гармонией* между дисциплиной веры, власти, законов, преданий и обычаев, с одной стороны, а с другой — той *реальной свободой лица*, которая возможна даже и в Китае, при существовании *пытки*...» — писал Леонтьев.

Это неуловимое соотношение — свободы и стеснений — действительно не только для государства — для любого оформленного, развитого, свершенного явления: и природы, и искусства... Но все-таки стоит заметить, что тайна *государства*, по Леонтьеву, — это тайна творчества. В этом смысле оно — тайна нации, создавшей его (будучи в то же время созданной им). Оно — тайна живого общественного материала, его природных особенностей, исторических обстоятельств, неповторимых условий его бытия, как и его воли к жизни, воли, вдохновляемой и воплощаемой *всегда конкретными* требованиями г а р м о н и и.

«Государство есть, с одной стороны, как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинуясь некоему таинственному... деспотическому повелению внутренней, вложенной в него идеи*. С другой стороны, оно есть машина, и сделанная людьми полусознательно, и содержащая людей как части, как колеса, рычаги, винты, атомы, и, наконец, машина, вырабатывающая, образующая людей. Человек в государстве есть в одно и то же время и механик, и колеса или винт, и продукт общественного организма» — так, космически, а не только «социологически» или «инженерно» понимал дело Леонтьев. Ведóмый сознанием с в я з е й, сложного, всесторонне соподчиненного с о ю з н и ч е с т в а всего сущего в мире, он равно не отчуждал друг от друга ни государство, ни человека (личность). Не «разметывал» на два «не сходящихся», не сотрудничающих меж собою полюса — с в о б о д у и д е с п о т и з м.

Именно этот объемный, творческий взгляд, как и внимательное изучение всемирной истории, привел К. Леонтьева к важному — нестерпимому для прогрессистов, устроителей планетарного счастья — выводу, все более очевидному, кажется, для потомков мыслителя: «Государственная форма у каждой нации, у каждого общества своя; она в главной основе неизменна до гроба исторического, но меняется быстрее или медленнее в частностях (!) от начала до конца».

В этом смысле р а з р у ш е н и е органически возникшей государственной формы есть гибель нации. А попытки примерить, перенять для себя чужую государственную форму (как бы ни была она хороша на своей почве) ведут к тяжелейшей мутации, вырождению национальной общности **.

* «Оливка *не смеет* стать дубом» — вспомним тут!

** В XX веке Россия дважды меняла государственную форму — в 1917 году (разрушение традиционной, национальной монархии); в 1990-м — введение президентства по западно-буржуазному образцу. Об этом следует помнить, думая о катастрофи-

Ну а если подытожить пересказанное выше из размышлений Леонтьева о законах структур — о законах устойчивой, развитой, плодотворной жизни, — можно сказать: деспотизм у К. Леонтьева всегда ограничен свободой, как свобода ограничена у него насущностью формообразующего деспотизма.

Все это было не только слишком «академично» для его «разночинческого», *мещанского* по преимуществу времени, но и равно «эпатажно» для всякого радикального, не признающего уз и стеснений (то есть связей!), а тем паче — *легального* либерализма. Это все не вмещалось уже под «типовым» потолком эпохи, опускавшимся ниже и ниже и бежавшим все далее в даль своими двумя линейными измереньями... Все это странно и для нынешнего раздробленного сознания, когда каждая «дробь» вдобавок спешит непременно к экстремуму, пытаясь затмить гипертрофией частности (чем является-то она) всю полноту мирозданья и многогранность мысли о нем... Все это сложно, ибо весьма адекватно жизни. Жизни, а не «идейному» вымыслу о ней...

Он любил сложность. Не ту ложную, грубую, претенциозную «сложность машин, сложность администрации, судебных порядков, сложность потребностей в больших городах, сложность действий и влияние газетного и книжного мира, сложность в приемах самой науки», — какою ознаменован так называемый *прогресс* и которую Леонтьев считал только «исполинской толчеей, всех и все толкущей в одной ступе псевдогуманной пошлости и прозы» ради того, чтобы выработать *среднего человека* по образцу европейского буржуа ***. Среднего—«среди миллионов точно таких же *средних* людей», самодовольных и комфортабельно-покойных... Леонтьев видел тут только сложность *средства*, «алгебраического приема», подчиненного вовсе несложной по своему содержанию цели — «всех и всё привести к одному знаменателю». «...Горы сравнять — хорошая мысль»,—говорил один из героев Достоевского в «Бесах», мечтавший *о* «полном равенстве» и обезличенности... «Цель груба, проста по мысли, по идеалу...» — в пику всем радикальным и либеральным уравнителям замечал К. Леонтьев, решительно противополагая внешнюю, чисто «инструментальную» сложность приема, тешившую его «прогрессивных» современников, — сложности, богатству *внутренней идеи*: науки ли, бытовых отношений или общественных установлений... То, что мы *с* серьезною миной, горделиво и снисходительно к прошлому зовем ныне «усложняющейся реальностью», «усложнившейся наукой» (с ее бесконечно-развилистой специализацией), «усложнившейся личностью» (как овражная местность, иссеченной нервозностью и рефлексией и не способной «собрать» себя перед лицом столь же расколото-унифицированного мира), — он почел бы как раз атомарным распадом, безнадежным упрощением, измельчением в пыль, где частицы, при всем их болезненном самомнении, неотличимы одна от другой, обреченные дальнейшему перемолу и пустому кружению в черном зеве холодного и безлюдного космоса — самогó великого Хаоса, вернее сказать, ибо и дух перемолот, развеян, забыт уж за суетной сложностью.

«Усложненную личность» какого-нибудь современного «интеллектуала» с его «грошовой» оптимистической наукой и электронными комбайнами, силосующими всесветную «информацию», он почел бы уж вовсе вымороченным наконец «средним человеком», который претил ему (как и Герцену, и Салтыкову-Щедрину, и Достоевскому) еще столетье назад, и расценил бы его нынешний — технократический — «кесаризм» как уж просто «5-й акт европейской трагедии» — разложения цивилизации. Такого *среднего*, слишком несложного и стандартного человека (при всей видимой сложности атрибутов прогресса, сопутствующих ему), а буквально — «среднего европейца» (ибо именно в Европе, после революции 1789 года, был канонизирован этот типаж: *сделан в Европе!*), Леонтьев считал не только продуктом под гору идущего исторического процесса, но и «орудием всемирного разрушения». Разрушения красоты. *Поэзии*. Религии. Культуры. Государств. Наций. Самой природы... То есть опаснейшим в своей катастрофической упрощенности монстром, если иметь в виду существование человечества.

Сложность, по Леонтьеву, — это одухотворенность. О-смысленность (охваченность Смыслом). Созидательность, а не, скажем, ползучая *изобретательность*, пусть та способна, быть может, набросить свои губительные тенета на само звездное небо.

Он ценил сложность нерукотворного мира, истинно зреющего — набирая неповторимые черты — явления, сложное разнообразие творчески организованной жизни. Сложность цветка, например, — этого «высшего, сильнейшего выражения» дерева или травы, на которых расцвел он, обещая и сложность плода, невместимую все же в «базаровскую» схему азота-кислорода...

К. Леонтьеву принадлежит поэтический термин: «цветущая сложность», который он ввел в русскую философию, обозначая им *высшую стадию* бытия и растительного, и животного организма, и космических тел, и отдельного homo sapiens, и человеческих обществ, и государств. Это

ческом состоянии русской нации, усугубляемом в ходе насильственных этих изменений. Потому и закономерны вспыхнувшие сегодня мечты «вернуть нацию в культуру создавшей ее государственности» (К. Леонтьев).

*** Леонтьев замечал, что и западный рабочий, хоть бы парижский коммунар, имеет своим идеалом — стать буржуа, и это остро вспоминается сегодня, когда слышишь рассуждения о каком-нибудь «шведском социализме», о парадоксально перевернутой судьбе «революционного класса» в «развитых странах», где наличествует, оказывается, «социалистический капитализм» — братское слияние «труда и капитала».

термин из леонтьевской *теории развития*, гипотезы развития, как еще говорил он, называя ее порой и своим «великим открытием». «Что такое процесс развития?» — спрашивает Леонтьев в главной своей работе — «Византизм и славянство», — которая и поныне является еще тайной гордостью русской мысли: скрыта от широкого читателя!.. Отделяя *развитие* от распространения, разлития, всех экстенсивных и механических процессов (вроде «распространения грамотности» или же нынешнего «умножения технологии»), К. Леонтьев указывает на три фазы в жизни всякого явления: 1) первоначальную простоту (семени, зародыша, младенческого состояния и т. п.); 2) цветущую сложность (единство в разнообразии составных частей, ярко выразивших себя, пребывая меж тем, в «организующих, деспотических объятиях» общей внутренней идеи явления, которая «ограничивает... разбегающиеся, расторгающие стремления» в нем; это наглядно, скажем, в соцветии); 3) вторичное упрощение (постепенное смешение, уравнивание самобытных свойств отцветающих, увядающих частей, ослабление связи меж ними, вообще уменьшение числа признаков, явственный путь к первобытной простоте: дряхлеющие организмы более схожи между *собой*, чем те, что переживают расцвет; костяки менее отличимы друг от друга, чем живые, одетые плотью тела, и стремятся уж прямо к первичной, *свободной* молекуле фосфора, «неорганической нирване», к полному *слитию* со средой, потоплению в ней).

Эту теорию развития, столь понятную в приложении к живым организмам, миру природы в целом, можно, однако, назвать вообще учением о форме. О том, где начало и конец того или иного явления, заслуживающего называться собой, имеющего бесспорное бытие. О том, как «сгущаются» в своей непреложности его отличительные признаки и как расточаются, раскрепляются, растворяются, смешиваясь с окружающими объектами, *свободно* плывут в небытие...

Учение о форме — это, конечно, учение об *организации* с принципом единства при цементирующем начале — не костенящем, но обеспечивающем явлению сохранность. И об этом была уже речь в связи с самой личностью К. Леонтьева, а также свободой и деспотизмом применительно к жизни государства,—ибо леонтьевская теория развития самочинно пронизывает все темы, которых касается он, объясняя при этом и его самого как вместилище духа, как живой характер.

Идея единства заведомо требует объектов единения: их множественности и разнородности. «Цветущая сложность» — вершина развития — воплощает как раз торжество насыщенного разнообразием единства, основанного на той или иной общей внутренней идее. В цветущем государстве—это многосословность, социальная многослойность, многокорпоративность, многоукладность, даже разноплеменность, «разнохарактерность областей», сложная «бытовая узорность», пестрота нравов, вкусов, обычаев, разнообразная самобытность всякого местного творчества (в раме разнообразной же местной природы), неравномерность экономических положений и политических прав, упругая гармоника горизонтальных связей и развитость иерархии с безусловною ценностью всех своеуместных звеньев. Принципиальная антиприоритетность при принципиальном, *естественном* неравенстве. Достаточно стойкие «перегородки» меж самобытностями (охраняющие каждый из этих миров), *подвижные* лишь «по краям» (так что торговец пирогами может *вообще говоря* стать генералиссимусом, как Александр Меншиков, а «архангельский мужик», выросший на *своей* сильной, непорушенной почве, — целым российским «университетом»)...

Все эти «разно-» и «само-», при обилии их, ясной выраженности и крепости, в каждом обществе, всяком крупном культурном мире держатся вместе *своей* внутренней идеей — прежде всего, по Леонтьеву, религиозной. Так, былая «цветущая сложность» романо-германского мира — высшей, в оценке Леонтьева, из известных ранее человеческих цивилизаций — единилась идеей папизма, мощным католическим духом, и ослабление единства, как и постепенное обесцвечивание «областей», началось с эпохой Реформации — от духовного *понижения* в протестантизме. «...Ни конституция, ни семья, ни даже коммунизм без религии не будет держаться», — предсказывал Леонтьев либеральным и радикальным вольнодумцам. «И семья, без иконы в углу, без пенатов у очага, без стихов Корана над входом — есть не что иное, как ужасная проза и даже «каторга», по замечанию Герцена»*, — добавлял он, убеждая в повсеместной необходимости некой *надличной*, достаточно строгой *сверхсвязи*, только и обеспечивающей бытие малой ли ячейки, пространных ли сот — всех сколько-то многосоставных, развитых явлений. «Живое, сердечное понимание «единства», — признавался Леонтьев, — стало доступно мне единовременно с принятием личной веры, обладанием которой я обязан афонским духовникам». И это закономерно, ибо идея религии (любой, самой «бедной»!) есть, в сущности, непременно чувство-идея связи, глобальной, космической, вбирающей в себя как частность все видимые сочетанья-союзы... «Я почти вдруг постиг,— вспоминал Леонтьев о «силе вдохнове-

---

* Справедливость этого с лихвой подтвердилась в наше время.

Но заметим попутно: славянофил, консерватор, Леонтьев высоко ценил Герцена. Не Герцена «Колокола», а — разочаровавшегося в европейских свободах, европейском просвещении, европейских «блузниках», наконец (пролетариях). Ценил — за ту «ненависть к всесветной буржуазии», что не вылилась в доминанту, как ни странно, у русских славянофилов. Ценил — за его, Герцена, тонкую любовь к красоте — «изяществу и выразительности самой жизни». И, конечно же, за его раскаянный, поздний взор в сторону России, не вполне еще оглушенной колоколом, эйфорически призывавшим к черной ночи уравнительного смешения, *цивилизованной* пошлости, *демократического* духовного небытия.

иия», охватившего его в 1873 году, «во время палящих Босфорских каникул», под вллинско-православным небом, — что и то реальное разнообразие развития, которое я находил столь прекрасным и полезным в земной жизни нашей, не может долго держаться без *формирующего... ограничительного, мистического** единства; ибо при ослаблении стеснительного единства произойдет скоро то самое *ассимиляционное смешение*, которое я зову то вгалитарным** прогрессом, то всемирной революцией».

Заметим сраеу, что «всемирная революция» в своей разрушительности касается не одних социальных миров, но всецелого мира природы. Что она может быть в разных обличьях — в том числе и в *гуманном*, о печатью просвещения и иаук на челе (*бескровная* революция!), и опознается вполне именно по своим разрушительным результатам.

Очень проста, по биологическому первоистоку, триада К. Леонтьева! Сложно — применение ее. Например, когда речь о вещах, рост и развитие которых не окинешь непосредственным, физическим зрением, как произрастанье зерна (от первых всходов до зрелого урожая) или дряхление, расслабление недавно еще могучего тела... Тут требуется огромная чуткость к ж и з н и, дабы распознать восходящие и нисходящие стремления в ней, тем более что последние часто бывают оснащены отвлекающими подобиями, суррогатами расцвета. (Ведь и чахоточный яркий румянец можно принять за свежайший «маков цвет»!) А особенно трудно, пожалуй, — оценить то таинственное, «полное контрастов» единение, что отличает собою «цветущую сложность», которая «развивается благодаря неравенству и борьбе»...

Мощь леонтьевской мысли проступает в своей классической красоте и смелости, когда он прилагает «простую» триаду ко «всей исторической эволюции человечества», к явлениям человеческого духа, судьбе иаций и государств, которые, по наблюденьям его, также подчинены «всеобщему вакону развития», согласно какому «все сперва индивидуализируется, т. е. стремится к высшему единству в высшем разнообразии (к оригинальности), а потом расплывается, упрощается вторично и понижается, дробится и гибнет».

Он прослеживает ступени развития разных народов и стран с их государственностью, национальными характерами, религиозно-культурными идеалами, искусством. Так, «цветущую сложность» Франции он усматривает в веке «Короля-Солнце» (Людовика XIV), а излет этого разномастно-единого по структуре *цветения* («эпохи творчества», как еще называл он) — в первой половине XVIII века. «Цветущую сложность» России опознает с конца XVII века и сохраненье ее — еще при Николае I. (И т. д.) Разворачивавшийся на его глазах, после революций 1848 года, этап развития старой цивилизации (европейской, с которой граничила Россия, попадая в сферу ее влияния) Леонтьев считал *третьим*, то есть *предсмертным*. Впереди могла быть либо смена культурного типа (по Н. Я. Данилевскому), создание новой великой и самобытной цивилизации — к чему, как долго веровал он, призвана Россия, — либо заражение России этим предсмертным европейским недугом, распространение далее на Восток западных ферментов гниения и распада (процесса широкого, длительного, на который не хватит одного столетья)... Леонтьев решительно говорит именно *о* гниении современного ему Запада. «...На Западе, н е с о м н е н н о уже теперь «гниющем»...» — повторяет себя же он в 80-х годах, глядя в уже совершенно «т у с к л о е «окно в Европу»; с цветочувствительностью живописца определяя особенный «серо-европейский» цвет деградирующей жизни; отвращаясь от «гнили и смрада новых ваконов о мелком земном всеблаженстве и аемной радикальной всепошлости».

Надолго задействованное, было, советской пропагандой, выражение о *гниении* Запада вызывает сегодня у многих недоверчивый, обывательский смех. Между тем выверенны, точны термины К. Леонтьева с их намеренной и, однако, ответственной резкостью. «...Япония, напр., тоже европеизируется (гниет)», — с горечью говорит он, давая прямой синоним: европеизация — гниение *. И снова и снова разъясняет недоверчивым или падким на соблазнительные обманы по поводу «цивилизованных стран»: «...*сложность приемов* прогрессивного процесса есть сложность, подобная *сложности какого нибудь ужасного патологического процесса,* ведущего шаг за шагом *сложный организм к вторичному упрощению трупа, остова и праха!*» А учитывая возможную протяженность во времени или ступенчатость этого рокового движения, вводит понятие «к р а й н е г о вторичного упрощения» (сходства и однообразия мира), или «о к о н ч а т е л ь н о г о упростительного смешения», соответствующего, пожалуй, уже нашему времени, когда распад или «всесокрушительная ассимиляция», по сути, ничем не маскируют себя, а напротив, подымают «победные» черно-рваные стяги, видимые повсеместно **.

Гниение — при всех житейских благах, а вернее, удобствах, предоставляемых цивилизацией, которая находится в стадии «крайнего вторичного упрощения», — принципиально характеризуется не этими удобствами (удовлетворением *искусственно созданных* потребностей), но общею *тупиковостью* внешне благоустроенной ситуации. Отсутствием перспективы... Слепым, комфортабельным движением в Ничто, в Никуда...

Леонтьев, добавим, не находил большого различия между двумя европейскими, западными путями — буржуазным и социалистическим (коммунистическим), заявленным тогда лишь в теории. Он полагал, что это два равноправных пути к бездне ***. Следя «разрастающуюся гидру *коммунистического мятежа* на Западе», он писал в связи с «восстанием недовольного труда»: «Для нас одинаково чужды и даже отвратительны обе стороны — и свирепый коммунар, сжигающий тюильрийские сокровища, и неверующий охранитель капитала, республиканец лавочник...»

В социализме, кстати сказать (за столетье до нынешних «левых»), он видел «*не что иное, как новый феодализм* уже вовсе недалекого будущего», разумея «слово *феодализм*... не в тесном... его значении романо-германского рыцарства или общественного строя *именно времени этого рыцарства,* а... в смысле *нового закрепощения* лиц *другими лицами и учреждениями, подчинения* одних общин другим общинам, несравненно сильнейшим...» А насчет конкретных осуществлений *этого* феодализма у нас — реалистически прикидывал: «...союз *социализма* («грядущее рабство», по мнению либерала Спенсера) с *русским Самодержавием и пламенной мистикой* (которой философия будет служить, как собака) — в т о ...в о з м о ж н о, но *уж жутко же* будет многим. И Великому Инквизитору позволительно будет, вставши из гроба, показать тогда язык Фед. Мих. Достоевскому». Социализм же «с человеческим лицом» (как две капли воды, похожим, конечно, на *лицо* его провозвестников), или «гуманный, демократический» социализм, следуя мысли Леонтьева, был бы без «р у с с к о г о Самодержавия» (ибо вообще говоря, да и говоря строго, «социализм есть *международность по преимуществу... высшее отрицание национального обособления*») и уж без всякой «пламенной мистики» (значит, без проблеска духа!), как лишено ее либеральное, «то есть капиталистическое», устройство «всесветной буржуазии».

Леонтьев смело ставил знак равенства меж «либеральным» и «капиталистическим»; «свободопоклонством» и практическим закабалением «труда» — капиталом. Либерализму «на экономической почве *всегда* соответствует бессовестное господство денег», —замечал он в 1880 году, и ныне, через 110 лет, мы в России имеем несчастье снова удостовериться в этом.

Но, как Лобачевский видел схождение в бесконечности параллельных линий, стереометрически видел Леонтьев схождение двух, вроде — взаимоотчужденных, европейских путей. Схождение в *их результате*, конечном их жизненном тупиковом итоге, в их равнозначном влиянии на судьбу мира... *Схождение в итоге* объясняется одинаковостью принципиальных тенденций в обоих путях, ложно враждующих (до поры) между собой. (Два крыла широкого европейского ворона рисуются тут...) Эти единые тенденции: всеуравнивание — смешение сословий, укладов, вкусов, характеров, полов, языков, самобытных культур, наций, слиянье их в некоей однородности не отличимых друг от друга «землян» (как не зря, увы, теперь говорят); прогрессивно-научное уничтожение природы, от которой все более отрывается *свободный*, гордый своим отчужденным разумом человек; идеология утилитарной «общественной пользы» и утопического «всеобщего блага», якобы достигаемого техническим прогрессом *...

Космополитизм и всемирная ассимиляция — вот, по Леонтьеву, единое знамя двух взаимосостязательных, ведущих в Ничто путей, которые отличаются лишь средствами достижения общей их уничтожительной цели.

Впрочем, он видел и социальное коварство «справедливого» и «разумного» всеуравниванья — буржуазного ли, коммунистического ли... Безусловное понижение человеческой породы в ходе всеоб-

---

* «Мистическое» — тут следует понимать также и как бессознательно соблюдаемое, таинственное, внерациональное — непроизвольно «исходящее из нужд самосохранения».

** Уравнительным или уравнивающим (от французского «эгалитэ» — *равенство*).

* Соединенные Штаты Америки Леонтьев не считал самобытным культурным миром или же очагом новой цивилизации. Они были для него лишь своего рода сточной канавой Великобритании и вообще Старого Света. И он полагал даже, что в результате «*насильственного отпадения упрощенной* заатлантической Англии» Британия замедлить смогла собственный процесс национально-культурного разложения: *смешавшись* и *упростившись* «вначале за океаном», она «тем спасла себя от внутреннего взрыва и от насильственной демократизации дома».

** Любой нынешний видеоклип дает ясный оттиск, «рентгеноснимок», именно тканевого распада мира, как и распада духа, сознания, — тиражируя и внедряя этот распад в психику и сознание поначалу обескураженного, а затем и вовсе «анестезированного» зрителя-слушателя. Грубая эклектика кадров, где хаотически мелькают *смесительно* накладываемые друг на друга, не связанные меж собой, с произволом *бреда* «выбранные» объекты (от аквариумных рыб до африканских младенцев, от фрагментов автокатастроф до нагих тел, «вплетенных» в адский пейзаж «каменных джунглей», пакгаузов или марсианских равнин, и т. д.), — сопровождается столь же разорванными, исступленными дисгармоническими звуками и *антитекстом* к ним, примитивность которого куда *проще, ниже* той первоначальной или «эпической простоты», что знаменует, по Леонтьеву, раннее звено «триады развития». Каждый такой видеоклип, злая окрошка из абстрагированных от людей и вещей их «бесхозных» изображений, есть примитивнейшая «метафора» некоего ядерного взрыва, гимн циклопическим осыпям, атомарному распаду вселенной, а вместе с тем — откровенно-циничная исповедь эпохи, которую можно назвать *посткультурной*, или же — техноцентрической *постцивилизацией*...

*** Читая некоторые публикации последнего времени о «двух дорогах — к одному сбрыву», вспоминаешь невольно слова К. Леонтьева: «Я уверен, что основательность моих взглядов оправдывается самой историей. Другие люди немного позднее или сами собой дойдут до этих взглядов, или просто-напросто (т. е. тщательно обо мне умалчивая) воспользуются моими мыслями...»

* Теперь очевидны и скрытые прежде подробности принципиального сродства (иль «взаимоперерождения») двух путей: от страстных забот о личных правах (абсолютных свободах) до максимального отчуждения людей от конечного продукта их механизированного труда с все возрастающей «правовой» обеспеченностью машины... Едина и технология усреднения человека и мира, присущая обоим вариантам третьей стадии леонтьевского «Процесса развития». Это — культ эталонов, стандартов: от «настоящего советского человека», малосложного «положительного героя», отлитого по заводской формовке, — до сегодняшних «мировых стандартов» всего, чтó, казалось бы, трудно свести к «одному знаменателю» — как человеческая наружность или произведения искусства. Само понятие «мирового стандарта», вожделенного «уровня мировых стандартов» есть убийственный приговор (самоприговор!) современному эгалитарному миру. Ибо, воспетый в роли ориентира, «мировой с т а н д а р т» (типовой образец!) — это всегда нечто среднее, заведомо усредненное, сколь бы «высоким» ни мнилось оно с чьей-либо субъективной точки зрения. «Жалкий идеал!.. Жалкие люди!..» — восклицал обо всем этом К. Леонтьев.

щей ассимиляции, сплошного смешения (которому служат и технические изобретения: «машины, пар, электричество и т. п.», убивающие пространство, время, тепло, холод, живые ритмы природы), усреднение человека по типовому, заниженному образцу не приводит, однако, к действительному равноправию. Так, «возрастание равенства гражданского, юридического и политического» (буржуазное «правовое государство») сопрягается, замечал Леонтьев, с увеличением неравенства экономического. А экономическое уравнивание (провозглашаемое «коммунизмом») ведет «к несравненно большему против теперешнего неравенству юридическому». Но, в отличие от прежних обществ и государств, новая «карта» неравенства сильно упрощена, сводясь «в идеале» *лишь к двум* полюсам, без особых градаций, пластических переходов меж ними (как бывало в сложных структурах). Это и дает основание говорить о неизбежном будущем рабстве — как в итоге «свободы, равенства, братства» на вывесках лавочных, «демократических» республик, так и при коммунистическом уравнительном максимализме... «Коммунизм в своих буйных стремлениях к идеалу *неподвижного равенства*, — провидел Леонтьев, — должен рядом различных сочетаний с другими началами привести постепенно... к новому юридическому неравенству, к новым привилегиям, к стеснениям личной свободы и *принудительным корпоративным группам, законами резко очерченным; вероятно, даже и к новым формам личного рабства... иначе названного...*» Такова, по Леонтьеву, диалектика на несамобытных путях, обреченных — уж в силу несамобытности — на печальное сходство. И совсем уже реквиемом по человечеству звучит леонтьевское предвиденье о создании «Все-Европы» (как говорил он), или «Общеевропейского дома», «Европы без границ» (как сейчас говорят у нас), а затем и космополитического, «смешанного и однообразного всемирного государства» при всемирном же (транснациональном) правительстве «прогрессивных» могильщиков народов. Это была бы *простейшая* по типу организация из всех существовавших государственных форм, с примитивнейшим составом насельников — и малосложных по своей «новой», усредненной природе, и малочисленных сравнительно с прежними временами.

Противоестественное «слияние всех нынешних государств Запада в одну республиканскую федерацию» рисовалось Леонтьеву-футурологу в самых мрачных реалистических красках. «Некому будет завоевывать ослабевшего и через меру демократизированного соседа; соседей отдельных не будет тогда; сами себя непременно и даже вполне легально и весьма искусно научатся уничтожать», — провидел он насчет этого (коммунистического? капиталистического?), равно логичного для обоих путей «рая» или парадоксальной смычки двух (единоутробных) идеалов. Обладая бесстрашием додумывать мысль до конца, Леонтьев ставил практический вопрос по поводу этой будущей патологической «федерации»: «Какой ценой должно быть куплено подобное слияние?» И отвечал с присущей ему беспощадной трезвостью: «На розовой воде и сахаре не приготовляются такие коренные перевороты: они предлагаются человечеству всегда п у т е м ж е л е з а, о г н я, к р о в и и р ы д а н и й!..» Он понимал, что «это новое Все-Европейское Государство» не только откажется «от признания в принципе всех местных отличий... всех, хоть сколько-нибудь чтимых, преданий», но посягнет даже «быть может... (кто знает!) сжечь и разрушить главные столицы, чтобы стереть с лица земли те великие центры, которые так долго способствовали разделению... народов на враждебные национальные станы». Враждебные — или *отдельные*, независимые... И разве не видим мы безжалостного этого сожжения, спешного разрушения на примере Москвы наших «перестроечных» дней, где горит то старинное село Дьяково на Коломенском холме, то квартира Сергея Есенина, то с асфальтом ровняется Поклонная гора, и бульдозеры, словно тати в ночи, хищно нацелены на последние островки «русского ампира», на задушенное автосмрадом Лефортово, на бесхозные, обветшалые храмы, — и великая при Леонтьеве, прекрасная столица России с облегчением сброшена уже со счетов учетчиками культурных центров в ЮНЕСКО?..

«Это ужасно! — предупреждал К. Леонтьев насчет возможного строительства всеединого, сплошного космополитического государства. — Но еще ужаснее, по-моему, то, что у нас в России до сих пор никто этого не видит и не хочет понять...»

Что до космополитизма, тогдашнее русское общество еще достаточно *понимало* известную аксиому «западника» И. С. Тургенева: «Космополитизм — чепуха, космополит — нуль, хуже нуля; вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет» *. И способно было сочувствовать леонтьевской мысли, которая, точно острый камень из праши, метко летит в сегодняшний день: «Дисциплина *национальных нравов* для обществ спасительнее самых привлекательных качеств *общечеловеческой нравственности...*» Да и правительство в России отнюдь еще не подбиралось по принципу варварской, органической ненависти к культуре, «цивилизованного» презрения к русской «народности», святым национальным ценностям... А «никто не видит» (как пишет Леонтьев) — *неотступности* эгалитарно-либерального, космополитического процесса; никто не разгадывает его многочисленных, разнообразных («сложность *приема!*») ловушек; никто, в благодушии,

* Это *сегодня* популярный журнал («Век XX и мир») рекламно выносит на обложку «Беседы космополитов», уверяя притом, что один из беседующих о *чепухе* — космополит академик Сахаров — является даже общей «вашей совестью» (далеко отлетевшей, стало быть, от совести русской: отсталой!). И это *сегодня* другой академик — Д. С. Лихачев (тоже, впрочем, «наша совесть»!) отважно дурачит нас увереньем: «Слово «космополитизм» вызывает у людей малосведущих (!) негативное восприятие». Он-то, видать, *многопосвященный* — в отличие от «малосведущих» русских классиков...

не хочет учитывать «того *крайнего идеала*, который существует в обществах»; не верит, что «люди непременно захотят испытать его», сколь он ни безумен и, кажется даже, неправдоподобен по степени своего безумья!..

К. Леонтьев не был противником прогресса, как бы ни клеветали на него по этой части. Что́, в самом деле, как не прогресс, — в движении от первобытной простоты к «цветущей сложности», который приветствовал К. Леонтьев во всяком явлении?.. Он дал, помянем тут, и замечательно точные характеристики з а с т о ю в процессе развития, застою, или нетворческому, «*простому* консерватизму», «*простому* охранению» достигнутого прежде состояния цветения; и этот момент застоя, «пауза» в развитии безрадостно оттеняет собой, по его мысли, «оригинальность *творчества (нового)*», то есть именно созидательный прогресс (являясь, впрочем, спасительным, желательным *замедлением*, если сравнить его с набирающим ускорение — стремящимся под гору — разрушительным движением).

«Новое» здесь, у Леонтьева, — это, конечно же, *ново-усложненное*, в чем усилена, умножена разнородность, кипит даже антагонистическая борьба под незримою сенью *примиряющего*, однако, ново-утверждающегося единства... Ибо все прочее «новое», сколь небывалым ни выглядело бы оно, — как раз не ново, а есть лишь понятная стадия вторично упрощающегося старого!

Настоящий прогресс, знал К. Леонтьев, — это «ход от простейшего к сложнейшему», а не просто движение «вперед». «Идти *скоро, идти вперед* — не значит непременно к высшему и лучшему... Идти все вперед и все быстрее можно к старости и смерти, к бездне», — напоминал этот и впрямь *великий освободитель* от фразы, от энтузиастической пошлости, от дешевых стереотипов сознания, сходного с умственным параличом или младенческим безмыслием.

Вопреки «господствующему духу времени» он упрямо ставил с головы на ноги ряды *перевернутых* в либерально-прогрессивном хмелю понятий. Не всякая *реакция*, считал он, враждебна *прогрессу* в настоящем смысле этого слова, — «напротив, всякая реакция, которая исправляет современное представление о прогрессе и дополняет его, является новым элементом прогресса». Великий освободитель от предвзятости, «цивилизованных» предрассудков и «общепринятых» косных схем, Леонтьев снимает с расхожих имен «реакция» и «прогресс», «свобода» и «деспотизм», «консерватор» и «либерал», наконец — «застой» и «движение» их огульно-оценочный, закрепленно-знаковый смысл, разъясняя сугубую относительность «твердых» наших оценок в м е н я ю щ е й с я жизни, предостерегая против односторонности и пренебрежения тем, что истина — вечно конкретна, что она *не живет* в отвлечении от реально сущей действительности, вне конкретных своих проявлений... Его диалектика — не сухая теория, не абстрактная догма, но свободное, чутко-подвижное сознание, основанное на здравомыслии, внесистемном и творческом «русском смысле», в частности. Этот дар не «ученой» — самочинной, практической диалектики (или «тайной свободы», присущей его духу) выдает в К. Леонтьеве художника, то есть, по-русски, человека гармонического, созидательного склада, чей слух открыт к тому, что́ «мера и красота скажет»... «А разобрал ли кто-нибудь внимательно и с твердостью здравого ума, что такое *регресс* и *прогресс?* Не просто ли это — свет и тень, жар и холод; только правая колея бегущей колесницы и левая... *Почему же только левая колея всегда хороша?* Почему на нее всегда должна склоняться эта колесница народной жизни?..» — спрашивал Леонтьев своих левоскособоченных современников, не видящих гибельно-*передовой* роли иных, ущербных по односторонности, идей и гибельно-передовой судьбы иных «вперед» убежавших стран. Он предчувствовал крушение исторической колесницы, если она, кренящаяся на одну колею, не выправит движения. И точно такие же вопросы, заметим, он способен был ставить в соответствующих обстоятельствах фанатикам правоколесного, правоколейного, столь же низвергающего, стремления! И если сам в сфере политики, идеологии объявлял себя консерватором, то — именно сообразуясь с современным ему, *третьим*, по его счету, этапом исторического развития, когда европейский (и русский) горизонт опасно румянился уже «заревом всемирного демократического и безбожного пожара» — усреднения, упрощения и распада того, например, что́ составляло величие «старой Европы», ее пышного, сложно-гармонического культурного, государственного здания... «*До дня цветения*, — учил К. Леонтьев, — лучше быть парусом или паровым котлом; после этого *невозвратного* дня достойнее быть якорем или тормозом для народов, стремящихся вниз под крутую гору, стремящихся нередко наивно, добросовестно, при кликах торжества и с распущенными знаменами надежд...»

Учил, — сказано тут. Только к этой науке надобно еще и — леонтьевское — чутье, верное ощущение *перемены* исторического ветра (гнущего кроны деревьев, сдувающего цвет), уловить которую бывает мудреней, чем рукотворный, гудящий «общим мнением», поверхностный «дух времени»!

Он был противником именно разрушительного «прогресса». Прогресса в том его лже-понимании, которое утвердилось в «век разума», с рационалистической философией французских энциклопедистов, став наконец «альфой и омегой» сознания и европейских «братьев-славян», и русских либералов вместе с радикалами «левой колеи». Леонтьев называл этот прогресс «либеральным». «Эмансипирующим». Признавал за ним имя «демократизации». Религии «научного знания». Наконец — «революции» (как разрушения

сословий, традиционных укладов и бытовых форм — под лозунгами всеобщих «громких *прав»).* Но предпочитал называть этот «прогресс», или ход от высшего к низшему и простейшему, *эгалитарным* — всеуравнивающим, всерастворяющим, — находя в этом термине «значение органическое... космическое, если угодно»,—учитывающее все области, все случаи торжества обманного прогресса. Точно так же он был и обличителем лжецивилизации, язвительным критиком вырождения той самобытной, «сложной системы отвлеченных идей (религиозных, государственных, лично-нравственных, философских и художественных), которая вырабатывается всей жизнью нации» и только и может считаться настоящей «цивилизацией, культурой».

Что до технического прогресса, выгодного «только для... *класса средних людей...* для буржуазии» («фабрикантам, купцам, банкирам, *отчасти* и многим ученым, адвокатам...»), то Леонтьев пророчил, с успехами его, «даже и непредвиденные *физические катастрофы».* То есть, по сути, экологическую катастрофу в недальнем будущем. И уповал разве на то, что «именно высший *разум* принужден будет выступить наконец... против... злоупотребления машинами... против всего этого физико-химического разврата, против этой страсти орудиями мира неорганического губить везде органическую жизнь, металлами, газами и основными силами природы разрушать растительное разнообразие, животный мир и самое *общество человеческое,* долженствующее быть организацией *сложной* и *округлой* (а не плоско-линейной. — *Т. Г.),* наподобие организованных тел природы».

Что до философии «всеобщего блага», будущего «земного всеблаженства», которая «духовно» облекает эгалитарный прогресс (и воплотится на деле якобы с помощью прогресса технического), Леонтьев смеялся над нею, негодуя, однако, что на службу (потребу) ей ставится христианство — скудное подвигом, низводимое до практичной, бездушно-*гуманной* буржуазной морали. И тут Леонтьев готов был вступить в гневный спор с любым «властителем дум» его времени, вольно, невольно ли подпевающим *«эвдемоническому* прогрессу» — лукавой или восторженной проповеди поголовного людского счастья как конечной цели социально-общественного движения. Он готов был вступить в спор с каждым (как увидит читатель, с самим Ф. М. Достоевским), кому «христианство... представляется уже не божественным, в одно и то же время и отрадным и страшным, учением, а детским лепетом, аллегорией, моральной басней, дельное истолкование которой есть *экономический и моральный утилитаризм».*

Ход истории неустанно доказывает суровую правоту «сакраментальной», *преждевременной* леонтьевской мысли. И сарказмы Леонтьева, уже не встречая ропота, ложатся сегодня в нашу умудренно-печальную душу. Кто, в самом деле, смог бы теперь опровергнуть вещую его трезвость, горькую, давнюю иронию: «...глупо ... так слепо верить, как верит ... большинство людей, по-европейски воспитанных, в нечто невозможное, в конечное царство правды и блага на земле, в мещанский и рабочий, серый и безличный земной рай, освещенный электрическими солнцами и разговаривающий посредством телефонов от Камчатки до Мыса Доброй Надежды... Глупо и стыдно даже людям, уважающим *реализм,* верить в такую *не-реализуемую* вещь, как счастие человечества, даже и приблизительное...»

Проницательный К. Леонтьев, оговорим кстати, вообще-то не верил в осуществимость «царства» собственно рабочих. Так, в связи со «злоупотреблением машинами» он полагал, что рабочий класс постарался бы «даже, вероятно, запретить их *драконовскими законами,* если только хоть на короткое время (!) действительная власть будет в руках людей этого класса или под их страхом и влиянием»... То есть — вел речь, по сути, о «правде» и «благоденствии» в *мещанской,* или «лавочной», «серой и безличной» республике (с обуржуазившимися разве что рабочими «наверху»). И замечал попутно: «Нет никакой статистики, что в республике жить лучше частным лицам, чем в монархии; в ограниченной монархии—лучше, чем в неограниченной; в эгалитарном государстве — лучше, чем в сословном...»—сомневаясь, что люди, «утратив некоторые старые доблести, стали при новых порядках гораздо счастливее прежнего» (а заодно — *лучше* или *умнее).* Не считая «венцом блаженства быстроту сообщений (*«бешенство бесплодных сообщений»,* как еще говорил он.—*Т. Г.),* теплые вагоны, разные удобства», отвергая *субъективное* мерило благоденствия и утопизм «всеобщего блага», он раздумчиво повторял, что «никто не знает, при каком правлении люди живут приятнее», и — снова камнем в одичалый огород нашего «гласного», «демократического» дня: «Бунты и революции мало доказывают в этом случае. Многие веселятся бунтом».

Так же смеялся Леонтьев и над христианско-марксистской, православно-коммунистической иллюзией «окончательного слова великой, общей гармонии», или «братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону». «Что такое *окончательное* слово на земле? *Окончательное* слово может быть только одно: — *Конец всему на земле!* Прекращение истории и жизни...»—с дерзким своим здравомыслием обескураживал он и «утилитарных мечтателей», и «наших *розовых* христиан». «Окончательное слово» гармонии, «братского окончательного согласия»—как известно, выражения из «пушкинской речи» Достоевского, который странным образом *уповал,* что «изречь» такое, *финальное* для человечества, слово призвана Россия... Леонтьев возражал Достоевскому и с точки зрения Евангелия (не обещающего подобной смертной идиллии), и с

точки зрения гармонии вообще, которую понимал как, пожалуй, никто после Пушкина. Совершенно по-пушкински ведал он, что «гармония не есть мирный унисон, а плодотворная, чреватая творчеством, по временам и жестокая борьба»; что *«гармония* — или прекрасное и высокое в самой жизни — не есть плод вечно-мирной солидарности, а есть лишь *образ или отражение* сложного и поэтического процесса жизни, в которой есть место всему: и антагонизму, и солидарности»... Леонтьев упрекал Достоевского в проповеди «космополитической любви», которую тот «считает уделом русского народа», «назначением благим и возвышенным». По Леонтьеву же, это был бы жалкий удел. Подменить свою самобытность податливой «всеотзывчивостью», ограничить свое широкое «культурное историческое призвание» *только* доброй, трогательной «всемирно»-братской сердечной открытостью, непереборчивою любовью ко «всему» человечеству, не внося ничего осязательно-своего, оригинально-нового, небывалого, неповторимого по материалу и духу в как бы *помимо русских накопленное* мировое достояние, — не странно ль, не жалостно ль мало для «великого народа»?.. Леонтьев находил в речи Достоевского и — неожиданное для этого писателя — принижение, *приземление* русских в чисто религиозном даже отношении: точно бы им не под силу мистические «предметы веры, вне и выше этого (исступленно «возлюбленного». — *Т. Г.)* человечества стоящие»... Он исходил, конечно, из куда более сложного и независимого «русского национально-культурного идеала»; из драматической сложности *сурового* (а не «розового»), «не уютного» (не адаптированного) христианства; из героического, неподкупно-*жизненного* существа *гармонии:* красота, а не нежная сладость отличает ее...

«Дорог не вечный мир на земле, а искреннее примирение после страстной борьбы и глубокий отдых в мужественном ожидании новых препятствий и новых опасностей, закаляющих дух наш!» — понимал К. Леонтьев, ради *вечности* самой *жизни* не ища «вечно-мирной солидарности», «вечного» благостного покоя — оцепенелого, «окончательного» объятья антитез... Эту природу гармонии, наравне с Леонтьевым, сообразно ему, и впрямь выявляла, пожалуй, разве что русская поэзия.

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...—

«по-леонтьевски» знала она от Пушкина до Блока...

Это строгое знание часто не по плечу «плачевной интеллигенции нашей» (Леонтьев). Так, слишком канонизированная в последние десятилетия, «пушкинская речь» Достоевского стала в сознании многих своего рода «окончательным словом» самой *русской идеи.* Между тем сполна оценить глубину, чрезвычайную важность леонтьевского спора с Достоевским можно бы как раз в наши дни. Дни, когда столь популярен *космополитический* «срез» православия, в муках возрождающегося (?) у нас — *сквозь* экуменизм, католический яд, соловьевский «христианский универсализм»: сквозь *заново потопительные,* «прогрессивно-гуманные» силы... Дни, когда «русская идея» в основном своем, изъезженном «русле», в массовом, бытовом, практическом сознании выродилась в русский сентиментализм, лирику этического мессианства — сомнительно-лестной «богоизбранности» на («плодотворное» для *всего* мира!) российское мученичество... В этой слезной, надрывной, бессильной романтике «тернового венца», самозакланья, «поступательного» безропотного «пути на Голгофу» *русская идея* едва ли не стала достаточно спекулятивной идеей юродства, связанного с изувеченностью неустанно истребляемой нации, с ослаблением ее физической силы, духовной мощи и властности. Вместо противостоянья, чем всегда является относительно внешнего мира всякое *самостоянье* (пушкинское слово!), — не только *непротивление,* но даже некий «энтузиазм» безвольной покорности или же рискового приятия всего *неприемлемого,* опасного для жизни нации... Этот энтузиазм, *всеотзывчивая* готовность к нескончаемому одностороннему «интернациональному долгу», ко всем — нарастающим — требованиям «цивилизованного» международного мародерства (с его моральным шантажом и рэкетом на «общечеловеческих ценностях»), — этот энтузиазм на месте сдерживающего инстинкта самосохранения, даже если проистекает из гордыни или некой бравады, ложной самооценки, завышенья реальных возможностей, причастен, однако ж, и к пафосу «всемирной любви», к той восторженности, нечаянному самоумилению «русского православного чувства», которые окрашивают предсмертную речь Достоевского и восприняты многими именно из нее, а не из куда более *сложных* по мысли, великих его романов*...

Экстатическая и при этом *программная,* «всемирная любовь» — самоубийственна для чрезмерно самоотреченного народа. Надуманная, она вовсе и не нужна-то для нормального, состязательного сотрудни-

* Пушкинская речь Достоевского достаточно выбивается «из ряда» и на фоне «Дневника писателя», писем и записей Достоевского последних лет его жизни, где немало гораздо более «жестких», тревожных да и безысходно-трагических пророчеств о судьбе России и русского народа. «Примирительная» с действительностью, с надвигающимся национальным будущим, речь о Пушкине позволяет допустить, что на пороге смерти писатель насильно, отчаянно желал найти свет (*искал найти* — хочется тут сказать!) в самой наплывающей тьме, нащупать спасенье для русских в самом «всемирном», добровольно-жертвенном их потоплении «за други своя» и за недруги... И вот обреченность, слабость, болезненная уступчивость, горделиво-несамолюбивая пламенная размягченность были облачены в ризы «сверхидеала», весьма далекого, кстати, от пушкинского, к какому вдохновенно возводится он. Это, собственно, трагическая (в своей заключительной части) речь, а не какая-либо иная. Глубина не высказанной (как бы отогнанной прочь от прямого взора) трагедии, быть может, и придала ей силу огромного эмоционального влияния на бессознательно увлекшееся *буквой* ее русское общество...

чества наций. Уважительного, взаимополезного сотрудничества, без нарочитых, «любовно-братских» поблажек и жертв... Разливанная же, непрошеная «всемирная любовь» — знак некоей дряхлости («Разве мы в самом деле так молоды?» — сомневался Леонтьев насчет возраста России и русских), знак бесконтрольной расслабленности сердца, усталости, помутнения сбившихся, воспаленных чувств (что бывает, однако, и с чувствами целого народа). Не случайно «всемирная любовь», «всечеловеческий» пафос «братства», названного *родства* (вместо соседства) оказались морально-психологической почвой для успехов того агрессивного «интернационализма», который, легко *играя на этих лирических струнах*, имел в виду лишь циничную эксплуатацию бескорыстно любящего «брата всех людей» (как определил Достоевский «настоящего русского»), заложника некритической своей «вселюбви», неохватной «всемирности» на месте естественного, «узкого» — незаменимого! — долга *самособлюдения* жизнеспособной нации...

Что ж, когда в духовном стиле русских воцарилась жестокая романсовость вопреки эпическому «бессердечию» — величавости отношений с судьбой; когда «доброта» иль бескостная мягкость «коронует» себя Мономаховой шапкой Добра; идет измельченье Прекрасного в «гуманную» *красивость*, а шумливое «покаяние» с банковским «милосердием» окупают собой в комфортабельных душах Страх Божий, — пусть сегодня, кто может, подымет «железную перчатку», брошенную Константином Леонтьевым не Достоевскому — нам, в исход русского XX века!

«Гуманность есть идея *простая;* христианство есть представление *сложное*. В христианстве между *многими другими* сторонами есть и гуманность...» — разъяснял посреди «эпидемического помешательства нашего времени» К. Леонтьев. Но разве что один Иван Ильин, через несколько десятилетий, приговоренный з а м ы с л ь к смертной казни, но затем лишь «пожизненно» высланный из Советской России, подхватил творчески неслащавый этот леонтьевский дух!... Помешательство же т о г о, либерального еще, российского времени было манией демократического прогресса (по «психиатрическому» определению Леонтьева), который равно размягчал, подтоплял — для последующего смешения — все сферы жизни, включая, веру. «И дух высокий византийства От русской церкви отлетал....» — заметила в исходе первой мировой войны Анна Ахматова, никогда, кажется, не поминавшая Леонтьева... А он в опасении будущих катаклизмов (им предсказаны обе мировые войны с их *германским* финалом), еще в относительном дали от XX века, тосковал по некоему Лукоморью православия, по первобытным чертам веры, вставшей из трав меж разбитых мраморов Эллады, трав, проросших эти бессмертные, сливочно-теплые мраморы, давая о б щ и й с их резьбой и прожильями растительно-каменный узор... Его монашество (жизнь на греческом Афоне, тайный постриг в Оптиной пустыни) означало не постное, «скучное» смиренье, а *заветное* высвобождение духа для напряженнейшего служенья, напряженной, а не «всеумиленной» духовной жизни. Для любви, *не отдельной* от священного страха. Как не отдельной от праведного гнева. «Государство Православное не имеет права всё переносить молча!» — негодовал он в последнем своем пристанище, Троице-Сергиевой Лавре, за месяц до собственной смерти призывая кару на голову бывшего любимца своего Вл. Соловьева за его «папизм», разрушительный космополитизм, за либеральную пошлость безродно-универсалистской, римско-унитарной идеи...

Тип его аскезы, выросшей из византизма, из древнего греческого православия, строгую церковность его, ортодоксальную требовательность к исповеданию веры уподобляли испанскому какому-то фанатизму (времен Филиппа II, что ли), видя тут *знакомый* тип западного католичества. Знакомый... Ибо нельзя чувственно сравнивать с не знакомым... А быть может, все дело в том именно, что *не с чем* было сравнить. *Уже*, после стольких столетий русского православия, не с чем... И брали подручный пример. Хоть, возможно, подобные типы мелькали как раз в Московской Руси, подобный «по температуре» огнь пылал в груди «жестоконерстых» раскольников и ровно — ибо не на чуждом, противоборствующем ветру! — горел в киевских пещерах, в сени могучего Успенского собора первой на Руси Лавры, где шатровые ветви до недавних дней раскидывал, выстояв и последнюю даже войну, не белый, не розовый — *красный* конский каштан: с красными и темно-розовыми цветами в смолистых, фанельных своих канделябрах...

Он ценил католичество. Он любил мусульманство. Он находил «огромную поэзию» в каждой из этих великих мировых религий. Десять лет службы в русском посольстве в Константинополе, в русских консульствах на мусульманско-греческих, славянско-православных *турецких* Балканах помогли ему, считал Розанов, стать «первым из русских и, может быть, европейцев, который... открыл «пафос» (живую душу, настоящий смысл, поэзию) туретчины, ее воинственности и женолюбия, религиозной наивности и фанатизма, преданности Богу и своеобразного уважения к человеку». Это выплеснуто и в художественных его произведениях, гипнотических турецко славянских повестях и романах, слишком давно не переиздававшихся у нас, как ни насущно сегодня для русских вспомнить — «из первых рук» — *русский взгляд* на мусульманство, на неистощимый ислам, чтобы развить этот взгляд с нынешним опытом, а не повторять западные клише замешанного на бессилии и страхе «просвещенного», безрелигиозного, в сущности, высокомерия. «Союз, сближение, смешение даже с турками» — считал плодотворным для русских К. Леонтьев, если при этом «охранять слепо всё греко-византийское». «...Астраханские мусульмане... дороже нам русских либералов», — писал «странный» этот славянофил, ибо лишь во *взаимодействии с крепкими самобытностями* видел он выгоду для России, для «русского национально-культурного идеала». «Для достижения своей цивилизации русским выгоднее проникаться турецкими, индийскими, китайскими началами...» — чем возлагать надежды на слишком уже «проевропеенных» зарубежных славян, — уверял К. Леонтьев, полагая желательным не тесный «всеславянский» союз, а «лишь какое-нибудь *подчиненное тяготение*» западных, южных славян к России — «на *почтительном расстоянии*»... И сколь во второй половине XX века оправдалось это!

Везде уважая м о щ ь веры, восхищаясь незыблемой красотой чужого культа

и ритуала, он хранил абсолютную верность исповеданью отцов и гордился духовным величием древлего русского православия.

Его христианство обладало признаком с и л ы. Не метафизической и бесплотной, в вечно перенóсном, умозрительном или «эфирном» смысле, но также и в прямом. Дух античности — или п л а с т и к а д у х а, некая крылатая тяжесть, «плывущая», а не прогибающая землю, взмывающая, но не таранящая мирозданья, при всей своей внятной *весомости* для живых человеческих чувств, — не смел, по убежденью Леонтьева, отлетать от христианства.

Признак с и л ы тут не залог агрессии, как панически чудится программно «кротким» и «слабым», «незлобивым» и респектабельно «убогим», что способны оплести своей с л а б о с т ь ю, тонко-волосяной ее сеткой — как стальною с шипами проволокой — тело титана, изъязвив его мускулы, стреножив шаг. Признак с и л ы, по Леонтьеву, — не угроза агрессии, но возможность, условие о т п о р а, самостоянья, самособлюдения, то есть — признак б ы т и я всякого явления. Без признака силы нет феномена красоты, или (что равнозначно для К. Леонтьева) ж и з н и, дышащей полною грудью, идущей в естественный рост. И такие вот мысли о силе как о праве и долге, наконец и природном свойстве ж и з н и охранять себя (красоту) упрощали до полной плоскости... «Леонтьев — ницшеанец в славянофильстве, ницшеанец до Ницше... поклонявшийся силе, как красоте», — расчетливо выбирая слова, писал Н. Бердяев. То есть выходит, Леонтьев эстетизировал силу (пресловутый «культ силы»!), — н то время как, по К. Леонтьеву, напротив, сила собою, посредством себя эстетизирует ж и з н ь, внутренне оберегает живое, неотделима от жизни-красоты, служа е й. Ибо он — повторим — рассуждал не «с позиции силы», а с позиции ж и з н и, ее непосредственных и равновесных велений: ведь чтó есть *бессильная* (бессильная жить) жизнь? разве не смерть вырастает тогда за ее плечом?..

«Эстетика спасла во мне гражданственность...» — сказал однажды етот оптинский монах, «турецкий игумен», «западный романтик», «языческий» жрец г а р м о н и и, а по сути — великий реалист, славный своим «ярким и твердым патриотизмом». А загадочность, непривычливость его слов — оттого, что в нем неизменно торжествовала та «цветущая сложность», которую воспевал он во всяком развитом, свершённом, полном своей — неущербною — полнотой явлении. Внутренняя идея *гармонии* «беззаконно» жила в нем, недоступная сухому аршину «прогрессивной» иль копеечно-«гуманной» тенденции. *С точки зренья гармонии* оценивал он крикливо-«этический», в первых алых пятнах террора, современный ему эгалитарный мир и искал путь спасения для своей «дорогой родины»...

Порою он кажется обреченным титаном, который желает на всем скаку остановить историческую колесницу, а первым делом — русскую «птицу тройку», когда грудь коренника и передние ноги его занесены уже над обрывом... Но Леонтьев и сам все более понимал неостановимость этого «наводящего ужас» движения, видел, что имеющее начало имеет и неотвратимый конец; что не продлить *предназначенного* срока жизни никакому явлению (так, государства, по его исчислению, не живут долее 1000 — 1200 лет), ибо истощаются, усыхают «прежние принципы», прежняя внутренняя его идея — и, значит, возможности гармонического его бытия. «Дуб, сосна, яблоня и тополь недовольны теми отличиями, которые создались у них в период цветущего осложнения... они сообща рыдают о том, что у них есть еще какая-то сдерживающая кора, какие-то остатки обременительных листьев и вредных цветов; они жаждут слиться в одно, смешанное и упрощенное среднепропорциональное дерево», — как печальный садовник, говорил он о разоренной «общей картине» некогда пышного «Западного сада» — Европы. Которая стала только «примером *для неподражания* и больше ничего»...

Поразительно фаталистическое открытие его о бессчетных коварных ловушках «эгалитарного прогресса», который, как многоликий Протей, «принимает всевозможные формы и обманывает даже очень умных и даровитых людей...» Это часто — именно обратные с виду формы. Так, космополитический, стирающий национальную самобытность, сами нации процесс выступает, в частности, в форме национально-освободительных движений; национализм с незаметностью переходит прямехонько в космополитизм, «национальная политика» — в антинациональную практику. Этому повсеместному парадоксу, жестокой шутке истории посвящена *забытая* статья Леонтьева «Национальная политика как орудие всемирной революции» (1888), которая подытоживает давние его наблюденья, выраженые еще в классической его книге «Восток, Россия и славянство». Комментарии, кажется, лишь затуманили бы непреложную точность, «солнечную» по резкости ясность леонтьевской мысли о всемирном «оборотне» — разрушительной, нивелирующей мир «племенно-национальной» идее. Комментарием выступает, увы, сама сегодняшняя жизнь. Процесс государственного и национального «самоопределения» республик Прибалтики, скажем, служит с очевидностью не национальному строительству, но быстрейшему национальному разрушению, а с тем вместе, конечно, всемирному разрушению: спроста ли латышский, литовский, эстонский «национальный идеал» заявляет себя на деле стремлением жить по шведскому, или голландскому, или германскому — инонациональному — образцу, «среднепропорциональному» европейскому?.. И какой-то горький комизм, трагикомизм, незаметный по-прежнему

«даже очень умным» людям, — в том, что *очищенно-племенное* (национальное) единение, племенно-герметичное бытие нужно всего-навсего-то для достижения *инонационального* (а по сути — *ничьего!)* идеала; служит не самопроявлению нации, но, напротив, ее нивелировке! Нация «уточняет» свою кровную «чистоту», чтобы духовно как раз *зачеркнуть себя*, добровольно отказываясь от задач культурной неповторимости! Чужой политический строй, чужая (стандартная) конституция, чужой образ жизни, чужая эстетика-этика с неизбежностью вытесняют национально-культурный идеал бессмысленно-«чистой» нации разве что в зону музеев — «кладбищ культуры», этнографического шоу-бизнеса для услажденья туристов...

Об этом-то парадоксе и задумался некогда К. Леонтьев: «...племенной национализм в политике (освобождение и объединение славян, немцев, итальянцев) не дает никаких *национальных плодов в жизни»*, — заметил он. Объединенная (послегарибальдийская) Италия, объединенная (при Бисмарке) Германия позволили ему сделать неожиданное наблюдение: национально (племеннó) *однородному* государству (обществу) для культурной самобытности полезно... *раздробленное* состояние, способствующее разнородности (экономической, социальной — если не политической)*; национально *разнородному* государству (как Россия) необходима, напротив, *централизация*, власть объединяющей силы, насущно-полезной для каждой из национальных частей, составляющих такое *пестрое* государство...

«Группировка государств по *чистым народностям* ведет быстрыми шагами европейское человечество к господству *международности»*, — писал К. Леонтьев, словно бы упреждая предостерегающей мыслью сегодняшний распад великой страны, тысячелетней русской государственности на суверенные «национальные республики», спешащие к национальному самоубийству.

Леонтьев заметил также, что безудержная демократизация, внутренне уравнивающая общество — до однородной смеси, всегда трафаретная и насаждающая трафареты демократизация ведет к *денационализации*, сколько бы льгот и свобод для личного и национального развития ни сулила она...

Зачем не похожи мы на *иностранные* «правовые государства», на *чужие* «цивилизованные страны»?! — не об этом ли «сообща рыдают» наши республики в лице своих радикальных либералов, которые драпируются «национальной идеей», лозунгами «национальной самобытности», якобы обеспечиваемой стерильною племенною «чистотой»?..

К. Леонтьев исходил из того, что истинная самобытность (в том числе и национальная) в истоках — многосоставна,

* В этом смысле д в е Германии (ГДР и ФРГ) — залог большей национально-культурной самобытности немцев.

и сильна она — возможно широким взаимодействием с *неусредненными*, самобытными же стихиями... И стоит, быть может, только добавить, что нынешний, столь соблазнительный для той же Прибалтики «европейский» образец—всё менее *европейский*, если учесть стремительную *американизацию* достаточно безличной уже «в себе» Европы (и заведомую безличность расплавленно-смешанного «среднеевропеизма»): выплеснутые из Старого Света отходы его цивилизации словно бы с исторической мстительностью — час реванша! — заливают теперь гаснущий Старый Свет*...

Каков же исход? Где предел этой всеобщей безликости? Ради которой льется порой вполне национальная, «чисто» племенная, но *не освященная духовной самобытностью* кровь...

Нет исхода! Нет надежного предела нисходящему процессу! Он остановится — ради ли возрождения, в силу ли полной победы Небытия — разве что когда будет достигнута точка всецелого «исторического насыщения равенством и свободой». Возрожденье забрезжит, лишь когда насытившееся «равенством и свободой», добровольно обманувшееся человечество вдруг само ужаснется рабству, убожеству, тлену, в которые повергло себя, в которые повергнуто неукротимой волею Провидения...

И все-таки горечь, скепсис позднего Константина Леонтьева — не последний осадок, который дарован читателю. За всем и над всем этим — какой-то «беспочвенный», «бесполезный», исторически бескорыстный с в е т: светоносно само по себе ясное зрение, ясное знание, ясновидение — аполлонический дар, пусть и не предотвратить апокалиптической яви, эсхатологической «бездны мрачной»...

Выбор пути, предоставляемый нам, миру не тенденциозным, а *точным* топографистом К. Леонтьевым, есть разом и выбор, и обреченность, рок. И все-таки с в е т бесстрашного зрения, внания подымает дух, помогает с гордою головой идти спокойно, печально, во вседостоинстве человека к... хоть бы и к о т л о в а н у грядущего.

Мужество порождает мужество. Так и мужество леонтьевской мысли имеет своим плодом в нас странное, «немотивированное» достоинство: личное, национальное. Гордость великоросса пробуждается тут — над поблекшими было страницами, столько сказавшими о нашей нынешней жизни. Не обещавшими то, что, к нашим жалобам, не сбылось.

* Американизация не есть, разумеется, приобщение к какой-либо национальной культуре. Это нечто еще более общее, чем огульная усредненность «европеизма». Это — стандартизация при максимальной обезличенности, символом которой могут служить калифорнийские кладбища, замаскированные под парки, где меж деревьев попадаются «маленькие, величиной с две ладони, стальные плитки, вдавленные в землю. На них не то что нет эпитафий, нет даже имени человека, который здесь похоронен. *Просто номер могилы»* («Октябрь», 1989, № 8, с. 201—202).

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОРУДИЕ ВСЕМИРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ[7]

ПИСЬМА к О. И. ФУДЕЛЮ[8]

I.

Всё то, о чем я здесь буду писать, самому мне давно уже ясно. И ясность эта, прибавлю, до того печальна, что я счел бы за счастье ошибиться. Я праздновал бы великий праздник радости, если бы сама жизнь или чьи бы то ни было убедительные доводы доказали бы мне, что я заблуждаюсь. Боюсь, однако, что я останусь правым... Боюсь, как бы история не оправдала меня...

Я говорю, что эта мысль моя о разрушительно-космополитическом значении тех движений XIX века, которые зовутся «национальными», мне самому давно уже казалась столь поразительною, что я в известном вам сборнике моем («Восток, Россия и славянство») не счел и нужным даже подробно ее развивать. Я полагал, что и так она всем будет понятна, — стоит только *указать* на нее. Однако в этом я ошибся, как видно. Оказывается, что нужно больше фактов, больше примеров.

Я понял это из вашего ко мне последнего письма. Вы пишете мне так:

«...Необходимо прежде устранить некоторые задерживающие мою мысль препятствия. Так, например, на стр. 106-й I т. вашей книги встречаемся с такою мыслью: «Идея национальности в том виде, в каком ее ввел в политику Наполеон III, в ее нынешнем модном виде, есть не что иное, как тот же *либеральный демократизм*, который давно уже трудится над разрушением великих культурных миров Запада». — Вы очень часто высказываете эту же мысль, но опять-таки везде так же сжато и *кратко*. И эта мысль мне очень симпатична. Я чувствую, что она истинна, но только чувствую это, а не понимаю логически, ибо вы не даете никакого ключа к уяснению ее. Очень часто я обдумываю эту мысль; придумывал несколько гипотез в объяснение ее, но задачи все-таки не решил и поэтому обращаюсь к вам с просьбою о помощи. Почему именно можно со-поставить вместе идею национализма и либеральный демократизм, когда, по-видимому, они так противоположны: демократический процесс равняет все разнородное, упрощает его, а национализм обособляет разнородное, разъединяет разные народности. По-видимому, это так; но я чувствую, что в сущности тут одно стремление к смешению и слитию. Почему же?»

Я хотел было ответить кратко на эти ваши вопросы, но это оказалось невозможным. Я не мог удержаться. Обилие фактов, подтверждающих мою грустную мысль, до того велико, что одни только они, эти факты (как вы увидите), почти без рассуждений, потребовали не письма, а целой статьи.

Вы хорошо сделали, однако, что предложили мне все эти вопросы. Без вашего письма едва ли бы мне пришло когда-нибудь на ум взяться за этот труд. Я благодарен вам за этот неожиданный толчок. В мои годы писать прямо и преднамеренно для печати — какая, скажите, может быть особая охота, если не видеть сильного сочувствия, если *не ощущать* ежедневно своего влияния?

Когда *есть охота*, когда *пишется* — прекрасно. А *не пишется* и даже не думается о том-то и том-то — и это хорошо! Может быть, даже это и лучше.

Не говорите мне о «долге» или «пользе» общей! Для этого опытному человеку нужна та *иллюзия, которую* может дать только большой, невольно возбуждающий нас успех... Не говорите также по этому поводу и о христианстве. *Долга своевольной* индивидуальной проповеди христианство не признает. Церковь от верующего *такого* долга не требует: она, вы знаете, требует совсем иного, скорее противуположного. Не надо писателю-христианину воображать себя слишком полезным даже и тогда, когда его труды ни прямо, ни косвенно не противоречат церковному учению.

Значит — строгой религиозной *обязанности* писать политические статьи, даже и край-

не консервативного духа, не существует... Простительно, положим, было бы увлечение; но для подобного увлечения нужна, повторяю, та иллюзия, которую может дать только огромная популярность. Подобной иллюзии у меня нет, вы это знаете. Ее и быть не может. Зачем же мне принуждать себя к писанию? Зачем твердить все то же? В России, которую мы с вами оба так любим, *в общем* дела теперь идут довольно хорошо. Признаков утешительных, обещающих все большую и большую независимость духа нашего от либерального (т. е. революционного) Запада, пока очень много. Прочно ли все это, покажет будущее, которого мне уже *не увидать!* Значит, если Богу угодно, обойдутся отлично и без нас. Если же Богу *не угодно,* чтобы все эти добрые (антилиберальные) начинания наши принесли в этом будущем богатые и прочные плоды, то что же мы-то с вами можем противу этого сделать, — особенно я, на краю могилы?

Итак, в случаях, подобных этому, у меня нет ни свыше предписанного долга, ни иллюзии.

Остается охота или неохота и — больше ничего! Не грех, конечно, писать о чем-нибудь в известном духе, непротивном учению Церкви; но еще менее грех — молчать, когда никто не обращается к вам настоятельно с просьбой вразумления.

Было время, — лет десять, пятнадцать тому назад, — я еще мечтал своими статьями сделать какую-то «пользу»... Я верил тогда еще наивно, что я *кому следует* «открою глаза»... Вспомните мои *пророчества* о болгарах и сербах. Я постоянно оправдан позднейшими событиями, но не своевременной людской догадкой.

Теперь я разучился воображать себя очень нужным и полезным; я имею достаточно оснований, чтобы считать свою литературную деятельность если не совсем уже бесплодной, то, во всяком случае, *преждевременной* и потому не могущею влиять непосредственно на течение дел.

«Провидению не угодно, чтобы *предвидения* уединенного (одинокого?) мыслителя расстроивали бы ход истории посредством *преждевременного* действия на слишком многие умы».

Вот почему, не обратись вы ко мне с вопросами, не пришло бы мне и в голову вернуться еще раз к этому, как мне казалось, уже исчерпанному мною вопросу о *непонятном значении* и *вредных плодах той племенной политики, которую обыкновенно называют национальною.*

Для вас же собственно, для людей молодых и начинающих жить, я готов писать с удовольствием. Я стал писать охотно, письмо разрослось в целый ряд писем... И вот — я решился напечатать их.

Быть может, вам, юношам, удастся то, что мне не выпало на долю, — удастся заставить себя не только внимательно слушать, но и *отчетливо понимать.*

Дай бог! И для вас, *пока еще немногих,* но искренних и надежных молодых людей, я буду с радостью распространяться о том, о чем много и рассуждать бы, по-настоящему, не следовало, — до того все это ясно *по фактам,* по практическим результатам современной истории.

Ясно вот что:

«Движение современного политического национализма есть не что иное, как видоизмененное только в приемах распространение космополитической демократизации».

У многих вождей и участников этих движений XIX века цели действительно были национальные, обособляющие, иногда даже культурно-своеобразные, но результат до сих пор был у всех и везде один — *космополитический.*

Почему это так, не берусь еще сообразить...

Этот вопрос: *почему?* — вернее всего должен быть обращен к особой, не существующей, кажется, еще в отдельности науке, которую можно бы назвать *социальною психологией.* Я за подобное психологическое объяснение не берусь; я хочу здесь просто напомнить только в общих чертах, *как* все это происходило и происходит еще в наши дни.

Как это люди ищут одного, а находят постоянно совсем другое? Я намереваюсь начертить краткую политическую историю этого великого и почти всеобщего самообмана, но не берусь объяснять те внутренние душевные процессы (у главных ли политических деятелей нашего века, или у целых тысяч и миллионов, ими руководимых), — процессы, которые могли бы дать ключ к уразумению этой не только странной, но даже страшной истории.

Для меня самого это остается самой таинственной психологическою загадкой, которую разрешат только время и упорная, свежая мысль.

Политические *результаты видны.* Течение *событий ясно,* хотя и весьма извилисто. *Причины загадочны...*

II.

Первое по времени движение национального характера в XIX веке было греческое восстание 21 года. Правда, что сербы нынешнего княжества еще раньше греков восстали против султана, но и освобождение их было вначале весьма неполное, — и по шуму, и влиянию своему в Европе это движение было несравненно ничтожнее и бесследнее.

Я не стану говорить ни слова о долгой и геройской борьбе православных и полудиких в то время эллинов, — я полагаю все это достаточно известным.

Борьба была жестокая и неравная; она потребовала вооруженного вмешательства держав и завершилась Наваринской победой Европы над Азией, Забалканским походом Дибича и Адрианопольским миром в 29 году. Маленькая, *весьма оригинальная* тогда Эллада достигла ближайшей *национальной* цели своей. Не будучи еще в то время в силах объединить *все свое племя** и освободить его из-под власти турок и

* Миллиона 4 или 5.

англичан (на Ионических островах), эллины удовольствовались пока небольшим свободно-национальным государством в один какой-нибудь миллион. Но что же вышло? Большинство эллинофилов того времени ждали от этих возрожденных эллинов чего-то особенного в бытовом и духовном отношении. *Ждали и — ошиблись.*

Творчества не оказалось; новые эллины в сфере высших интересов ничего, кроме благоговейного подражания *прогрессивно-демократической Европе,* не сумели придумать. Как только удалились *привилегированные* турки, которые изображали собой нечто вроде чуждой аристократия в среде греков, — кроме полнейшей *плутократической* и *грамматократической*[9] *эгалитарности, ничего не нашлось.* Когда нет в народе *своих* привилегированных, более или менее неподвижных сословий, то богатейшие и ученейшие из граждан, конечно, должны брать верх над другими. В строе эгалитарно-либеральном неизбежно развиваются поэтому весьма подвижные и не имеющие преданий и наследственности плутократия и грамматократия. Новая Греция не могла тогда вынести царя своей крови, — до того вожди ее, герои *национальной свободы,* страдали *демагогическою* завистью! Она, эта новая Греция, не вынесла даже власти *президента* родной греческой крови, графа Каподистрия, и *его скоро убили.*

На чем же она, эта Греция, надолго (я доселе) примирилась? — На королях *европейского иноверного* происхождения, во-первых, а во-вторых, на — *конституции более либеральной, чем самые либеральные из западных. Греция оказалась даже неспособной* иметь *две палаты;* пробовали учредить какой-то более охранительный *сенат,* — не удалось! Все налиберальнейшие государства Запада (в том числе и Соединенные Штаты Америки) выносят две палаты. Греки (а кстати сказать, и сербы, и болгары) не могли к этой более консервативной форме привыкнуть. Итак, если в главных чертах своих учреждений греки (а также и югославяне) разнятся чем-нибудь от Европы, то разве тем, что, *не имея великих охранительных преданий* (католических, национально-аристократических, не имея легитимистов[10], ториев, прусского юнкерства, польской и мадьярской магнатерии и т. п.), они еще легче европейцев делают во всем лишний шаг — на пути того же *сословного всесмешения,* которое разъедает Запад со времени провозглашения «прав человека» в 89-м году.

Вообще оттенки в *учреждениях,* отличающие новую Грецию от Запада, очень ничтожны и *не характерны.*

Посмотрим теперь, как отозвалась в Греции национальная свобода на быте и религии. Быт, положим, еще довольно оригинален (смотри «Одиссея», «Аспазию Ламприди» и др. мои повести); но он *еще пока* оригинален, кое-где — благодаря турецкому владычеству, кое-где — благодаря спасительной дикости и грубости сельского и горного населения даже и в независимой Греции. Это — оригинальность *охранения* (*старого*); а не оригинальность *творчества* (*нового*). Охранение же от неразвитости, от отсталости ненадежно; надежно только созидание чего-либо *нового* или полунового высшими, более развитыми классами, за которыми рано или поздно, хотя или нехотя, идет народ.

Православие в селах очень твердо (тверже, пожалуй, чем в России), но оно неосмысленно, просто, серо и не в силах бороться с афинским поверхностным рационализмом.

Греческое духовенство жалуется, что в Афинах религия в упадке (значит, ослабело *главное обособляющее* от Запада начало); она (религия) гораздо больше дает себя чувствовать в Царьграде, чем в Афинах, и вообще под турком больше, чем в чистой Элладе. Есть и анекдоты по этому поводу очень выразительные.

Итак, *национально-политическая* независимость у греков оказалась вредной и более или менее губительной для *независимости духовной;* с возрастанием первой — падает вторая.

Разумеется, духовная зависимость от Запада, в которую впадают современные греки, остывая к православию, не католицизм (для искреннего стремления в Рим нужно быть все-таки религиозным; надо предпочитать одну мистическую веру другой вере, такой же мистической и церковной). Греки впадают в самую обыкновенную общеевропейскую рационалистическую пошлость... Опять *смешение,* сближение, сходство, *космополитизм идей* и *чувств.*

О быте, о жизни общественной не стоит много и говорить. Здесь — опять одни отрицательные отличия. Городской быт греков — та же Европа, только посуше, поскучнее, поглупее и т. д. Замечу кстати, что в общественном отношении есть даже весьма заметная разница между фанариотами[11] и афинянами, — *не к выгоде последних:* фанариоты изящнее, тоньше, умнее в обществе, афиняне — несколько пошлее.

Со дня освобождения эллинов и образования независимого Греческого королевства (из одной только четверти всех подчиненных чуждой власти греков) до 1859 и 60 годов ничего особенного на почве политического национализма не произошло. Было за это время два национальных восстания: польское 31 года и венгерское 48 года. *Они оба носили аристократический характер, и оба не удались.* Заметьте это: эта черта будет повторяться.

В 1859—1860 годах совершилось освобождение и объединение Италии. Наполеон III, *воображая,* что создает для Франции вечного союзника, достаточно сильного, чтобы быть полезным, и достаточно слабого, чтобы не быть опасным, — победил Австрию, но захотел остановиться на полдороге; оставив Австрии всю Венецию (область), он держал в Риме войско для защиты светской власти папы и т. д. Эти меры его не привели ни к чему. По-видимому, они были еще *слишком консервативны; они недостаточно служили* процессу *эгалитарного всесмешения* и *всеплоскости.* Виктор-Эммануил и Кавур обманули хитрого Наполеона посредством весьма сложного приема. На юге Италии Гарибальди завоевал Неаполитанское королевство и изгнал *древних охранителей Бурбонов.* На севере

сардинские войска разбили войска папы и отняли у него часть территории; в Тоскане и других местах произошло подстрекаемое Пьемонтом *народное движение* в пользу объединяющей короны Виктора-Эммануила, и в очень короткое время объединилась вся Италия, за исключением части Папской области с Римом и Венецианской области, оставшейся пока у Австрии. Через 6 лет (в 66 году) эта почти объединенная Италия заключает союз с Пруссией против Австрии и получает в награду Венецианскую область. И, заметьте, опять каким сложным путем: итальянцы разбиты наголову австрийцами при Лиссе и Кустоцце; но союзные им прусские войска в это же время стоят уже под Веной. В порыве отчаяния Франц-Иосиф, желая освободить для защиты Австрии те свои войска, которые должны действовать в Италии, дарит по телеграфу Венецианскую область Наполеону III. Италия этим парализована, ибо Наполеон отдает немедленно эту территорию Виктору-Эммануилу, и война в той стороне останавливается. Пруссия также прекращает военные действия на севере Австрии (она боится, между прочим, того, чтобы Франция не вмешалась со свежими силами в борьбу). Мир заключен. Но как? — Все в том же направлении *племенного объединения*, влекущего за собою *большое однообразие как в самой объединенной среде, так и по отношению сходства с соседними государственными обществами*. Силен ли или слаб был прежний германский союз с двумя большими державами во главе (Австрией и Пруссией), — это другой вопрос; *но он был в высшей степени оригинален*, то есть *истинно национален* и по внутреннему политическому устройству, и по внешней политической роли, и в особенности по общественным, бытовым формам. Пруссия не отнимает ни пяди земли у Австрии (она бережет ее на всякий случай, особенно против будущего славянского объединения); она только по мирному договору изгоняет ее из старого Германского Союза и образует новый, *более чистый, более племенной*. (Австрия пестрила его, так сказать, своим участием в нем.) Пруссия, в разной степени подчиняя себе государства севера и заключая секретные (до поры до времени) договоры с немецкими государствами юга (Баварией, Вюртембергом и Баденом), почти уже тогда объединяет все германское племя, за исключением 8 миллионов австрийских немцев и Эльзас-Лотарингии (действительно немецких и отторгнутых прежде Францией).

Настает 1870 год. Франция побеждена; Австрия парализована угрозами России, которая основательно хотела предоставить дело судьбам единоборства.

Объединение германского племени сделало еще огромный шаг: Эльзас-Лотарингия отвоевана, внутренний союз теснее, прусский король избран императором всей Германии.

Итальянское правительство, пользуясь разгромом Франции, тоже угрожает своей освободительнице, и *французские войска уходят из Рима, предоставляя папу его судьбе*. Итальянские войска вступают в Рим после незначительной стычки — и, как прекрасно выразился Данилевский, «всемирный город римского первосвященника обращен в столицу неважного государства!».

Объединение Италии и Германии теперь почти окончено. Италии остается приобрести еще лишь небольшой клочок от Австрии (признаюсь, забыл, как даже он и называется). Германии остается присоединить 8 млн. австрийских немцев и, пожалуй, наши Остзейские провинции, ибо если на нашей, русской, стороне, так сказать, идея *демократическая*, право *этнографического большинства* (эсты и т. п.), то на стороне немцев идея высшая *(культурная и аристократическая)* в этом вопросе. Когда *настоящее*, искреннее православие сделает в этом крае действительно большие успехи, тогда на нашей стороне будет право еще более высшего порядка; в пока, разумеется, один остзейский породистый барон сам по себе стоит целой сотни эстского и латышского разночинства. *Пока* мы еще в Остзейском крае служим все той же системе всеобщего уравнения. Все это так, я желаю говорить правду; но Германия, ввиду русской силы и панславизма с одной стороны, оберегает Австрию и не спешит отнять у нее ее немцев; а с другой, ввиду той же опасной русской силы, она при жизни Бисмарка не позволит себе воевать с Россией из-за одного Прибалтийского края, это было бы слишком глупо. Нападение на Остзейский край может быть *результатом* войны, одной из ее случайностей; но не будет *ее причиной* до тех пор, пока немцы управляются умными людьми.

Таковы факты международной внешней политики. Но что же мы видим во внутренней жизни всех перечисленных народов и государств, которые боролись перед глазами нашими с 1859 до 89 года? (Я пропускаю здесь нашу войну с Турцией, *которая была тоже более племенного, чем религиозного или чисто государственного характера*, о ней надо говорить особо.)

Все эти нации, все эти государства, все эти общества сделали за эти 30 лет огромные шаги на пути эгалитарного либерализма, демократизации, равноправности, на пути внутреннего *смешения* классов, властей, провинций, обычаев, законов и т. д. И в то же время они все много «преуспели» *на пути большого сходства с другими государствами и другими обществами. Все общества Запада за эти 30 лет больше стали похожи друг на друга, чем были прежде.*

Местами *более против прежнего крупная*, а местами *более против прежнего чистая* группировка государственности *по племенам и нациям* есть поэтому не что иное, как поразительная по силе и ясности своей подготовка к переходу в государство космополитическое, сперва всеевропейское, а потом, быть может, и всемирное!

Это ужасно! Но еще ужаснее, по-моему, то, что у нас в России до сих пор никто этого не видит и не хочет понять...

«Кто хорошо распознает болезнь, тот хорошо ее лечит», говорит старая медицинская поговорка...

Попытаемся же скорее, пока еще не поздно, распознать внимательно и смело тот недуг, которым страждет Запад; по-

пытаемся распознать его во всех его видоизменениях и нередко обманчивых формах...

И тогда только, когда мы, с трепетом пророческого страха за свою дорогую родину и с мужеством неизменной решимости, взглянем печальной истине прямо в глаза, тогда только мы будем в силах судить, во-первых, не болеем ли и мы, русские, тою же таинственной и сложною болезнью, которая губит западную Европу — *неорганически*, так сказать, *все в ней равняя*, — а во-вторых, далеко ли зашло у нас это самое разложение и есть ли нам надежда на исцеление — и *как*, и *когда?*

Ведь и у нас на востоке Европы идея либерального панславизма тлеет под пеплом... Как с ней быть? И отказаться нам от нее невозможно, невыгодно, и опасаться ее необходимо по аналогии.

Поэтому прежде всего, я говорю, *надо внимательно и подробно проследить эту племенную идею во всех ее проявлениях.*

III.

Поговорим теперь подробнее об Италии и о тех плодах, которые созрели в этой классической стране на почве *национальной политики*.

Италия еще в 1-й половине этого века славилась и своеобразием, и разнообразием своим. Близкая по племенному составу и языку к Франции и Испании, она весьма резко отличалась от них законами, духом, нравами, обычаями и т. п. Добродушная патриархальность и дикая жестокость, беспорядок и поэзия, наивность и лукавство, пламенная набожность и тонкий разврат, глубокая старина и вспышки крайне революционного духа — все это сочеталось тогда в жизни разъединенной и отчасти порабощенной Италии самым оригинальным образом. И кого же она тогда не вдохновляла?!

Байрон, гениальным инстинктом прозревавший грядущее демократическое опошление более цивилизованных стран Европы, бежал из них в запущенные сады Испании, Италии и Турции, — там ему дышалось легче!

О Франции он совсем почти не писал и, сколько помнится, и не был в ней. Англию ненавидел, на Германию тоже мало обращал внимания.

Самое лучшее, самое самобытное и зрелое его произведение — «Чайльд Гарольд» — все наполнено картинами этих одичалых южных стран...

Гёте Италии обязан «Римскими элегиями» и знаменитым характером Миньоны; Пушкин мечтал об Италии и писал о ней. У Жорж-Занд в романах есть множество итальянских характеров, обрисованных с особою любовью и даже пристрастием *. Alf. de Musset [12] любил Италию не менее других художников и поэтов. Италии же обязан Ламартин одним из лучших и живых своих произведений — романом «Грациелла». «Рим» Гоголя вам, конечно, известен.

Самая отсталость Италии, полудикость ее восхищала многих. Прочтите, если можете, у Герцена об Италии; у Герцена почти все, что касается политики, — бредни; но зато все, что касается *жизни*, — прекрасно. Все были согласны, что Италия не сера, не буржуазна, не обыкновенна, не пошла. Все путешественники восхищались разнообразием не только природы ее, но и жизни, быта, характеров. За Альпами начинался для англичан, французов, русских, немцев какой-то волшебный мир, какая-то прелестная разновидная панорама *от* Ломбардии до Рима и Сицилии. Говорят, даже экипажи, способы сообщения, упряжь — все было в то время разное. При этом Италия тогда была сравнительно бедна. Не было железных дорог, гостиницы были плохи, разбой, лень на юге и т. д. *Но все эти недостатки были необъяснимым и неразрывным образом сопряжены с теми именно привлекательными чертами, которые составляли отличительные признаки итальянской самобытности* (культурной, бытовой, эстетической). Искусства замечательного уже давно не было в Италии (за исключением музыки), *пластика отражений* в духе самих итальянцев иссякла; *но пластика жизни* зато вдохновляла иностранцев. Вот это настоящий обмен духовный, возможный только при сильной разновидности!

Раздробленная и подчиненная где Австрии, где Церкви, где деспотическим монархам, Италия стала на наших глазах Италией единой, политически независимой, политически уравненной от Альп до Этны, однородно конституционной, несравненно более индустриальной, чем прежде, с железными дорогами и фабриками.

Она стала больше прежнего похожа на Францию и на всякую другую европейскую страну. Изменения внешнеполитического положения и внутренних учреждений с удивительною быстротой отразились в изменении жизни, быта, нравов и обычаев, — вообще, в опошлении *тех самых картин духовно-пластических, на которых так блаженно и восторженно отдыхали вдохновенные умы остальной Европы.*

Усилившись, Италия почти немедленно обезличилась культурно. Как политическая сила, она все-таки остается презренной и не важной и не имеет будущего. Как явление культурное, она на глазах наших утрачивает смысл свой, ибо, конечно, не ей предстоит впредь вести за собою Европу, не ей творить, — нового творчества у нее впереди не будет; сохранить же поучительную поэзию старого своего творчества, великие остатки свои (я говорю не о камнях, а о жизни) она не смогла, увлекшись жаждой приобрести ту политическую силу, которая целые века не давалась ей при раздроблении и зависимости.

Но — увы! — раздробленная, она царила многим над другими (папством, искусством, странным соединением тонкости с дикостью и т. д.). Объединенная, она стала лишь «мещанин во дворянстве» сравнительно с Россией, Германией, Францией и т. д.; в политике — какая-то «переметная сума», у всех на пристяжке, и всеми, и везде побеждаемая; в быту — шаг за шагом — *как все!*

* Теверино, Лукреция Флориани, Пиччинино, Даниелла и т. д.

Я не могу подробно вам рассказывать здесь, как неприятно я был поражен уже 20 лет тому назад (в 69 году) в Болонье контрастом между остатками средневекового величия в соборе, в феодальном университете и т. д. и видом *серо-черной, такой же, как везде,* уличной, отвратительной, европейской толпы! С какою радостью я, переехавши море, увидал в турецком Эпире, куда я назначен был консулом, иную жизнь, — не эту всеобщую истинно проклятую жизнь пара, конституции, равенства, цилиндра и пиджака.

Да, впрочем, кто же из знавших Италию *прежнюю* теперь жив? — Никто. Но книги есть, картины есть, рассказы прекрасные есть. Сравните. Отыщите, например, описания *прежних* пышных папских процессий, *прежних* карнавалов, *прежней* Венеции, *прежнего* развратного и набожного, деспотического и ленивого, но обаорожительного Неаполя. Природа — та же, оригинальная, характер жизни, меняясь и меняясь, постепенно приближается все более и более *к общеевропейскому среднему уровню, к среднему типу*.

Замечу, что, живя еще в Турции, я вырезал из одной иностранной (не помню какой) газеты статью о том, что теперь, после войны 71 года, предстоит Риму (т. е. после вступления в папский Рим итальянского войска). В этой статье (быть может, клерикального происхождения) справедливо пророчили общеевропейское опошление жизни «вечного» города. И в ней говорили: «Процессий не будет, будет обилие фабрик и стачки голодающих рабочих; обычный комфорт заменит живописный беспорядок старого папского Рима» и т. д.

Мне очень жаль, что эта вырезка потеряна или уничтожена.

Об Италии я кончил. Очень полезно было бы привести побольше картин и примеров, но я не в силах этого сделать, ибо тогда эти письма обратились бы в серьезную работу, которая потребовала бы бездну цитат и справок.

Но нет никакого сомнения, что все эти справки поразительно бы подтвердили то, что я говорю.

Теперь о Германии.

«A priori» тоже без всяких справок и примеров можно сказать, что если какая-нибудь нация была долго разделена на множество государств, то в духе и быте ее, в ее нравах, учреждениях, обычаях и т. д. будет много разнообразия и своеобразия; а когда эта раздробленная нация сольется в единое государство, то неизбежно начнется процесс ассимиляции — сначала в верхних слоях, а позднее в низших. И факты подтверждают это. Стóит только вообразить католическую Баварию и Пруссию времен хоть Фридриха II или даже Наполеона I и между этими двумя крайностями Юга и Севера, католицизма и протестантства, представить себе Ганновер, С.-Веймар, Вюртемберг, Гессен-Дармштадт и т. д., стоит только поискать в библиотеках прежние описания тех стран и государств и прежние о них суждения как самих немцев, так и иностранцев, — и сейчас будет ясно, как много и как скоро стала изменяться Германия после 1866 и 71 годов, *изменяться к худшему в отношении собственно национальном — культурном, по мере возрастания политического единства, независимости и международного преобладания.*

Я говорю: «независимости» — в смысле относительном, ибо хотя все германские государства и самый Союз и прежде были *в принципе* так же независимы, как Россия, Австрия, Франция, Англия и Турция, но на деле старый Германский Союз был в международной политике слаб, нерешителен, зависим то от России, то от Франции (при Наполеоне I) и т. д. *Объединение*, значит, и в этом случае было солидарно с некоторой *эмансипацией*.

Была у Каткова одна большая и превосходная передовая статья о том, как прежнее разъединение Германии было плодотворно для ее богатой разнообразной культуры и как трудно ожидать, чтобы при новых порядках это богатство сохранилось. Что статья такая была — это верно, но когда была она напечатана — в 71 или 72 году, этого я указать не могу. Конечно, не ранее 71 и не позднее 72 г. (едва ли даже в 73 г.). Хорошо бы найти ее вам в музее *.

IV.

Есть у меня три небольших тома под заглавием: «Обзор современных конституций». Первые две части были изданы еще в 1862 году *людьми весьма либеральными*, как бы в «пику» нашему правительству, «что везде, даже и на Сандвичевых островах, есть конституции, а у нас нет». Конституционно-демократическое королевство с двумя палатами в этом сборнике представляется почти идеалом; я говорю «почти», ибо и республики, вроде швейцарской и северо-американской, пользуются у авторов большим уважением. Но, как бы то ни было, факты остаются фактами, и так как эта книжка впервые была издана в начале 60-х годов, когда о германском единстве не было и помина, то и она, изображая разницу между учреждениями разных немецких государств, даже и в $1/2$ нашего века может также служить для подтверждения того, что нынешнее национальное единство принимает *неизбежно нивелирующий, всеуравнивающий*, более или менее *эгалитарный характер;* сводит с первых же шагов всех и все на путь *чего-то среднего*, — сперва на путь большего противу прежнего *сходства составных частей между собою, а потом и на путь большего сходства с наияснейшим первообразом новой Европы — с эгалитарно-либеральной Францией*, уже с 89 года прошлого века стремящейся у себя уничтожить все сословные, провинциальные и даже личные в людях оттенки. Токвиль в своей книге «L'ancien régime et la Révolution» [13] первый стал жаловаться на то, что французы его времени (т. е. 30—40-х годов) несравненно более между собою схожи, чем были их отцы и деды. В 50-х годах Дж. Ст. Милль издал замечательную книгу: «О свободе». Книга эта, положим, весьма неудачно озаглавлена, — ее надо бы назвать: «О разнообразии» или: «О разнообразном развитии людей», — ибо она написана *прямо с целью доказать, что однообразие воспитания и положений, к которому стремится Европа, есть гибель*. «Свобода» тут у него вовсе некстати, ибо от него как-то ускользнуло то обстоятельство, что именно *нынешняя свобода, нынешняя легальная эгалитарность*, больше всего и способствует тому, чтобы все большее и большее количество людей находилось в *однородном положении* и *подвергалось бы однообразному воспитанию*. Однако, несмотря на эту грубейшую и непостижимую ошибку, в этой книге Дж. Ст. Милля есть драгоценные страницы и строки, его же собственный либерализм беспощадно опровергающие; он тоже цитирует Токвиля и жалуется на современное однообразие англичан. В 50-х годах (кажется) вышла немецкая книга Риля «Страна и люди» («Land und Leute»). Риль говорит, что в средней Германии слишком все уже *смешалось*, что там нет глубины и оригинальности и что остатки этой глубины духовной и оригинальности бытовой надо искать или на юге Германии, или на крайнем севере. Книгу эту, впрочем, я читал так давно, что не хочу указывать самоуверенно на те частности, которые остались у меня в памяти (не считаю себя вправе вполне доверять ей); помнится только, что природа (лес, пустые места, горы и т. п.) играет в этой книге Риля более значительную роль, чем учреждения. Но это не беда: природа (особенно до изобретения паровых и электрических сообщений) влияла, как всякому известно, глубоко не только на общие нравы и личные характеры, но и на учреждения. И, наоборот, учреждения (особенно при нынешних средствах сообщения) глубоко влияют на природу. Общество везде ныне жестоко подчиняет природу (в том числе и личный характер, *натуру* отдельного лица). Например, при глубоко сословном строе времен Государя Николая Павловича едва-едва решились у нас построить железную дорогу между двумя нашими столицами. *Не было потребности;* было меньше междусословного *уравнивающего движения*, было гораздо меньше надежд и мечтаний *переменить свое положение* и меньше поэтому потребности *переменить свое местожительство*. Движение всякого рода было тогда умереннее; положения были устойчивее, образ жизни в каждой общественной группе (у дворян, купцов, у белого духовенства и крестьян) был постояннее, тверже и, вследствие этого, обособленнее в каждой группе. Только самые сильные в худом и в хорошем направлении, даровитые или особенно счастливые и хитрые люди, или особенно оригинальные вырывались из своей группы так или иначе, — добром или злом, но вырывались. Вместе с усилением свободного движения *личной воли*, хотя бы и дурацкой, *личного рассужденья*, хотя бы и весьма плохого, с освобождением и от духа сословных групп и от общенациональных старых привычек усилилась и потребность физического движения; большое количество людей захотело ездить, и ездить скоро; *скоро менять и место, и условия своей жизни*. Построилось вдруг множество железных дорог, стали вырубаться знаменитые русские леса, стала портиться почва, начали мелеть и великие реки наши. *Эмансипированный* русский человек восторжествовал над своей родной природой, — он изуродовал ее быстрее всякого европейца. Таких примеров и обратных — бездна.

Природа, *«натура»* человека, *учреждения*, быт, вера, моды — все это органически связано.

Едва ли, например, *слишком уравненная* почва нынешней Франции даст достаточный ход какой-нибудь *сильной натуре*, какому-нибудь новому Наполеону. Мы видели, как паутина *демократической легальности* запутала еще недавно даровитого и смелого Гамбетту.

Возвращаюсь опять к состоянию современной Германии.

Наполеоны и Бисмарки, т. е. люди не пошлые, на других не похожие, само собою разумеется, нужны для того, чтобы дать толчок дальнейшему смешению — где сословий и классов, где провинций или независимых государств одного племени; но *результат* их деятельности в XIX веке все тот же — *еще огромный шаг ко всеобщей ассимиляции.*

Германия объединенная, единая, сплошная, сохранившая только кое-где тени прежних королей и герцогов, общеконституционная, с одним общим ограниченным императором, тесно связанная теперь одинакими военными, таможенными и т. п. условиями, *не только стала внутренно однообразнее прежнего, но и гораздо больше стала похожа строем своим на побежденную ею Францию.* Стóит только в контраст нашему времени вообразить картину и жизнь *единой и монархической* Франции хоть в XVIII веке и жизнь *тоже монархической, но раздробленной Германии* того же времени, чтобы ясно увидать, до чего *теперь культурная, бытовая, национальная собственно* разница между двумя этими странами уменьшилась.

Впрочем, я полагаю, и проверить все то, что я говорю, не особенно трудно человеку молодому, трудолюбивому и не ослепленному каким-нибудь предубеждением. Побольше разных фактов, разных справок, — и я, без сомнения, буду ими вполне оправдан.

Говорить ли здесь много об Испании? Я думаю — не стóит. Испания давно уже не была *раздроблена* политически на отдельные государства, как Германия и часть Италии. У нее не было, как у Италии, целых областей, *подчиненных* иностранной власти. Ей не нужно было ни *освобождаться*, ни стремиться к *политическому единству*. Она просто прямо, *без изворотов*, шаг за шагом, подобно Франции и Англии, *демократизировалась внутренно и стала сходнее с другими нациями* в течение этого, исходящего, XIX века. Есть у нее, правда, родственная по племени и независимая от нее Португалия, точно так же, как есть у Франции независимая *(по-*

---

* «Русск. Вестн.».

ка еще) французская же Бельгия, — «время терпит!» Современные оттенки очень неважны с той высшей точки, с которой я смотрю. И эти оттенки могут легко сгладиться при первом внутреннем перевороте, ведущем к дальнейшей разрушительной ассимиляции, или после какой-нибудь новой международной борьбы, в *наше время везде влекущей за собою бытовую бесхарактерность* как победителя, так и побежденного, — как поглощенного, так и поглотителя, — как освобожденного, так и завоеванного.

Все идут к одному — к какому-то среднеевропейскому типу общества и к господству какого-то среднего человека. И если не произойдет в XIX веке где-нибудь и какой-нибудь *невообразимый даже* переворот в самих идеях, потребностях, нуждах и вкусах, *то и будут так идти, пока не сольются все в одну — всеевропейскую — республиканскую федерацию.*

Поэтому ни о Португалии, ни о Голландии, ни о Швейцарии, Дании или Швеции не стоит и распространяться по поводу того широкого и серьезного вопроса, который нас занимает.

В культурно-бытовом отношении во всех этих небольших государственных мирах и без того с каждым годом остается все меньше и меньше своеобразного и духовно-независимого. А политическая, внешняя независимость их держится лишь соперничеством или милостью больших держав.

V.

Если бы случалось всегда так, что плоды политические, социальные и культурные соответствовали бы замыслам руководителей движения или идеалам и сочувствиям руководимых масс, то умственная задача наша была бы гораздо проще и доступнее какому-нибудь реальному и осязательному объяснению.

Но когда мы видим, что победы и поражения, вооруженные восстания народов и если не всегда «благодетельные», то *несомненно благонамеренные реформы* многих монархов, освобождение и покорение наций, — одним словом, самые противоположные исторические обстоятельства и события приводят всех к одному результату — *к демократизации внутри* и *к ассимиляции вовне,* то, разумеется, является потребность объяснить все это более глубокой, высшей и отдаленной (а может быть, и весьма печальной) *телеологией*[14].

Лет десять тому назад, огорченный и оскорбленный не столько берлинским трактатом, сколько той всесветно-европейскою пошлостью, которая немедленно после войны воцарилась в освобожденной Болгарии, я хотел было писать большую статью под довольно затейливым заглавием: *«Протей общеевропейского разложения».* Заглавие это нравилось мне потому, что указывало как на сложность и обманчивость этого процесса, так и на какую-то таинственную силу, стоящую вне человеческих соображений и несравненно выше их.

Но печатать такую статью в то время было негде, и я не написал ее... Я только мимоходом упомянул об этом «Протее» моем в конце одной заметки, помещенной в газете «Восток», малоизвестной, бедной и *всеми (даже и Катковым!) гонимой за крайний ее консерватизм.* Вы можете найти, если хотите, это место в первом томе моего сборника (см. «Письма отшельника», «Наше болгаробесие» и т. д.).

Но оставим пока эти общие рассуждения. Припомним лучше еще раз ближайшие события европейской истории с того года (с 59-го), в который Наполеон III вздумал «официально», так сказать, написать на знамени своем этот самый девиз *«политической национальности».*

Я не боюсь повторений. Раз решившись писать об этом, я боюсь только неясности.

Факты же современной истории до такой грубости наглядны, до такой вопиющей скорби поучительны, что они сами говорят за себя, и я не могу насытиться их изложением.

В 1859 году Наполеон III сговаривается с Пиемонтом и в союзе с ним побеждает Австрию, которая противится этому национально-политическому принципу.

Этот приговор истории повторяется с тех пор неизменно: все то, что противится политическому движению племен к освобождению, объединению, усилению их в государственной отдельности и чистоте, — все это побеждено, унижено, ослаблено. И заметьте, все это противящееся (за немногими исключениями, подтверждающими лишь общее правило) носит тот или другой *охранительный характер.* Побеждена Австрия католическая, монархическая, самодержавная, аристократическая, анти-национальная, чисто государственная — Австрия, которую недаром же предпочитал даже и Пруссии наш великий охранитель Николай Павлович. Заметьте, что и безучастие России в 1859 году, ее почти что потворство французским победам и ее все возрастающее нерасположение к Австрии доказывает, что в начале 60-х годов и позднее не только в обществе русском, но и в правительственных сферах *племенные чувства начинают брать верх над государственными инстинктами.* Это одно, по-моему, уже не делает чести племенному чувству, не хорошо рекомендует его. Все то, что начало́ нравиться в 60-х годах, — *подозрительно.* Это станет еще понятнее, когда вы вспомните, что пробуждение этого *племенного* чувства у нас совпадает по времени с весьма искренним и сильным *внутренне-уравнительным* движением (эмансипации и т. д.). *Мы тогда стали больше думать о славянском национализме и дома, и за пределами России, когда учреждениями и нравами стали вдруг быстро приближаться ко все-Европе.* (Не горько ли это?!).

Мы даже на войско надели тогда французское *кепи. Это очень важный символ!* Ибо, имея в духе нашем очень мало наклонности к действительному творчеству, мы всегда носим в сердце какой-нибудь готовый западный идеал. Прусская каска Николая I, символ монархии сословной, нам тогда разонравилась, и безобразное кепи, наряд эгалитарного кесаризма, нам стала больше по сердцу! Прошу вас, *задумайтесь* над этим! Это вовсе не пустяки; это очень важно!

Итак, в 1859 году ослаблена Австрия, государство весьма охранительное. *У папы в то же почти время отнята часть земли.* Вместе с тем приготовляется издали поражение Франции *и обращение ее в республику,* ибо Италия выросла не в помощницы ей, а во врага, не всегда даже тайного, — она выросла в союзницы Пруссии, которой будущие победы *должны были привести Францию к разочарованию в кесаризме* и *к якобинской* (мещанской) *республике.*

Посмотрите: когда нужно было (по решению и мановению невидимой десницы) победить в Крыму Россию, *монархию крепко-сословную, дворянскую, консервативную, самодержавную,* а в 1859 году Австрию, *державу тоже* (и даже более, чем Россия) *охранительную,* — у Наполеона III, у министров и генералов его нашлись и сила, и мудрость, и предусмотрительность, — все нашлось! Когда же потребовалось создание *весьма либеральной, естественно-конституционной, анти-папской и давно уже слабо-аристократической* Италии (вдобавок глубоко разъедаемой социализмом), то против Австрии, мешавшей этому, сила нашлась, но против Италии *не нашлось мудрости.* Старик Тьер[15], говоривший уже тогда против итальянской эмансипации, был гласом вопиющего в пустыне!

Обратите еще внимание и на то, что случилось вслед за этим с Францией в 1862 и 63 годах. Взбунтовалась *весьма дворянская и весьма католическая* Польша против России, искренно увлеченной в то время своим разрушительно-эмансипационным процессом. У Франции не нашлось тут уже не только одной мудрости, но и силы. Она подняла на Западе в пользу *реакционного* польского бунта пустую словесную бурю, которая только ожесточила русских и сделала их строже к полякам; Россия же после этого стала смелее, сильнее, *еще и еще либеральнее сама и в то же время насильственно демократизировала Польшу и больше прежнего ассимилировала ее.*

Войну объявить России за Польшу Франция не решилась, не могла. *Таинственная десница не допустила ее.* Для этого тайного двигателя достаточно было настолько *ободрить* католическую, дворянскую, реакционную Польшу и настолько *раздражить* Россию (еще не совсем уверенную в своих *общеевропейских* начинаниях), чтобы вторая, победивши, поверила бы больше в свою *эгалитарно-либеральную правоту* и чтобы первая была *насильственно демократизирована.* Словом, чтобы обе разом еще на несколько больших и ускоренных шагов приблизились *к общесмесительному стилю нынешних западных обществ.*

Старайтесь не забывать при этом, что они обе — Польша и Россия — *боролись под знаменем национальным.* В России давно уже все *русское общество* не содействовало правительству с таким единодушием и усердием, как во время этого польского мятежа. *Русское* это общество, движимое тогда оскорбленным *национальным, кровным* чувством своим, при виде неразумных посягательств поляков на малороссийские и белорусские провинции наши, стало гораздо строже самого правительства и... послужило, само того не подозревая, все к тому же и тому же *космополитическому всепретворению!*

До 1863 года и Польша, и Россия — обе *внутренними порядками своими гораздо менее были похожи на современную им Европу, чем они обе стали после своей борьбы за национальность.*

Почти в то же время Наполеон III потерпел еще и другую неудачу. И потерпел ее потому, во-первых, что хотел создать новую и сильную *монархию* в Мексике. Французы, *защитники монархии,* были почти позорно изгнаны из Америки *республикой* Соединенных Штатов; император Максимилиан был убит *демократами* Мексики.

Республика же Соединенных Штатов в то же время вынесла упорную междоусобную брань, к концу которой Север, *промышленный, более буржуазный, более эгалитарно-демократический (освободивший, кстати, и рабов),* победил и подчинил себе *помещичий и рабовладельческий,* то есть несколько более *аристократический,* Юг.

Россия при этом нравственно поддерживала Север. Эгалитарная Франция и либеральная Англия, напротив того, помогали южанам.

Любуйтесь же, любуйтесь на хитрые извороты моего «Протея»!..

Все *к тому же!* Все *к тому!..*

VI.

Истинно нерасторжимая связь *всеуравнивающих* событий продолжает обнаруживаться во 2-й половине XIX века все с новой силой, благодаря поразительному ослеплению самых умных и практических людей, которые почти все сами не понимают, *чему* они служат...

В 1866 году возгорается война между Пруссией и Австрией. На стороне Пруссии *освобожденная* Францией Италия, на стороне Австрии весь остальной Германский Союз.

Здесь ближайшие причины как начала борьбы, так и ее непосредственных исходов — сложнее, чем во всех предыдущих примерах, но мы и не станем входить в подробное рассмотрение, почему, кто кого победил и какой идеал носили в уме своем вожди и двигатели этой борьбы. *Нам нужно* показать только *однообразие дальнейшего результата для всех наций, принимавших в ней участие, а больше ничего.*

Вообще сказать, если мы будем смотреть внимательно на производящие и предрасполагающие причины побед и поражений, то нам будет труднее разобраться; а если мы обратим больше внимания на причины *конечные,* то есть все на ту же *всесмесительную и всеуравнивающую телеологию,* то нам опять станет все ясно.

Изменим для этого порядок мыслей наших и самого нашего изложения. Станем с точки зрения современного нам положения дел смотреть на прошедшие события, и мы увидим, что *именно такие, а не другие события мы бы придумали сами, если бы имели целью создать современное положение.*

Предположим, что у нас было бы намерение как можно глубже и скорее уравнять в духе, в учреждениях и в обычаях всю западную Европу, привести ее всю прежде всего шаг за шагом к той непрочной, эгалитарно-либеральной и централизованной, *общедоступной* форме проявления, которая зовется *бессословно-конституционной монархией* и которой самым типическим выражением была июльская (Орлеанская) монархия Людовика-Филиппа (от 30 до 48 года). Обществу, подготовленному этой эгалитарно-монархической конституцией, нетрудно перейти от этой формы к конституции *эгалитарно-республиканской*, которая по слабости власти есть форма самая удобная для проявления анархических (т. е. все более и более разрушительных) наклонностей в народе. (При этом, конечно, и об идеях, теориях, учениях и т. п. забывать не надо... Все эти мысли и мечты могут быть везде; но надо также помнить, что одна форма правления, один строй общества более благоприятны для практических попыток приложить анархические теории к делу, а другие менее).

Какими же путями нам достичь этой цели нашей — *везде ослабить влияние церкви* (какой бы то ни было), *духовенства, религии, везде принизить монархическую власть, опутать ее мелкой сетью демократической легальности,* везде стереть *последние следы дворянских преимуществ,* и без того везде более или менее умаленных и почти уничтоженных как долгой и мелкой реформенной работой, так и проповедью идеальной в течение целого полувека (и более, считая от 89 года до 59, 60, 61, например)? Как же это сделать? Положим, что мы с вами даже всемогущи, но мы *не хотим показывать этого,* и потому, с презрительной улыбкой сожаления глядя на заблуждения людские, мы предоставляем им делать... делать... что делать?.. Мы, конечно, предоставили бы им делать *именно то, что они делали в политике за последние года.*

До 1860-го, 66 и 71 года этого века *группировка главных политических сил на Западе была старая. Несмотря на мелкие пограничные изменения, она была в главных чертах почти все та же в течение каких-нибудь 400 лет:* единая, одноплеменная Франция; единая Англия (по племенному составу, не считая даже колоний, более Франции пестрая); единая, но разноплеменная Австрия; однородная, но раздробленная Италия и такая же однородная и раздробленная Германия.

Общественная почва всей западной Европы достаточно уже разрыхлена, как я выше сказал, вековой подготовительной работой рационализма, безбожия, гражданской равноправности, индустриального движения, неоднократными анархическими вспышками и т. д. — У царей ослабела вера в их божественное право; знать везде предпочитает деньги прежней власти, везде более или менее ищет популярности; среднее сословие (*«средний человек»*) везде так или иначе давно у дел, и если он учен и богат, он давно гораздо больше значит, чем знатный человек; работник тоже поднял голову; и права, и потребности, и самомнение его возросли неимоверно, а вещественная жизнь стала и дороже, и труднее, и положение поэтому обиднее для его *как раз кстати* возросшего самолюбия.

Итак, почва хорошо подготовлена. — Однако многого еще недостает для дальнейшего (разрушительного) прогресса на искомом нами пути.

Многое недостаточно еще *уравнено* и недостаточно *дезорганизовано* для достижения того идеала *разложения в однородности,* к которому мы с вами, *по предполагаемому выше уговору,* стремимся. (Организация ведь выражается разнообразием в единстве, хотя бы и самым *насильственным, а никак не свободой в однообразии,*— это именно *дезорганизация.*)

Что же нам делать? Как обмануть людей? А вот как:

Во многих местах люди власти и влияния, как будто наученные грубым опытом истории, *не хотят и не могут идти дальше по пути прямой и открытой демократизации.* Они понимают, что это будет немедленная гибель... Желая (как я предположил) предоставить им волю *воображать,* что они сами придумывают что-то полезное и делают именно то, чего бы они желали, т. е. или возвеличить *надолго* свою национальность там, где она свободна, или освободить там, где она не свободна (тоже все-таки возвеличить), и т. д., мы обманываем их миражем какого-то *особого* «национального призвания», культурной независимости и т. д.

Той мелкой предварительно прогрессивной работы реформ, пропаганды, вспышек, интриг, принижения высших и возвышения низших в собственных недрах всех наций, о которой была речь, становится для нашей цели в половине XIX века уже недостаточно. *Демократическая* идея по нашему наущению *прикидывается идеей национальной;* идея *политическая* воображает себя *культурной.*

Все готово! — *Нужен только еще великий переворот векового равновесия великих держав на Западе.* И он почти внезапно совершается!

Последствия далеко превзошли ожидания! Возникли две новые великие державы на юге и севере. Прежние две главные вершительницы судеб континентального Запада — Австрия и Франция — унижены и ослаблены... Но они не уничтожены. Запад стал еще *ровнее теперь и по распределению национально-государственных сил.* — Сама Германия никогда уже не будет иметь той первоклассной силы, которую имела когда-то Франция. Прежняя Франция весила страшно не только оружием, но и таким общекультурным влиянием, которого нынешней Германии как ушей своих не видать! Ибо Франция, постоянно что-нибудь *выдумывая и творя* (не по-«нашему»), была этим самым в высшей степени оригинальною. А в нынешней Германии ничего такого оригинального нет, что можно бы равнять с Францией Людовика XIV, Вольтера, первой революции Наполеона I и даже Людовика-Филиппа. Это — раз. А во-вторых, и внешнее политическое положение не то, и внутренняя почва не та у *современной* Германии, какая была у *прежней* Франции. — Далеко не та уже! — Сам Бисмарк велик, но Германия стала мелка; со смертию этого истинно великого, но рокового мужа, — ничтожество слишком уже *уравненного и смешанного* немецкого общества обнаружится легко в государстве, наскоро сколоченном его железною рукой.

Я уверен, что Бисмарк сам это чувствует.

Внешнее же величие Германии непрочно, во-первых, уже потому, что ее географическое положение очень невыгодно (между славянством и романским миром); а во-вторых потому еще, что, вырастая сама под покровом России, она никогда не могла, в мере, достаточной для своих грядущих выгод, препятствовать и ее усилению.

Пыталась всячески, но всегда слабо, нерешительно; даже и при Бисмарке.

Почему, например, не *послать* было нам Австрию в тыл, когда мы стояли под Плевной? Это была бы мера сильная и своевременная. Почему? — Могучая совокупность обстоятельств *не дозволила; не допустила!*

А теперь уже поздно!

Поздно для австро-германских *действительных* торжеств на Балканском полуострове.

Этого торжества теперь не бойтесь...

Бойтесь другого... Бойтесь, напротив того, чтобы *наше торжество, в случае столкновения, не зашло сразу слишком далеко, чтобы не распалась Австрия* и *чтобы мы не оказались внезапно и без подготовки лицом к лицу с новыми миллионами эгалитарных и свободолюбивых братьев славян.* Это будет хуже самого жестокого поражения на поле брани!

VII.

Итак, продолжаю предполагать, что мы с вами всемогущи и желаем ускорить на Западе ход всеобщей ассимиляции.

В таком предположении что́ бы нам предстояло сделать?

Нам предстояло бы, во-первых, *передовую* страну Запада, Францию *(по стопам которой все идут позднее),* переделать *поскорее* в сравнительно прочную якобинскую (капиталистическую, буржуазную) республику с бессильным президентом. Я говорю *сравнительно,* а не *прямо* — прочную; *первая* якобинская республика (республика конвента и директории) просуществовала только *семь лет* (от 93 года до 1800, т. е. до Наполеона, до консульства); *вторая* республика такая же, но с наклонностью к социализму, продержалась еще меньше (от 48 до 51 года); социальная почва Франции в те времена содержала еще в себе слишком много идеализма, чтобы нация надолго могла удовлетвориться такой скромной, прозаической (прямо сказать) формой правления. Но долгий ряд неудачных опытов и разочарований поневоле делает людей более сухими и опять-таки тоже *более средними.* Якобинская республика без террора и с бессильными президентами — это именно и есть господство «средних людей», «средних состояний», «средних способностей», «средней власти». И для того, чтобы еще больше понизить *(то есть уравнять)* социальную почву этой *передовой* Франции, необходимо было и продлить несколько подольше прежнего существование этого скромного и плоского «режима» средних людей. И вот эта *третья* республика держится пока на наших глазах уже не 7 лет, как *первая,* и не 3, как *вторая,* а целых *восемнадцать лет* (от 71 до 89 года)!

Такова и была бы наша первая цель, если бы мы желали и могли разрушить скорее культурно-государственное величие старой Европы.

Во-вторых, нам бы нужно было еще и еще всячески ослабить *Папство* — этот главный очаг или точку коренной опоры европейского охранения.

В-третьих, нужно бы заставить все западное человечество сделать еще несколько шагов на роковом пути *эгалитарного всепретворения, подогнать,* так сказать, *отсталых,* коснеющих еще в более благородных формах прежнего государственного быта: немцев, австрийцев, итальянцев, — чтобы и они ближе подошли к идеалу французского, передового общества.

Как же это сделать? *С чего начать?* Еще раз спрашиваю себя.

Вот с чего:

Французский император, почти самодержавный, но обязанный своею властью не наследственности и божественному праву, *а демократической подаче голосов,* победивший недавно в Крыму Россию *(в то время столь консервативную)* и снова нуждаясь в военной славе *для своей популярности,* придумывает пустить в ход «национальную политику», которой идея давно, впрочем, была уже в воздухе. Он, побеждая Австрию (давнюю соперницу Пруссии) и создавая большую Италию, подготовляет этим самым сперва союз этой Италии с Пруссией, а потом и свое собственное поражение рукой этой возвеличенной Пруссии. Он подготовляет поэтому: *якобинскую республику во Франции — раз, политическое падение Папства — два,* более противу прежнего *уравненную, смешанную, однородную, эгалитарную империю в Германии — три,* более, наконец, противу прежнего *либеральные конституционные порядки в самой Австрии — четыре.* Об Италии я сказал много прежде и потому здесь ее пропускаю. Замечу, впрочем, что она, при всем своем ничтожестве, быть может, самая вредная для Европы страна, ибо она самый главный враг Папству.

Во внутренних делах всех помянутых стран (делах, органически связанных с внешней политикой) мы видим *немедленно усиливающееся движение на пути все той же всесокрушительной ассимиляции.* В Германии (вскоре после 1871 года) *начинается борьба противу католичества.* Великий Бисмарк поступает тут так, как шло бы поступать самому обыкновенному вульгарному атеисту-профессору. Что делать! Либеральная конституция (с 48 года) так уже въелась в кровь и плоть немецкого общества, «национал-либеральная» партия так стала сильна *в объединенной Германии,* что даже и Бисмарку занадобилось ей угодить, ее привлечь! (Всё для более успешной *ассимиляции всего.*) Для подобных случаев либерального искательства на Западе есть всегда готовая жертва — рим-

ский папа. Эту жертву тем легче и приятнее травить, что она физически ослабела, а нравственный вес свой не вполне еще утратила. Подлых чувств против Рима *(ослиных чувств против ослабевшего льва)* так много в этой «нынешней» Европе!!. Нельзя ли и Бисмарку ими воспользоваться? Нельзя ли и ему замарать руки в грязи мещанских бравад?.. «Среднее хамье» это шумит, хорохорится! Физической опасности никакой. — Самые ревностные католики уже не бунтуют за святого отца! *Это ведь не социалисты, полные упований на окончательную мертвенную неподвижность всеобщего мира и благоденствия.* За *настоящую веру* уже не прольется нынче крови! Чтобы разогреть людей и заставить их пролить кровь будто бы за веру, надо *под* веру «подстроить» какнибудь *племя.* (Так было у поляков в 62 году; так было и у нас в 76 и 78-м.)

Католицизм, положим, еще не сдался тогда в принципах, и позднее Бисмарк пошел сам на уступки. — Но разве эти потрясения и эта борьба причинили мало вреда охранению? Разве мы не помним, как тогда было испугано этим движением само протестантское духовенство. Оно, обыкновенно столь неприязненное к Риму, вспомнило тогда, что эта борьба направлена *против общехристианского мистицизма;* что через эти либеральные затеи понижается уважение к таинствам крещения, брака и т. д. (или хоть бы к «священным обрядам» *поихнему*). Протестантство, пиетизм — есть ведь мистическая основа германского общества, и на протестантском обществе гражданско-либеральные действия германского правительства отозвались хуже, чем на среде католической. Взбунтоваться, защитить свои церковные принципы рукой вооруженной католики *теперь уже не могут;* но они сплотились все-таки крепче и не оставили таинств своих, а в протестантской среде нашлось тогда, благодаря новым, всеравняющим в отрицании законам, множество людей, которые перестали крестить своих детей. Я помню, как тогда ужаснулись многие и в Германии, и у нас; у Каткова писано было об этом, есть о том же превосходные места и в письмах Тютчева, изданных Аксаковым.

Против *великого мистического охранения* новое правительство *объединенной и смешанной, чисто племенной* Германии повело немедленно сильную борьбу; зато *социализму оно сделало огромную уступку, признавши социалистов легальною партией...*

Социализм же есть *международность по преимуществу,* т. е. *высшее отрицание национального обособления.* (Значит, и тут национальная политика ведет ко всенародному антикультурному смешению.) *Сверх того, в аристократической дотоле* (до 71—72 года) *Пруссии «юнкерство» стало падать;* последовали демократические реформы. Старая Пруссия демократизируется; «пусть и она гниет, как мы!» — воскликнул тогда Ренан с восторгом патриотического злорадства.

Еще уравнение, еще смешение. Даже еще *два-три шага на пути приближения к типу новой французской государственности:* чистое племя, централизация, эгалитаризм, — конституция (достаточно сильная, чтобы и гениальный человек не решился бы ни разу на Coup d'Etat[16]), усиление индустрии и торговли, и в отпор этому — усиление, объединение анархических элементов; *наконец — милитаризм. Точь-в-точь императорская Франция!* Оттенки местные так ничтожны перед тем широким и высшим судом, о котором здесь речь, что о них и думать не стоит.

Итак, торжество национальной, племенной политики привело и немцев к большей утрате национальных особенностей; Германия после побед своих больше прежнего, так сказать, «офранцузилась» — в быте, в уставах, в строе, в нравах; значительные оттенки ее частной, местной культуры внезапно поблекли.

Ну, не рок ли это? Не коварный ли обман? Не наивное ли это самообольщение у самых великих умов нашего века, уже истекающего в неразгаданную и страшную бездну вечности?..

VIII.

После разгрома второй империи Франция, минуя обычную и уже прежде (от 1830 до 48) перейденную ею ступень орлеанской, умеренно-либеральной монархии, прямо переходит к практическому осуществлению той самой мещанской (т. е. не социалистической, а *граммато-плутократической*) республики, которую тщетно старались утвердить террористы в 90-х годах прошлого века. Тогда (в 93 и т. д. годах) конвент, несмотря на свое кровавое всемогущество, боялся еще аристократов, католиков, легитимистов; и *он* боялся их не без основания; тогда еще была возможна Вандея; возможны были эмиграция, восстановление Бурбонов; возможен был, наконец, «белый террор» 20-х годов и т. п. Оттого проливала так безжалостно кровь свирепая буржуазия в конце XVIII века, что охранительные или реакционные *(задерживающие разложение)* силы были еще не так изношены, как теперь, в конце XIX. Якобинская же республика во Франции 71 года устроилась легко и просто. — «Правая» сторона, и без того давно устранявшаяся от настоящих дел, и не подумала противиться. Напротив того, *древнее французское дворянство потворствовало этой республике.* Все продолжая *упорно мечтать* о возможности новой реставрации под белым знаменем Генриха V, *оно надеялось, что с республикой легче будет справиться, чем с империей.* Многие из легитимистов впервые со времени июльской революции удостоили принять высшие должности из рук Тьера, которого они не уважали; они приняли их в надежде низвергнуть его. Последнего они достигли и помогли маршалу Мак-Магону занять кресло президента, точно так же мечтая, что он будет для старого Генриха V тем, чем 200 лет тому назад был в Англии Монк[17] для Карла II Стюарта. Но, увы, времена не те; *почва социальная изменилась глубоко.* Никакой аристократический Coup d'Etat не может удасться на разрыхленной столетним эгалитаризмом почве Франции! Мак-Магон уходит, а в президенты попадает сперва безличный буржуа Греви, а потом Сади-Карно, тоже неважный; и *вдобавок, как уверяют, некрещеный.* Я, конечно, справок метрических не наводил, но со всех сторон слышу об этом. Если это правда, то как вам это тоже кажется? Я нахожу, что у нас на это в высшей степени важное обстоятельство слишком мало обратили внимания.

Впервые с того великого дня, когда Хлодовик крестился и положил начало христианской государственности на Западе, *впервые с тех пор во главе во всем передового европейского государства стоит не христианин, человек не крещеный!*

Папа узник! Первый человек Франции не крещен! — И мы, русские, молчим об этом, — вероятно, из соображений внешней политики... *(опять-таки в сущности через племенной вопрос — через славянский)!*

Итак, через *племенную национальную политику,* благодаря торжеству Италии и Германии, благодаря внезапному и глубокому перевороту в 400-летнем распределении государственных сил на Западе, — повторяю еще раз, папа лишен той вещественной силы, которою он пользовался в течение 1000 лет; во Франции стал возможен некрещенный председатель народовластия, попытки в ней возврата *к настоящей охранительной монархии* оказываются ничтожными и почти смешными.

И всего этого мало. История *новых школ* во Франции вам известна. Республика, бессильная против соседей, благоразумно уступающая Германии, *находит, однако, в себе силу против своей народной церкви.* Она выбрасывает распятия из училищ; она хочет учить детей только *чистой гражданской этике и законам природы, не подозревая, что атеистическое государство так же противно законам социальной природы, как жизнь позвоночного животного без остова, без легких или жабр.* — Мистицизм практичнее, «рациональнее», так сказать, чем это мелкое утилитарное безбожие! — Вот где кстати будет воскликнуть с царем Давидом: *«Живый на небесах посмеется им и Господь поругается им»!*

Республика Франции в домашних делах своих не боится ни Бога, ни папы, ни безбожия; она боится только *социалистической анархии,* которая дала уже себя знать в 1871 году и даст знать себя еще сильнее... Подождите!

И в самом деле, какая еще новая и крутая историческая ступень может предстоять Франции в ее *внутренней жизни?*

Я думаю так: ничего резкого и важного, кроме новых попыток имущественного, хозяйственного уравнения. В монархию французскую я не верю серьезно. Можно верить в какое-нибудь кратковременное усиление единоличной власти во Франции — не более. И при этом замечу (по аналогии со всеми предыдущими и перечисленными мною событиями), если эта единоличная власть диктатора или монарха и утвердится на короткое время в этой уже столь расслабленной равенством стране, то историческое назначение ее будет главным образом, разумеется, в том, чтобы *ускорить боевое столкновение с Германией и все неисчислимые социальные и внешнеполитические последствия его.*

И, конечно, все в том же *ассимиляционном направлении,* от которого не спасают в XIX веке, как мы видели, ни мир, ни война, ни дружба, ни вражда, ни освобождение, ни завоевание стран и наций... И не будут спасать, пока *не будет достигнута точка насыщения равенством и однородностью.*

Борьба с Германией в близком будущем неизбежна для Франции, и в громкую победу ее трудно верить. Если бы даже случилось именно то, о чем французы мечтают, — если бы им пришлось воевать в союзе с Россией, то, мне кажется, с ними может случиться то же, что с итальянцами в 1866 году. Сами они могут быть опять разбиты немцами, но кое-что все-таки выиграть, благодаря тому, *что немцы, вероятно, будут побеждены русскими.* И заметьте, я верю в нашу победу — не потому, что знаю хорошо нашу боевую подготовку, и не по расчету на то, что совокупность напряженных франко-русских военных сил превзойдет численностью военные силы «средне-европейской лиги», *а потому, что Россия в этом случае будет служить все тому же племенному началу, все той же национально-космополитической политике, все тому же обманчивому Протею всеобщего смешения.* Война у нас будет все-таки *через славян, через наши права на Болгарию и на Сербию.* Война будет с Австрией, положим; но если Германия не догадается вовремя покинуть свою союзницу, а в самом деле вступится за нее, то *она пострадает жестоко, как пострадали все те, которые противились племенному потоку.* Но и побитая Франция побита будет теперь все-таки не так легко, как в 1870 году. Далеко опередившая Германию на пути гражданского уравнения, она только что сравнялась с нею в военном отношении. Империя Германская, правда, по гражданскому строю *пока* (до русских над нею побед) *стала,* как я говорил, уже *более похожа* на империю Наполеонов, чем на самое себя, на свое прошедшее; но зато республика Франции *в военном отношении стала теперь более похожа на эту новую Германскую империю,* чем была при своем императоре.

(Еще черта сходства и уравнения сил!..)

Германия 80-х годов — это нечто вроде Франции 50-х и 60-х годов. Франция 70-х и 80-х годов — *это Германия будущего,* — Германия, безвозвратно побитая славянами, вот и все...

Что же может случиться во Франции после этой борьбы? Допустим даже, что дело выйдет иначе. Допустим, что Франция будет победительницей.

Разве это возможно без временной военной диктатуры?

Конечно, нет. Пример тому 1871 год. Штатский Гамбетта при всей силе своего характера оружием победить не мог, — не было единства власти. Якобинская Франция теперь, видимо, колеблется между диктатурой и анархией. Воспользуется ли диктатор анархией для достижения власти и

потом победит немцев или прежде победит, а потом умиротворит внутренние волнения, во всяком случае можно пророчить, *что, и усмиряя, и побеждая, он послужит хоть отчасти все тому же: то есть и внутреннему уравнению и внешнему сходству,— заграничному международному сближению гражданских идеалов и социальных привычек.*

У себя, во Франции, диктатор или даже король непременно вынужден будет сделать что-нибудь для рабочих и для партии коммунистов. В побежденной же Германии (кем бы то ни было, справа, или слева, или с обеих сторон) *непременно поднимет голову крайне либеральная партия,* общественное мнение обрушится на Бисмарка, на «милитаризм», и повторится здесь история Бонапартов, с тою, вероятно, разницей, что при старой династии и при въевшейся уже в кровь конституции *и не меняя монарха Германское государство станет только больше похоже на искренно* конституционное королевство Людовика-Филиппа или современной нам Италии Савойского дома, т. е. сделает сильный шаг к мещанской республике.*

Что касается до социализма, так он, говорят, в Германии еще глубже, чем во Франции.

Заметьте еще одно, опять-таки фатальное, стечение обстоятельств для этой передовой Франции, *которая первая в Европе ровно сто лет тому назад противопоставила церкви, королю и сословности идею уравнения и воплощенной в «среднем сословии» нации.* У нее в течение этих ста лет были три династии. Где же теперь даровитые представители этих династий?

Кто слышал о талантах и величии графа Парижского (представителя *либеральных* Орлеанов)? Честный Генрих V, последний из настоящих Бурбонов, скончался *почему-то непременно бездетным!* (И физиология даже помогает революции!)

Бедного мальчика — Наполеона IV — убили дикие. Это удивительно! Я не говорю: «зачем он поехал сражаться в Африку?» Это понятно, он хотел отличиться подвигами в виду будущего трона. Я спрашиваю себя о непонятном: *почему именно он, бедняжка, не попал скоро ногой в стремя и дал время дикому нагнать и заколоть себя,* — ведь он, конечно, умел ездить верхом? Почему не случилось того же с другим, с каким-нибудь неизвестным англичанином, а *непременно с ним?*

Кто же еще остался из претендентов у Франции? Не старый ли герцог Монпансье, которого мы видели в Москве на коронации? Или два Бонапарта: — старый же принц Наполеон — *свободолюбец* не хуже Орлеанов, и его несогласный с ним и ничем не отличившийся сын, воображающий, кажется, вдобавок, что в 90-х годах этого века можно идти по стопам Наполеона I; — все они непопулярны, это раз; а во-вторых — все они не представляют собой никаких *особых* новых начал, которых приложение не было бы уже и прежде испытано во Франции. Разница между всеми нынешними претендентами только в имени, в фамильном знамени прошедшего, в звуке пустого предания, *а не в существенном, — не в основных социальных принципах.* Все то же: равенство прав и т. д.; «Белый колпак, — колпак белый», как выражаются эти самые французы («Bonnet blanc, — blanc bonnet!»).

Великий человек, истинно великий вождь, могучий диктатор или император — во Франции может ныне явиться *только на почве социализма.* Для великого избранного вождя нужна идея хоть сколько-нибудь новая, *в теории уже назрелая, на деле не практикованная, идея, выгодная для многих,* идея грозная и увлекательная, *хотя бы и вовсе гибельная потом.*

На такой и не на иной почве возможен во Франции великий вождь, хотя бы и для кратковременного торжества. *Но чем же это отзовется? Какою ценою купится? И к чему дальнейшему привел бы подобный исторический шаг?*

Не будем больше предсказывать; — не будем как потому, что в общих чертах все это математически ясно, так и потому, что частности и подробности, все изгибы и неожиданности этого пути, ясного по главному направлению, предвидеть никак нельзя. Я скажу здесь только об одной еще возможности: о победе Франции над Италией, все так же прилагая *индуктивно к будущему примеры и поучения прошлого.*

IX.

Признаюсь, мне почему-то, сам не знаю, все кажется, что *на этот еще раз* войны между Германией и Россией не будет и что сила обстоятельств вынудит Германию пожертвовать Австрией. Мне кажется, что, ввиду все *той же таинственной телеологии,* довольно сильная Германия еще нужна. А если ее сила еще нужна (хотя бы для того, чтобы пассивно или полупассивно задерживать славянство на пути гибельного, *преждевременного* и *полного объединения*), *то она не должна так рано следовать убийственному примеру Австрии, Франции и Турции, которые противустали племенному началу открыто и вооруженною рукою* а 1859, 66, 70 и 77-м годах). Умри завтра Бисмарк, я бы воскликнул: «погибла Германия!» Без Бисмарка она не найдет предлежащего ей безвредного пути. Но пока Бисмарк жив, инстинкт его призвания, быть может, подучит его не противиться слишком явно и сильно славянскому племенному движению; а задерживать его только понемногу.

Все это так; но предположим даже истинно всеобщую войну: Францию и Россию с одной стороны, «лигу» — с другой.

В таком случае, я уверен, случится вот что: австрийцы и германцы будут побеждены русскими (с помощью французов), французы же будут разбиты германцами, хотя и не так легко, как в 1870 году, и этот лучший противу прежнего отпор облегчит, конечно, русское дело.

Что касается до итальянцев, то они будут французами, и надеюсь, побеждены без особого труда. Французские войска в таком случае могут дойти и до Рима. Что же должно тогда произойти с Италией после подобного разгрома, с демократической анти-папской, но пока еще *кое-как монархической* Италией? Можно ли надеяться хоть в этом случае на серьезную реакцию в пользу церкви?

Нет, нельзя! Идея Папства слишком возвышенна; — формы Католичества слишком изящны и благородны для нашего времени, для века фотографической и телеграфной пошлости.

Если бы на престоле самой Франции сидел Генрих V или если бы был жив молодой Наполеон IV, то от них, сообразно с их идеалами и преданиями, можно было бы ожидать хоть попытки восстановить светскую власть папы, которая была столь полезна для его нравственного веса. Но этого нельзя ожидать ни от Сади-Карно, ни от Буланже, ни от принцев Орлеанского рода, ни от боковой линии выродившихся Бонапартов.

Как бы не пал скорее в этом случае Савойский дом. Как бы не воцарилась и там такая же якобинская, радикально-либеральная республика! А раз будет и там республика, *как бы не уехал вовсе из Рима сам папа,* как бы не выжили его! А что это будет значить? Ведь это истинное начало конца, начало 5-го акта европейской трагедии.

Папство связало принципы свои с одним *городом*; с переменой места едва ли в среде самого западного духовенства устоит надолго и самый принцип.

Вот куда привело Европу это псевдонациональное или племенное начало.

Оно привело шаг за шагом к низвержению всех тех устоев, на которых утвердилась и процвела западная цивилизация. *Итак, ясно, что политика племенная, обыкновенно называемая национальною, есть не что иное, как слепое орудие все той же всесветной революции, которой и мы, русские, к несчастию, стали служить с 1861 года.*

В частности, поэтому и для нас политика чисто славянская (искренним *православным мистицизмом* не исправленная, глубоким отвращением к *прозаическим формам современной* Европы не ожесточенная) — есть политика революционная, космополитическая. И если в самом деле у нас есть в истории какое-нибудь особое, истинно национальное, мало-мальски своеобразное, другими словами — *культурное, а не чисто политическое призвание, то мы впредь должны смотреть на панславизм как на дело весьма опасное, если не совсем губительное.*

Истинное (то есть культурное, обособляющее нас в быте, духе, учреждениях) *славянофильство* — (или — точнее — *культурофильство*) — *должно отныне стать жестоким противником опрометчивого, чисто политического панславизма.*

Если славянофилы-*культуролюбцы* не желают повторять *одни только ошибки* Хомякова и Данилевского, если они не хотят удовлетворяться одними только *эмансипационными* заблуждениями своих знаменитых учителей, а *намерены служить их главному, высшему идеалу, то есть национализму настоящему, оригинальному, обособляющему* и *утверждающему наш дух и бытовые формы наши,* то они должны впредь остерегаться слишком быстрого разрешения всеславянского вопроса.

Идея православно-культурного русизма действительно оригинальна, высока, строга и государственна. Панславизм же *во что бы то ни стало* — это *подражание* и больше ничего. Это идеал современно-европейский, *унитарно-либеральный,* это — стремление *быть как все.* Это все та же общеевропейская *революция.*

Нужно теперь не славяно*любие,* не славяно*потворство,* не славяно*волие,* — нужно славяно*мыслие,* славяно*творчество,* славяно*особие* — вот что нужно теперь!.. Пора образумиться.

Русским в наше время надо, ввиду всего перечисленного мною прежде, стремиться со страстью к *самобытности духовной, умственной и бытовой...* И тогда и остальные славяне пойдут со временем по нашим стопам.

Эту мысль, простую и ясную до грубости, но почему-то у нас столь немногим доступную, я бы желал подробнее развить в особом ряде писем: об опасностях панславизма и *о* средствах предотвратить эти опасности. — Не знаю — успею ли.

Я полагаю, что одним из главных этих средств должно быть — *по возможности долгое, очень долгое сохранение Австрии, предварительно, конечно, жестоко проученной.*

Воевать с Австрией *желательно*; *изгнать* ее из Боснии, Герцеговины и вообще из пределов Балканского полуострова *необходимо*; — но *разрушать* ее избави нас Боже. Она до поры до времени *(до православно-культурного возрождения* самой России и восточных единоверцев ее) — драгоценный нам карантин от чехов и других уже *слишком* «европейских» славян. Ясно ли?

Довольно бы... Все существенное сказано, но я хочу прибавить здесь еще несколько слов об Испании и Румынии, чтобы та картина всеобщего демократического разложения, которую я только что представил вам в предыдущих письмах, была полнее.

В 70-х годах в Испании произошло *реакционное* восстание басков в *пользу Бурбона Дон-Карлоса.* Баски бытом своим до сих пор еще не совсем похожи на остальную Испанию. *Они консервативнее,* поэтому-то у них и оказалась еще возможность, нашлось еще побуждение восстать противу тогдашней Испанской республики.

Но и это реакционное движение также не удалось, *как не удавалось за последние 30—40 лет все церковное, все самодержавное, все аристократическое, все охраняющее прежнее своеобразие и прежнюю богатую духом разновидность.* Испанская Вандея не удалась, как не удалось полякам их *дворянское восстание,* как не удалась Наполеону III *защита папства,* как не удался во Франции позднее государственный переворот в *пользу легитимизма,* и т. д.

Это о басках и Дон-Карлосе.

Теперь о Румынии. В «доброе, старое время», как говорится, эта Румыния была Молдо-Валахией. «Молдо-Валахия» — по-моему, это даже звучит гораздо приятнее, важнее, чем «Румыния». Молдавия имела

* Чем искреннее дарована конституция, чем строже выполняются ее параграфы правительством, *тем хуже* для будущего страны. *(Авт.)*

в теории, со многим само по себе так *непримиримо!..*

Во-первых, я постичь не могу, за *что* можно *любить современного европейца...*

Во-вторых, любить и любить — разница... Как любить? Есть любовь — *милосердие* и есть любовь — *восхищение;* есть любовь *моральная* и любовь *эстетическая.* Даже и эти два вовсе несхожие *влечения* нужно подразделить весьма основательно на несколько родов. Любовь моральная, т. е. искреннее желание блага, сострадание или радость на чужое счастие и т. д., может быть *религиозного происхождения* и происхождения *естественного*, т. е. *производимая* (без всякого влияния религии) большою природною добротой или воспитанная какими-нибудь гуманными убеждениями. Религиозного происхождения нравственная любовь потому уже важнее естественной, что естественная доступна не всякой натуре, а только счастливо в этом отношении одаренной; а до религиозной любви, или милосердия, может дойти и самая черствая душа долгими усилиями аскетической борьбы против эгоизма своего и страстей. На это можно привести довольно примеров и из нынешней жизни. Но живые примеры и биографические подробности заняли бы здесь много места. Больше я развивать эту тему и подразделять чувства любви или симпатии не буду. Об этом можно написать целую книгу. Я только хотел *напомнить* все это. Остановлюсь на грубом, можно сказать, различии между любовью моральной и любовью эстетической. Мы жалеем человека, или он нравится нам — это большая разница, хотя и совмещаться эти два чувства иногда могут. Попробуем приложить оба эти чувства к большинству *современных* европейцев. Что же нам — *жалеть* их или *восхищаться* ими?.. Как их жалеть?! Они так самоуверенны и надменны; у них так много перед нами и перед азиатцами житейских и практических преимуществ? Даже большинство бедных европейских рабочих нашего времени так горды, смелы, так *не смиренны,* так много думают о *своем мнимом* личном достоинстве, что сострадать можно им никак не по первому невольному движению, а разве по холодному размышлению, по натянутому воспоминанию о том, что им, в самом деле, может быть, *в экономическом отношении тяжело.* Или еще можно их жалеть «философски», то есть так, как жалеют людей ограниченных и заблуждающихся. Мне кажется, чтобы почувствовать невольный прилив к сердцу того милосердия, той нравственной любви, о которой я говорил выше, надо видеть современного* европейца в каком-нибудь униженном положении: побежденным, раненым, пленным, — да и то условно. Я принимал участие в Крымской войне как военный врач.

И тогда наши офицеры, даже казацкие, не позволяли нижним чинам обращаться дурно с пленными. Сами же начальствующие из нас, как известно, обращались с неприятелями даже слишком любезно — и с англичанами, и с турками, и с французами. Но разница и тут была большая. Перед турками никто блистать не думал. И по отношению к ним действительно во всей чистоте своей являлась русская доброта. Иначе было дело с французами. Эти сухие фанфароны были тогда победителями и даже в плену были очень развязны, так что по отношению к ним, напротив того, видна была жалкая и презренная сторона русского характера, — какое-то желание заявить о своей деликатности, подобострастное и тщеславное желание получить одобрение этой массы самоуверенных куаферов[19], про которых Герцен так хорошо сказал: «он был не очень глуп, как большинство французов, и не очень умен, как большинство французов». Все это необходимо отличать, и великая разница *быть ласковым* с побежденным китайским мандарином или с индийским пария, — или *расстилаться* перед французским troupier[20] и английским моряком. По отношению к азиатцам, как идолопоклонникам, так и магометанам, мы, действительно, являемся в подобных случаях теми добрыми самарянами, которых Христос поставил всем в пример. Относительно же европейцев эта доброта весьма подозрительного источника, и, признаюсь, я расположен ее презирать. Я вспоминаю нечто о г. Зиссермане. В одном из своих политических обозрений г. Зиссерман, возмущаясь нашим действительно, быть может, излишним кокетством с пленными турками (из которых столь многие поступали зверски с болгарами и сербами), ставил нам в пример немцев, которые, набравши в плен такое множество французов, почти не говорили с ними и не хотели с ними вовсе общаться. Немцы прекрасно делали, — с этим я согласен. Именно так надо поступать с обыкновенными французами. Милосердие к ним, в случае несчастия, должно быть сдержанное, сухое, как бы обязательное и холодно-христианское. Что касается до турок и других азиатцев, которых преходящая самоуверенность в наше время не может в понимающем человеке возбуждать негодования, а скорее какую-то жалость, то, не доходя, разумеется, до поднесения букетов и тому подобных русских глупостей, конечно, в случае унижения и несчастия, с ними следует быть поласковее. Кстати о букетах. Когда русский мещанин, солдат или мужик ведет пленных турок и, вспоминая о жестокостях, совершенных их соотечественниками, думает про себя: «а может быть, эти турки, которых я вижу, ничего такого не делали, — за что же их оскорблять?» — то я верю в это православное русское добродушие. Я понимаю, что та сторона учения Христова, которая говорит именно о прощении, т. е. о самом высшем проявлении этой нравственной любви, дается русскому народу легче, чем какому-нибудь другому племени. Положим, и к простолюдину русскому можно здесь придраться: у одного — лень; у другого — все слабовато, в том числе и

* Я говорю «современного» в смысле тенденции рода воспитания и всего того, что составляет так называемый *тип,* а не про всех тех, которые *теперь живут.* И Бисмарк, и папа, и французский благородный легитимист, и какой-нибудь набожный простой баварец или бретонец *тоже теперь* живут; но это остатки прежней, *густой,* так сказать, и *богатой духом* Европы. — Я не про таких современников наших говорю, объясняюсь раз навсегда.

мстительность и гордость невыразительны; третий — сам не знает, что ему нужно делать; у четвертого — равнодушное отношение ко всему, кроме своих личных интересов. Но это уже тонкие психологические оттенки. И распространению христианства служили не одни только высокие побуждения, а всякие, ибо «сила Божия и в немощах наших познается». Но когда наш харьковский европеец или калужская француженка любезничают с унылым или угрюмым мусульманином, я впадаю в искушение... Я знаю, этот европейский Петр Иванович или эта французская Агафья Сидоровна делают это не совсем спроста: боюсь до смерти, что у них, хотя полусознательно, но мелькают в уме газеты, западное общественное мнение, «вот мы какие милые и цивилизованные!» Тогда как, по-настоящему, надобно сказать себе: «какое нам дело до того, что о нас *думает* Европа?» — Когда же мы это поймем?!

Итак, говорю я, любовь к людям может быть прежде всего двоякая: *нравственная или сострадательная* и *эстетическая или художественная.* Нередко, я сказал, они действуют смешанно. В речи г. Достоевского, по поводу Пушкина, эти два чувства — совершенно разнородные и в жизненной практике чрезвычайно легко отделимые — вовсе не различены. А это очень важно. Лермонтов и другие кавказские офицеры, сражаясь против черкесов и убивая их, восхищались ими и даже нередко подражали им. Точно такое же отношение к горцам мы видим и у староверов-казаков, описанных гр. Львом Толстым. Этот же романист представил нам примеры подобных двойственных отношений русского дворянства к французам в эпоху наполеоновских войн. Черкесы эстетически нравились русским, противникам своим. Русское дворянство времени Александра I восхищалось тогдашними французами, вредя им стратегически (а следовательно, и *лично*) на каждом шагу.

Речь г. Достоевского очень хороша в чтении, но тот, кто *видал самого автора* и *кто слышал, как он говорит,* тот легко поймет восторг, охвативший слушателей... Ясный, острый ум, вера, смелость речи... Против всего этого трудно устоять сердцу. Но возможно ли сводить целое культурное историческое призвание великого народа на одно *доброе* чувство к *людям* без особых, определенных, в одно и то же время *вещественных и мистических,* так сказать, предметов веры, вне и выше этого человечества стоящих, — вот вопрос?

Космополитизм православия имеет такой предмет в живой личности распятого Иисуса. Вера в божественность Распятого при Понтийском Пилате Назарянина, Который учил, что на земле все неверно и все неважно, все недолговечно, а действительность и вековечность настанут после гибели земли и всего живущего на ней: вот та *осязательно-мистическая* точка опоры, на которой вращался и вращается до сих пор исполинский рычаг христианской проповеди. Не полное и повсеместное торжество любви и всеобщей правды на *этой* земле обещают нам Христос и его апостолы; а, напротив того, нечто вроде кажущейся *неудачи* евангельской проповеди на земном шаре, ибо *близость конца* должна совпасть с последними попытками сделать всех хорошими христианами...

«Ибо, когда будут говорить: мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба... и не избегнут» (1-е посл. к Фессал. гл. 5, 3).

И еще:

«Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас.

«Ибо многие прийдут *под именем Моим* и будут говорить: я Христос, — и многих прельстят.

«Также услышите *о войнах и о военных слухах.* Смотрите не ужасайтесь: *ибо надлежит всему тому быть*; но это еще не конец.

«Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам.

«Все же это начало болезней (Еванг. от Матф. гл. XXIV, 4, 5, 6, 7, 8).

«И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь.

«Претерпевший же до конца спасется. *И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.*

Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную чрез пророка Даниила, стоящую на святом месте» (читающий да разумеет).. (Еванг. от Матф. гл. XXIV, 12, 13, 14, 15.)

И так далее.

Даже г. Градовский догадался упомянуть в своем слабом возражении г. Достоевскому о пришествии антихриста и о том, что Христос пророчествовал не *гармонию* всеобщую (мир всеобщий), а всеобщее разрушение. Я очень обрадовался этому замечанию нашего ученого либерала.

Хотя, видимо, г. Градовский писал это с улыбкой и хотел напоминанием о «светопреставлении» уязвить христианство; но это как ему угодно, указание на эту *существенную сторону христианского учения здесь очень кстати.*

Итак, пророчество всеобщего примирения *людей о Христе* не есть православное пророчество, а какое-то *общегуманитарное.* Церковь *этого мира* не обещает, а кто «преслушает, Церковь, тебе, тот пусть будет как язычник и мытарь» (т. е. чужд тебе как вредный своим примером человек; конечно, до тех пор, пока он не исправится и не обратится).

Возвратимся к европейцам... Прежде, например, чем полюбить кого-либо из европейских либералов и радикалов, надо *бояться* Церкви.

Начало премудрости (т. е. настоящей веры) есть *страх,* а любовь — только *плод.* Нельзя считать плод корнем, а корень плодом. Тут даже кстати можно продолжить с успехом именно это уподобление. Правда, плод или часть плода (семя) зарывается в землю так, что оно становится невидимым и *перерождается* в корень и другие части растения. В таком смысле я могу, например, полюбить даже и самого Гамбетту!.. Каким образом? — Очень простым. Говорят, что один из самых пылких и, конечно, не робких жирондистов (кажется Isnard), спасаясь от гильотины, про-

свои оттенки, Валахия — свои. После Крымской войны и молдаване с валахами почувствовали потребность послужить племенной политике. Оба княжества избрали себе впервые одного господаря Кузу, из *среднего круга* (помнится, просто полицеймейстера города Галаца).

Куза *тотчас же демократизировал* эту все-Румынию; он освободил крестьян от давней крепостной зависимости и сокрушил этим прежнюю силу молдо-валашского боярства. Конституция, общая двум княжествам, начала функционировать, как везде, довольно правильно по форме и, конечно, либерально *(разрушительно)* по духу.

И что же? Почти немедленно это либеральное, *национальное* правительство стало закрывать монастыри, разогнало монахов и отобрало издревле пожертвованные этим обителям земли. Тяжесть этой меры падала преимущественно на греческие патриархаты и св. места, которым были подведомственны («преклонены») эти обители и земли. (Кстати замечу, — русское правительство *хотя и неудачно*, но поддерживало в этом случае патриархаты, *ибо славянское племя не было тут замешано в дело, как в позднейшем движении болгар.* В болгарском деле мы были *либералами*, мы поддерживали болгар *против патриарха*, и успех наших славянских питомцев превзошел даже далеко наши желания. В румынском деле «преклоненных» монастырей мы были *охранителями и ничего в пользу церкви* не могли сделать.)

Сверх того, в Румынии, вскоре после национального объединения, случилось в миниатюре почти то же, что и в Испании в 70-х годах. Вспыхнуло небольшое *охранительное* восстание. К Румынии, по парижскому трактату, отошла от России часть старых бессарабских болгарских колоний. У них были свои особые местные уставы и привилегии, дарованные им Россиею. Они желали сохранить эти свои особенности и — восстали. Демократическое конституционное правительство новой национальной Румынии усмирило их оружием и *заставило их стать как все, уравняло, смешало их с остальным своим населением.*

Видите, к здесь даже, в небольшом размере, отражается это зарево всемирного демократического и безбожного пожара, которого неосторожными поджигателями являются не всегда только либералы и анархисты, а по роковому стечению обстоятельств нередко и могущественные монархи, подобные Наполеону III и Вильгельму I германскому!

Неужели прав был Прудон, восклицая: «Революция XIX века не родилась из недр той или другой политической секты, она не есть развитие какого-нибудь одного отвлеченного принципа, не есть торжество интересов одной какой-нибудь корпорации или какого-нибудь класса. *Революция — это есть неизбежный синтез всех предыдущих движений в религии, философии, политике, социальной экономии* и т. д., и т. д. *Она существует сама собою,* подобно тем элементам, которые в ней сочетались. Она, по правде сказать, приходит *не сверху* (т. е. не от разных правительств), *не снизу* (т. е. и не от народа)*. Она есть результат *истощения принципов*, результат *противоположных идей,* столкновения интересов в *противоречий политики*, антагонизма предрассудков, — одним словом, всего того, что наиболее заслуживает названия нравственного и умственного хаоса!»

«Сами крайние революционеры (говорит Прудон в другом месте) *испуганы будущим и готовы отречься от революции;* но, отринутая всеми и сирота от рождения, революция может приложить к себе слова псалмопевца: «Мой отец и моя мать меня покинули, но Господь восприял меня!»**

Неужели же прав Прудон не для одной только Европы, но и *для всего человечества*? Неужели таково в самом деле *попущение* Божие и для нашей дорогой России?!

Неужели, немного позднее других, и мы с отчаянием *почувствуем*, что мчимся *бесповоротно* по тому же проклятому пути!?..

Неужели еще очень далека та *точка исторического насыщения равенством и свободой*, о которой я упоминал и после которой в обществах, имеющих еще развиваться и жить, должен начаться постепенный поворот к новому *расслоению* и органической разновидности?...

Если так, то все погибло!

Неужели ж нет надежд?

Нет, пока есть еще надежда — надежда *именно на Россию,* на ее *современную реакцию, имеющую возможность совпасть с благоприятным для религии и культуры разрешением восточного вопроса.*

Есть признаки не по ослеплению пристрастия, но «рационально» ободрительные!

Но они есть только у нас одних, а на Западе их нет вовсе!

---

* Вернее бы сказать: *и сверху, и снизу. (Авт.).*

** Псал. 26-й.

О ВСЕМИРНОЙ ЛЮБВИ

РЕЧЬ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО НА ПУШКИНСКОМ ПРАЗДНИКЕ

(Варшавский Дневник[18] 1880 г., №№ 162, 169, 173)

Не пора ли уж перестать писать о Пушкине и о всех тех, кто блистал и действовал на его московской тризне? Довольно!.. Общество русское доказало свою «цивилизованную» зрелость, поставило Пушкину дешевый памятник, — *по-европейски* убирало его *венками, по-европейски обедало, по-европейски* говорило на обедах *спичи.* По обыкновению своему, интеллигенция наша ровно, по этому поводу, ничего не выдумала своеобразного. У подножия монумента великого русского творца не обнаружилось ни одного молодого и оригинального таланта ни в ораторском искусстве, ни в поэзии; говорили речи в стихи и, вообще, действовали тут всё люди прежние, с давно определившимися взглядами и давно известные; блистали люди, которых молодость прошла при *прежних условиях,* более сходных с условиями, развившими самого Пушкина. Враждебно ли, или сочувственно относятся все эти таланты *к старому порядку* и его остаткам — все равно; *они все обязаны этому поруганному прошлому* как впечатлениями своими (т. е. содержанием своих творений), так и умственными силами своими, трудившимися над воспроизведением этого содержания, данного русскою жизнью... *Нового ничего*!.. Ни изобретательности в форме чествования, ни какой бы то ни было ум поражающей свежей мысли, либо вовсе неслыханной, либо давно забытой и просящейся снова в жизнь. Многое из сказанного и написанного по этому поводу было где-то и когда-то, наверное, тоже сказано или написано теми же самыми лицами или иными, и гораздо лучше, и полнее. Один только человек, как слышно, выразился по поводу пушкинского празднества вполне оригинально: это — граф Л. Толстой. Печатали, будто он, отказываясь от участия в этом празднестве, сказал: «это всё одна комедия!» — Я не думаю, чтоб это было так. Отчего ж комедия? Вероятно, многие были искренни в своем желании почтить память Пушкина... И хотя мне очень нравится эта независимость графа Толстого, его капризное пренебрежение к современности нашей, но я не вижу нужды соглашаться с тем, что все это — притворство и комедия. В искренность я готов верить; я желал бы видеть только во всем этом больше национального цвета, побольше остроумия и глубины. Все это, быть может, и очень тепло; но тепло как пар, не замкнутый в какую-нибудь форму. Тепло, даже горячо, порывисто, но рассеялось скоро и не осталось ничего. Всё надежды, всё мечты, и мечты вовсе не картинные! Правду сказали в *Вестнике Европы* (я где-то это прочел), что и в том «смирении», которое хотят признать уже довольно давно отличительным признаком славизма, есть много своего рода самохвальства и гордости, ничем еще не оправданных.. Довольно об этом. Больше всего сказанного и продекламированного на празднике меня заставила задуматься речь Ф. М. Достоевского. Положим, и в этой речи значительная часть мыслей не особенно нова и не принадлежит исключительно г. Достоевскому. О русском «смирении, терпении, любви» говорили многие, Тютчев пел об этих добродетелях наших в изящных стихах. Славянофилы прозой излагали то же самое. О «всеобщем мире» и «гармонии» (опять-таки в смысле *благоденствия*, а не в смысле *поэтической борьбы*) заботились и заботятся, *к несчастию,* многие и у нас, и на Западе: Виктор Гюго, воспевающий междоусобия и цареубийства; Гарибальди, составивший себе славу военными подвигами, социалисты, квакеры; по-своему — Прудон, по-своему — Кабе, по-своему — Фурье и Ж.-Занд.

В программе издания *Русской Мысли* тоже обещают *царство добра и правды на земле, будто бы* обещанное самим Христом. В собственных сочинениях г. Достоевского давно и с большим чувством и успехом проводится мысль о любви и прощении. Все это не ново; ново же было в речи г. Ф. Достоевского приложение этого полухристианского, полуутилитарного *всепримирительного стремления — к многообразному, чувственному, воинственному, демонически-пышному гению Пушкина.* Но, как бы то ни было, необходимо прежде всего считаться и с именем автора, и с эффектом, произведенным его словами, — тем более, что эта не слишком новая мысль о «смирении» и *о* примирительном назначении славян (составляющем, за неимением пока лучшего, будто бы нашу племенную особенность) распространена в той части нашего общества, которая ни с любовью к Европе не хочет расстаться, ни с последними сухими и отвратительными выводами ее цивилизации покорно помириться не может. До этого, к счастью, еще наше смирение не дошло.

Об этой речи я и хочу поговорить.

Не знаю, что бы я чувствовал, если бы я был *там.* Но издали человек хладнокровнее. Я нахожу, что речь г. Достоевского (напечатанная потом в *Московских Ведомостях)* в самом деле должна была произвести потрясающее действие, если только согласиться с оратором, что признание *космополитической любви,* которое он считает уделом русского народа, есть назначение благое и возвышенное. Но, признаюсь, я многого, очень многого в этой идее постичь не могу. Это всеобщее примирение, даже и

в теории, со многим само по себе так *непримиримо!*..

Во-первых, я постичь не могу, за *что* можно *любить современного европейца*...

Во-вторых, любить и любить — разница... Как любить? Есть любовь — *милосердие* и есть любовь — *восхищение*; есть любовь *моральная* и любовь *эстетическая*. Даже и эти два вовсе несхожие *влечения* нужно подразделить весьма основательно на несколько родов. Любовь моральная, т. е. искреннее желание блага, сострадание или радость на чужое счастие и т. д., может быть *религиозного происхождения* и происхождения *естественного*, т. е. *производимая* (без всякого влияния религии) большою природною добротой или воспитанная какими-нибудь гуманными убеждениями. Религиозного происхождения нравственная любовь потому уже важнее естественной, что естественная доступна не всякой натуре, а только счастливо в этом отношении одаренной; а до религиозной любви, или милосердия, может дойти и самая черствая душа долгими усилиями аскетической борьбы против эгоизма своего и страстей. На это можно привести довольно примеров и из нынешней жизни. Но живые примеры и биографические подробности заняли бы здесь много места. Больше я развивать эту тему и подразделять чувства любви или симпатии не буду. Об этом можно написать целую книгу. Я только хотел *напомнить* все это. Остановлюсь на грубом, можно сказать, различии между любовью моральной и любовью эстетической. Мы жалеем человека, или *он* нравится нам — это большая разница, хотя и совмещаться эти два чувства иногда могут. Попробуем приложить оба эти чувства к большинству *современных* европейцев. Что же нам — *жалеть* их или *восхищаться* ими?.. Как их жалеть?! Они так самоуверенны и надменны; у них так много перед нами и перед азиатцами житейских и практических преимуществ? Даже большинство бедных европейских рабочих нашего времени так горды, смелы, так *не смиренны*, так много думают о *своем мнимом* личном достоинстве, что сострадать можно им никак не по первому невольному движению, а разве по холодному размышлению, по натянутому воспоминанию о том, что им, в самом деле, может быть, *в экономическом отношении тяжело*. Или еще можно их жалеть «философски», то есть так, как жалеют людей ограниченных и заблуждающихся. Мне кажется, чтобы почувствовать невольный прилив к сердцу того милосердия, той нравственной любви, о которой я говорил выше, надо видеть современного* европейца в каком-нибудь униженном положении: побежденным, раненым, пленным, — да и то условно. Я принимал участие в Крымской войне как военный врач. И тогда наши офицеры, даже казацкие, не позволяли нижним чинам обращаться дурно с пленными. Сами же начальствующие из нас, как известно, обращались с неприятелем даже слишком любезно — и с англичанами, и с турками, и с французами. Но разница и тут была большая. Перед турками никто блистать не думал. И по отношению к ним действительно во всей чистоте своей являлась русская доброта. Иначе было дело с французами. Эти сухие фанфароны были *тогда* победителями и даже в плену были очень развязны, так что по *отношению* к ним, напротив того, видна была жалкая и презренная сторона русского характера, — какое-то желание заявить о своей деликатности, подобострастное и тщеславное желание получить одобрение этой массы самоуверенных куаферов[19], про которых Герцен так хорошо сказал: «*он* был не очень глуп, как большинство французов, и не очень умен, как большинство французов». Все это необходимо отличать, и великая разница *быть ласковым* с побежденным китайским мандарином или с индийским париа, — или *расстилаться* перед французским troupier[20] и английским моряком. По отношению к азиатцам, как идолопоклонникам, так и магометанам, мы, действительно, являемся в подобных случаях теми добрыми самарянами, которых Христос поставил всем в пример. Относительно же европейцев эта доброта весьма подозрительного источника, и, признаюсь, я расположен ее презирать. Я вспоминаю нечто о г. Зиссермане. В одном из своих политических обозрений г. Зиссерман, возмущаясь нашим действительно, быть может, излишним кокетством с пленными турками (из которых столь многие поступали зверски с болгарами и сербами), ставил нам в пример немцев, которые, набравши в плен такое множество французов, почти не говорили с ними и не хотели с ними вовсе общаться. Немцы прекрасно делали, — с этим я согласен. Именно так надо поступать с обыкновенными французами. Милосердие к ним, в случае несчастия, должно быть сдержанное, сухое, как бы обязательное и холодно-христианское. Что касается до турок и других азиатцев, которых преходящая самоуверенность в наше время не может в понимающем человеке возбуждать негодования, а скорее какую-то жалость, то, не доходя, разумеется, до поднесения букетов и тому подобных русских глупостей, конечно, в случае унижения и несчастия, с ними следует быть поласковее. Кстати о букетах. Когда русский мещанин, солдат или мужик ведет пленных турок и, вспоминая о жестокостях, совершенных их соотечественниками, думает про себя: «а может быть, эти турки, которых я вижу, ничего такого не делали, — за что же их оскорблять?» — то я верю в это православное русское добродушие. Я понимаю, что та сторона учения Христова, которая говорит именно о прощении, т. е. о самом высшем проявлении этой нравственной любви, дается русскому народу легче, чем какому-нибудь другому племени.

Положим, и к простолюдину русскому можно здесь придраться: у одного — лень; у другого — все слабовато, в том числе и

* Я говорю «современного» в смысле тенденции рода воспитания и всего того, что составляет так называемый *тип*, а не про всех тех, которые *теперь живут*. И Бисмарк, и папа, и французский благородный легитимист, и какой-нибудь набожный простой баварец или бретонец *тоже теперь живут*; но это остатки прежней, *густой*, так сказать, и *богатой духом* Европы. — Я не про таких современников наших говорю, объясняюсь раз навсегда.

мстительность и гордость невыразительны; третий — сам не знает, что ему нужно делать; у четвертого — равнодушное отношение ко всему, кроме своих личных интересов. Но это уже тонкие психологические оттенки. И распространению христианства служили не одни только высокие побуждения, а всякие, ибо «сила Божия в немощах наших познается». Но когда наш харьковский европеец или калужская француженка любезничают с унылым или угрюмым мусульманином, я впадаю в искушение... Я знаю, этот европейский Петр Иванович или эта французская Агафья Сидоровна делают это не совсем спроста: боюсь до смерти, что у них, хотя полусознательно, но мелькают в уме газеты, западное общественное мнение, «вот мы какие милые и цивилизованные!» Тогда как, по-настоящему, надобно сказать себе: «какое нам дело до того, что о нас *думает* Европа?» — Когда же мы это поймем?!

Итак, говорю я, любовь к людям может быть прежде всего двоякая: *нравственная или сострадательная* и *эстетическая* или *художественная*. Нередко, я сказал, они действуют смешанно. В речи г. Достоевского, по поводу Пушкина, эти два чувства — совершенно разнородные и в жизненной практике чрезвычайно легко отделимые — вовсе не различены. А это очень важно. Лермонтов и другие кавказские офицеры, сражаясь против черкесов и убивая их, восхищались ими и даже нередко подражали им. Точно такое же отношение к горцам мы видим и у староверов-казаков, описанных гр. Львом Толстым. Этот же романист представил нам примеры подобных двойственных отношений русского дворянства к французам в эпоху наполеоновских войн. Черкесы эстетически нравились русским, противникам своим. Русское дворянство времени Александра I восхищалось тогдашними французами, вредя им стратегически (а следовательно, и *лично*) на каждом шагу.

Речь г. Достоевского очень хороша в чтении, но тот, кто *видал самого автора* и *кто слышал, как он говорит*, тот легко поймет восторг, охвативший слушателей... Ясный, острый ум, вера, смелость речи... Против всего этого трудно устоять сердцу. Но возможно ли сводить целое культурное историческое призвание великого народа на одно *доброе* чувство к *людям* без особых, определенных, в одно и то же время *вещественных и мистических*, так сказать, предметов веры, вне и выше этого человечества стоящих, — вот вопрос?

Космополитизм православия имеет такой предмет в живой личности распятого Иисуса. Вера в божественность Распятого при Понтийском Пилате Назарянина, Который учил, что на земле все неверно и все неважно, все недолговечно, а действительность и вековечность настанут после гибели земли и всего живущего на ней: вот та *осязательно-мистическая* точка опоры, на которой вращался и вращается до сих пор исполинский рычаг христианской проповеди. Не полное и повсеместное торжество любви и всеобщей правды на *этой* земле обещают нам Христос и его апостолы; а, напротив того, нечто вроде кажущейся *неудачи* евангельской проповеди на земном шаре, ибо *близость конца* должна совпасть с последними попытками сделать всех хорошими христианами...

«Ибо, когда будут говорить: мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба... и не избегнут» (1-е посл. к Фессал. гл. 5, 3).

И еще:

«Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас.

«Ибо многие придут *под именем Моим* и будут говорить: я Христос, — и многих прельстят.

«Также услышите о *войнах и о военных слухах*. Смотрите не ужасайтесь: *ибо надлежит всему тому быть*; но это еще не конец.

«*Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам.*

«*Все же это начало болезней* (Еванг. от Матф. гл. XXIV, 4, 5, 6, 7, 8).

«*И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь.*

«Претерпевший же до конца спасется. *И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.*

Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную чрез пророка Даниила, стоящую на святом месте» (читающий да разумеет).. (Еванг. от Матф. гл. XXIV, 12, 13, 14, 15.)

И так далее.

Даже г. Градовский догадался упомянуть в своем слабом возражении г. Достоевскому о пришествии антихриста и о том, что Христос пророчествовал не *гармонию* всеобщую (мир всеобщий), а всеобщее разрушение. Я очень обрадовался этому замечанию нашего ученого либерала.

Хотя, видимо, г. Градовский писал это с улыбкой и хотел напоминанием о «светопреставлении» уязвить христианство; но это как ему угодно, указание на эту *существенную сторону христианского учения здесь очень кстати*.

Итак, пророчество всеобщего примирения *людей о Христе* не есть православное пророчество, а какое-то *общегуманитарное*. Церковь *этого мира* не обещает, а кто «преслушает, Церковь, тебе, тот пусть будет как язычник и мытарь» (т. е. чужд тебе как вредный своим примером человек; конечно, до тех пор, пока он не исправится и не обратится).

Возвратимся к европейцам... Прежде, например, чем полюбить кого-либо из европейских либералов и радикалов, надо *бояться* Церкви.

Начало премудрости (т. е. настоящей веры) есть *страх*, а любовь — только *плод*. Нельзя считать плод корнем, а корень плодом. Тут даже кстати можно продолжить с успехом именно это уподобление. Правда, плод или часть плода (семя) зарывается в землю так, что оно становится невидимым и *перерождается* в корень и другие части растения. В таком смысле я могу, например, полюбить даже и самого Гамбетту!.. Каким образом? — Очень просто. Говорят, что один из самых пылких и, конечно, не робких жирондистов (кажется Isnard), спасаясь от гильотины, по-

был несколько дней в каменоломнях и от мучений *страха* стал христианиином. Вот если бы Гамбетта, вследствие какого-нибудь подобного потрясения, захотел «облечься во Христа», пошел бы к священнику и сказал: «отец мой, я понял, что республика — вздор, что свобода — изиошенная пошлость, что нация наша, прежде действительно великая, теперь недостойна больше внимания, и сам себе я кажусь так глуп и так низок, что умираю от стыда и тоски, — иаучите мевя... Обратите меия... Я знаю, что христианину иеобходимо *усилие воли* и *скромность ума* перед вашим учеиием... Я согласеи принять все, даже и то, что мне противно и с чем отвратительиая отупелость моего разума, воспитаиного верой в прогресс, согласиться не может. Я в принципе решаюсь всякое сочувствие этому смешиому, либеральиому разуму считать заблуждеиием, ошибкой, tentation[21]...» и т. д.

Вот в таком случае я понимаю, что можно было бы полюбить Гамбетту всем сердцем и всею душой, «как самого себя», — полюбить его в одно и то же время и нравственно, и эстетически, — полюбить и с умственным восхищеиием, и с умилением сердечным... Теперь же, каюсь, я, считая себя ие менее кого бы то ни было вправе называться русским человеком, при всей доброй воле моей, никак не могу ви умиляться, нн восхищаться, думая об этом эиергическом воздухоплавателе... А он еше самый крупный и занимательный, кажется, из ныиешних граждан *самой европейской* из наций Западной Европы.

Или возьмем пример ближе. Трудно себе представить, чтобы который-иибудь из иаших умеренных либералов «озарился светом истины»... Но все-таки представим себе обратный процесс. Вообразим себе, что ие страх довел которого-нибудь из них, как Isnard'a, до премудрости, а премудрость довела до страха рядом умозаключений ясных, но *не в духе времени* (с которым «живая» мысль прииуждена считаться, но уважать который оиа вовсе ве обязана). Трудно себе это представнть, положим. Для того, чтобы *в наше время* члену плачевной интеллигенции нашей стать тем, что зовется вообще «мистиком», — надо иной калибр ума, чем мы видим у подобиых профессоров и фельетонистов. Но положим... положим, что либерал дошел премудростью человеческою до страха Божия... Ведь я сказал уже: сила Господня и в немощах наших иередко позиается; русские либералы немощиы, но Бог силен. Дошли они премудростью до страха и смирились, — живут в томлеиии кроткого прозелитизма, писать вовсе перестали... Как бы они все были тогда привлекательны и милы!.. Сколько уважительного и теплого снисхождення возбуждали бы тогда эти скромиые люди!..

Но теперь их даже *не следует любить;* мириться с ними не должно... Им должно желать добра лишь в том смысле, чтоб они опомнились и изменились, — т. е. самого *высшего добра,* идеального... А если нх поразят иесчастия, если оии потерпят гонения или какую иную земную кару, то этому роду зла можно даже немного и порадоваться, *в надежде на их нравственное исцеление.* Покойный митрополит Филарет находил, что телесиое наказание преступииков полезно для их духовного настроения, и потому он стоял за телесиое наказаиие*.

И сам г. Достоевский почти во всех своих произведеииях, исполненных такого искрениего чувства и любви к человечеству, проводит почти ту же мысль, быть может и невольио, руководимый каким-то высоким инстинктом.

Наказанные преступиики, убийцы, блудиые, продажиые, оскорбленные женщивы у него так часто являются представителями самого горячего религиозного чувства... Страдаиия, угрызения совести, страх, лишеиия и стесиения, вследствие кары земного закона и личных обид, открывают перед умом их иные перспективы... А «без преступлеиий и наказаний» оии пребывали бы иаверио в пустой гордости или зверской грубостн... Без страданий не будет ни веры, ни на вере в Бога основаиной любви к людям; а *главные страдания в жизни причиняют человеку не столько силы природы, сколько другие люди.* Мы нередко видим, иапример, что больной человек, окруженный любовью и вниманием близких, испытывает самые радостные чувства; но едва ли найдется человек здоровый, который был бы счастлив тем, что его никто знать не хочет... Поэтому и поэзия земной жизни, и условия загробного спасения — однаково требуют не *сплошной* какой-то любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы, а, говоря объективно, иекоего *как бы гармонического, ввиду высших целей, сопряжения вражды с любовью.* Чтобы самарянину было кого пожалеть и кому перевязать раны, необходимы же были разбойники. Разумеется, тут естественно следует вопрос: «кому же взять на себя роль разбойника, кому же олицетворять *зло,* если это не похвально?» Церковь отвечает на это не *моральным советом, обращенным к личности,* а одним общеисторическим пророчеством: «*Будет зло!*» — говорит Церковь. Она говорит еще: «Званых много, *проповедано будет Евангелие везде,* но *избранных будет мало;* только *нудящие себя* восходят в Царствие Небесное», — потому что самая добрая, кроткая, великодушная *натура* есть дар *благодати,* дар *Божий.* Нам принадлежат только: *желание, искание веры, усилие, молитва против маловерия и слабости, отречение и покаяние.*

«Блажен претерпевший до конца!»

Христос, повторяю, ставил милосердие или доброту *личным идеалом;* Он не обещал нигде торжества *поголовного братства на земном шаре...* Для такого братства необходимы прежде всего уступки со всех сторон. А есть вещи, которые *уступать нельзя.*

II.

Мнения Ф. М. Достоевского очень важны — не только потому, что он писатель даровитый, но еще более потому, что он

---

* Смотри книгу «Государств. учение митр. Филарета» В. Н. *1885 года.* Стр. 86—94. Между прочим. текст: *Ты побиеши его жезлом, душу же его избавиши от смерти* (стр. 92).

писатель весьма влиятельный и даже весьма *полезный.*

Его искренность, его порывистый пафос, полный доброты, целомудрия и честности, его частые напоминания о христианстве — все это может в высшей степени благотворно действовать *(и действует)* на читателя, особенно иа молодых *русских* читателей. Мы не можем, конечно, счесть, скольких юношей и сколько молодых женщин он отклонил от сухой *политической злобы нигилизма* и настроил ум и сердце совсем иначе; но верно, что таких очень много.

Он как будто говорит им беспрестанио между строками, говорит отчасти и прямо сам, повторяет устами своих действующих лиц, изображает драмой своей; он внушает им: «не будьте злы и сухи! Не торопитесь перестраивать по-своему граждаискую жизнь; займитесь прежде жизнью собственного сердца вашего; не раздражайтесь; *вы хороши и так, как есть;* старайтесь быть еще добрее, любите, прощайте, жалейте, верьте в Бога и Христа; молитесь и любите. Если сами люди будут хороши, добры, благородны и жалостливы, то и гражданская жизнь станет иесравненио сноснее и самые несправедливости и тягости гражданской жизни смягчатся под целительным влиянием личной теплоты».

Такое высокое настроеиие мысли, к тому же выражаемое почти всегда с лиризмом глубокого убеждения, не может ие действовать на сердца. В этом отношении к г. Достоевскому можно приложить одно иазвание, вышедшее нынче почти из употребления, — он замечательный *моралист.* Слово «моралист» идет к роду его деятельиости и к характеру влияния гораздо более, чем название *публицист,* даже и тогда, когда он по способу изложения является не повествователем, а мыслителем и иаставником, как, например, в своем восхитительиом *Дневнике писателя.* Он занят гораздо более *психическим строем лиц,* чем *строем социальным,* которым все нынче, к сожалению, так озабочены. Человечество XIX века как будто бы отчаялось совершенно в личной проповеди, в морализации прямо сердечной и возложило все свои надежды на переделку обществ, то есть иа некоторую степень *принудительности* исправления. *Обстоятельства,* давление закоиа, судов, *новых экономических условий* принудят и приучат людей стать лучше... «Христианство, — думают эти совремеииики наши, — доказало тщетными усилиями веков, что одиа проповедь личного добра не может исправить человечество и сделать земную жизнь покойною и для всех равно справедливою и приятною. Надо изменить условия самой жизни; а сердца *поневоле* привыкнут к добру, когда зло *невозможно* будет делать».

Вот та преобладающая мысль нашего века, которая везде слышится в воздухе. Верят в *человечество,* в *человека* ие верят больше.

Г. Достоевский, по-видимому, одни из немиогих мыслителей, не утративших веру в *самого человека.*

Нельзя не согласиться, что в этом направлении миого иезависимости, а привлекательности еще больше...

Таким представляется дело по сравнению с односторонним и сухим социально-реформаторским духом времени.

Но то же самое представляется совершенно иначе по отиошению к христианству.

Демократический и либеральный прогресс верит больше в прииудительную и постепенную исправимость всецелого человечества, чем в нравствениую силу лица. Мыслители или моралисты, подобные автору «Карамазовых», надеются, по-видимому, больше на сердце человеческое, чем на переустройство обществ. *Христианство же не верит безусловно ни в то, ни в другое, — то есть ни в лучшую автономическую мораль лица, ни в разум собирательного человечества, долженствующий рано или поздно создать рай на земле.*

Вот разница. Впрочем, я, может быть, дурно выразился словом *разум...* Чистый *разум,* или, пожалуй, наука, в дальнейшем развитии своем, вероятно, скоро откажется от той утилитариой и оптимистической тенденциозности, которая сквозит между строками у большинства современных ученых, и, оставив это утешительное ребячество, обратится к тому суровому и печальному пессимизму, к тому мужествениому смиреиию с иеисправимостью земной жизни, которое говорит: «Терпите! *Всем лучше никогда не будет.* Одним будет лучше, другим станет хуже. Такое состояние, такие колебаиия горести и боли — вот единственно возможная на земле *гармония! И больше ничего* ие ждите. Помните и то, что всему бывает конец; даже скалы гранитные выветриваются, подмываются; даже исполинские тела небесные гибнут... Если же человечество есть явление живое и органическое, то тем более ему должен настать *когда-нибудь конец.* А если будет *конец,* то какая нужда нам так заботиться о благе будущих, далеких, вовсе даже *непонятных* нам поколений? *Как мы можем мечтать о благе правнуков, когда мы самое ближайшее к нам поколение — сынов и дочерей — вразумить и успокоить действиями разума не можем?* Как можем мы надеяться иа *всеобщую нравственную или практическую правду,* когда самая *теоретическая истина, или разгадка* земной жизни, до сих пор скрыта для нас за непроницаемою завесой; когда и великие умы, и целые иации постояино ошибаются, разочаровываются и идут совсем не к тем целям, которых они искали? Победители впадают почти всегда в те самые ошибки, которые сгубили побежденных ими, и т. д... *Ничего нет верного в реальном мире явлений.*

Верно только *одно,* точно — *одно,* одно только *несомненно, — это то, что все здешнее должно погибнуть!* И потому на что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих поколений? На что эти младенчески болезненные мечты и восторги? День наш — век наш! И потому *терпите* и заботьтесь практически лишь о ближайших делах, а сердечно — лишь о ближних людях: *именно о ближних, а не о всем человечестве.*

Вот та пессимистическая философия, которая должна рано или поздно, и, вероятно, после целого ряда *ужасающих разочарований,* лечь в основание будущей науки.

Социально-политические опыты ближайшего грядущего *(которые, по всем вероятиям, неотвратимы)* будут, конечно, первым и важнейшим камнем преткновения для человеческого ума на ложном пути искания общего блага и гармонии. Социализм (т. е. глубокий и отчасти насильственный экономический и бытовой переворот) теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере *для некоторой части человечества.*

Но, не говоря уже о том, сколько страданий и обид его воцарение может причинить побежденным (т. е. представителям либерально-мещанской цивилизации), сами победители, как бы прочно и хорошо ни устроились, очень скоро поймут, что им далеко до благоденствия и покоя. *И это как дважды два четыре* вот почему: эти будущие победители устроятся *или свободнее,* либеральнее *нас, или, напротив того,* законы и порядки их будут несравненно стеснительнее наших, строже, принудительнее, даже *страшнее.*

В последнем случае жизнь этих *новых людей* должна быть гораздо тяжелее, болезненнее жизни хороших, добросовестных монахов в строгих монастырях (например, на Афоне). А эта жизнь для знакомого с ней очень тяжела (хотя имеет, разумеется, и свои, совсем *особые,* утешения); постоянный тонкий страх, постоянное неумолимое давление совести, устава и воли начальствующих... Но у афонского киновиата[22] есть одна твердая и ясная утешительная мысль, есть спасительная нить, выводящая его из лабиринта ежеминутной тонкой борьбы: *загробное блаженство.*

Будет ли эта мысль утешительна для людей предполагаемых экономических общежитий, этого мы не знаем.

Если же та часть человечества, которая захочет испытать на себе *блаженство* (?) вовсе новых, общественных и экономических, условий, устроиться *свободнее* нашего, то она будет повержена в состояние как бы признанной в принципе и узаконенной анархии, подобно южноамериканским республикам или некоторым городским общинам древней Греции. Ибо социальный переворот не станет ждать личного воспитания, личной морализации всех членов будущего государства, а захватит общество в том виде, в каком *мы его знаем теперь.* А в этом виде, кажется, очень еще далеко до бесстрастия, до незлобия, до общей любви и до правды — не законом навязанной, но бьющей теплым ключом прямо из облагороженной души!.. Пусть бы хоть в этой передовой стране, во Франции, коммунисты подождали усиливаться до тех пор, пока французы не станут хоть такими добрыми, умными и благородными, как герои Жорж-Занд; *однако они этого ждать не хотят...*

Итак, испытавши все возможное, *даже и горечь социалистического устройства,* передовое человечество должно будет неизбежно впасть в глубочайшее разочарование; политическое же состояние обществ всегда отзывается и на высшей философии, и на общем, полусознательном, в воздухе бродящем миросозерцании; а философия высшая и философия инстинкта равно отзываются, рано или поздно, и на самой науке.

Наука поэтому должна будет неизбежно принять тогда более разочарованный, *пессимистический,* как я сказал, *характер. И вот где ее примирение с положительной религией,* вот где ее теоретический триумф: в сознании своего практического бессилия, в мужественном покаянии и смирении перед могуществом и правотою сердечной мистики и веры.

Вот о чем славянам не мешало бы позаботиться! Это не противоречит прогрессу; напротив, если понимать прогресс мысля не в духе непременно приятно эгалитарном и любезно демократическом, а в значении *усовершенствования* самой только *мысли,* то такое строгое и бесстрашное отношение науки к жизни земной должно быть признано за огромный шаг вперед... «Ищите утешения а чем хотите; я Бога не навязываю вам, — это не мое дело, — я только говорю вам: не ищите утешения в моих прежних *радикально благотворительных* претензиях, столь глупо волновавших прошедший XIX век. Я могу помогать вам только *паллиативно».* Вот что бы должна говорить наука!

Верно понятый, не обманывающий себя неосновательными надеждами реализм должен, рано или поздно, отказаться от мечты о благоденствии земном и от искания идеала нравственной правды в недрах самого человечества.

Положительная религия точно так же в это благоденствие и в эту правду не верит.

Любовь, прощение обид, правда, великодушие были и останутся навсегда только коррективами жизни, паллиативными средствами, елеем на неизбежные и даже *полезные* нам язвы. Никогда любовь и правда не будут воздухом, которым бы люди дышали, почти не замечая его... Именно — почти не замечая! Эд. Гартман справедливо говорит: «Если бы идеальная цель, преследуемая прогрессом, когда бы то ни было осуществилась, то человечество достигло бы до степени *нуля* или *полного равнодушия* ко всем отраслям своей деятельности. Но идеал останется всегда идеалом: человечество может приближаться к нему, никогда до него не достигая. Поэтому человечество и не дойдет никогда до того состояния *высокого равнодушия,* к которому постоянно стремится; оно вечно пребудет в состоянии страдания еще более низкого порядка (то есть чем это *высокое равнодушие)...»*

Да и разве такое тихое равнодушие есть счастье? Это — не счастье, а какой-то тихий упадок всех чувств, как скорбных, так и радостных.

Я уверен, что человек, столь сильно чувствующий и столь *сердечно мыслящий,* как Ф. М. Достоевский, говоря о «здании человеческого счастья», о «всечеловеческом братском единении», об «окончательном слове общей гармонии» и т. д., имел в виду нечто более горячее и привлекательное, чем та кроткая, душевная «нирвана», на которую здесь указывает Гартман. А горячее, самоотверженное и нравственно привлекательное обусловливается непременно более или менее сильным и нестерпимым *трагизмом жизни...* Доказательства этому можно найти во множестве в романах самого г. Достоевского. Возьмем «Преступление и наказание». Вспомним потрясающее, глубокое впечатление, производимое изображением бедного семейства Мармеладовых. Нищета, пьяный, ни на что уже не годный отец; мать — тщеславная, чахоточная, сердитая, почти безумная, но в сердце честная и до наивности прямая страдалица; девушка — кроткая, милая, *верующая и торгующая собой для пропитания семьи!..* И когда эти люди проявляют, при всем этом, высокие качества души своей, глубоко потрясенный читатель тотчас же понимает, что эта теплота, эта «психичность», этот род нравственного лиризма возможен именно при тех только буднично-трагических условиях, которые избраны автором. То же самое можно найти в изобилии и в «Братьях Карамазовых».

Мы найдем это в доме бедного капитана, в истории несчастного Илюши и его любимой собаки, мы найдем это в самой завязке драмы: читатель знает, что Дмитрий Карамазов не виновен в убийстве отца и пострадает напрасно. И вот уже одно появление следователей и первые допросы производят нечто подобное; они дают тотчас действующим лицам случайно обнаружить побуждения высшего нравственного порядка; так, наприм., лукавая, разгульная и даже нередко жестокая Груша только при допросе в первый раз чувствует, что она этого Дмитрия истинно любит и готова разделить его горе и предстоящие, вероятно, ему карательные невзгоды. Горести, обиды, буря страстей, преступления, ревность, зависть, угнетения, ошибки — с одной стороны, а с другой — неожиданные утешения, доброта, прощение, отдых сердца, порывы и подвиги самоотвержения, простота и веселость сердца! Вот *жизнь,* вот единственно возможная на этой земле и под этим небом *гармония. Гармонический закон вознаграждения — и больше ничего.* Поэтическое, живое согласование светлых цветов с темными — *и больше ничего.* В высшей степени цельная полутрагическая, полуясная опера, в которой грозные и печальные звуки чередуются с нежными и трогательными, — и *больше ничего!*

Мы не знаем, что будет на *той новой земле и на том новом небе,* которые обещаны нам Спасителем и учениками Его, по уничтожении *этой* земли *со всеми* человеческими *делами ее;* но на *земле, теперь нам известной, и под небом, теперь нам знакомым,* все хорошие наши чувства и поступки: любовь, милосердие, справедливость и т. д. — являются и *должны являться всегда* лишь тем *коррективом* жизни, тем *паллиативным лечением язв,* о которых я упоминал выше.

Теплота необходима для организма, но ни единственным материалом, ни единственной зиждущею силой для организма она быть не может.

Нужны твердые, *извне стесненные формы,* по которым эта теплота может разливаться, не *видоизменяя их слишком глубоко даже и временно,* а только делая эти твердые формы полнее и приятнее.

Так говорит *реальный опыт веков,* т. е. почти наука, вековой эмпиризм, не нашедший себе еще математически рационального объяснения, но и без него трезвому уму весьма ясный.

Так же точно говорит Церковь, так говорят апостолы...

Будут лжехристы и антихристы; *будут* «ругатели, поступающие по похотям своим», и т. д. (2 посл. Петра, III, 3; 1 посл. Иоанна, II, 18; посл. Иуды, 18, 19).

И под конец не только не настанет *всемирного братства,* но именно *тогда-то оскудеет любовь, когда будет проповедано Евангелие во всех концах земли.* И когда эта проповедь достигнет, так сказать, до предначертанной ей свыше точки насыщения, когда, *при оскудении* даже и той *любви,* неполной, паллиативной (которая здесь возможна и действительна), люди станут верить безумно в «мир и спокойствие», — *тогда-то и постигнет их пагуба... «и не избегнут!..»*

А пока?

Пока «блаженны миротворцы», ибо *неизбежны распри...*

«Блаженны алчущие и жаждущие правды»...

Ибо *правды* всеобщей *здесь не будет...* Иначе зачем же алкать и жаждать? Сытый не алчет. Упоенный не жаждет.

«Блаженны милостивые», ибо всегда будет кого миловать: униженных и оскорбленных кем-нибудь (тоже *людьми*), богатых или бедных, все равно, — наших собственных оскорбителей, наконец!..

Так говорит Церковь, совпадая с *реализмом,* с грубым и печальным, но глубоким опытом веков. Так, по-видимому, еще думал и сам г. Достоевский, когда писал о *Мертвом доме* и создавал высокое и прекрасное, в своей болезненной истине, произведение — *Преступление и наказание.*

Он тогда как будто хотел *только усилить* теплоту любви своим потрясающим влиянием; он не мечтал еще, по-видимому, в то время о *невозможной реально, о чуть не еретической церковной кристаллизации* этой теплоты в *форме здания всечеловеческой жизни.*

В творениях г. Достоевского заметна в отношении религиозном одна весьма любопытная постепенность. Эту постепенность легко проследить, в особенности при сравнении трех его романов: «Преступление и наказание», «Бесы» и «Братья Карамазовы». В первом представительницею религии являлась почти исключительно несчастная дочь Мармеладова (торговавшая собою по нужде); но и она читала *только* Евангелие... В этом еще мало православного, — Евангелие может читать и молодая англичанка, находящаяся в таком же положении, как и Соня Мармеладова. Чтобы быть православным, *необходимо Евангелие читать сквозь стекла святоотеческого учения;* а иначе из самого св. писания можно извлечь и скопчество, и лютеранство, и молоканство, и другие лжеучения, которых так много и которые все сами се-

бя выводят прямо из Евангелия (или вообще из Библии). Заметим еще одну подробность: эта молодая девушка (Мармеладова) как-то *молебнов* не служит, *духовников* и *монахов* для совета не ищет; к *чудотворным иконам* и *мощам* не прикладывается; отслужила только панихиду по отце. Тогда как в действительной *жизни* подобная женщина непременно все бы это делала, если бы только в ней проснулось живое религиозное чувство... И в самом Петербурге, и поблизости все это можно ведь найти... И вероятнее даже, что жития св. Феодоры, св. Марии Египетской, Таисии и преподобной Аглаиды были бы в ее руках гораздо чаще Евангелия. Видно из этого, что г. Достоевский в то время, когда писал «Преступление и наказание», очень мало о настоящем (т. е. о *церковном*) христианстве думал. В «Бесах» немного получше. Является перед читателем на площади *икона*, чтимая «народом». Автор, видимо, негодует на нигилистов, позволивших себе оскорбить эту *народную* святыню, — *и только*. Из высшего или из образованного круга русских действующих лиц многие и много говорят о Боге, о Христе (*«о Нем»*), — говорят хорошо, красноречиво, пламенно, с большою искренностью, но все-таки не совсем православно, не святоотечески, не *по-церковному*... Все эти речи с точки зрения религиозной не что иное, как прекрасное, благоухающее «млеко», в высшей степени полезное *для начала* тому, кто вовсе забыл думать о Боге и Христе; но только «начало пути», только «млеко», *а твердую и настоящую пищу православного христианства* человек познает тогда, когда начнет с *трепетным* и до сердечного, так сказать, своекорыстия живым интересом читать Иоанна Златоуста, Филарета Московского, жития святых, Варсонофия Великого, Иоанна Лественника, переписку Оптинских наставников, Макария и Антония, с их духовными детьми, мирянами и монахами.

Правда, эпиграфом к роману «Бесы» выбран евангельский рассказ об исцелении бесноватого, который, *исцелившись, сел у ног Христа,* а бесы, бывшие в нем, вошли в свиней, кинувшихся в море... «Бесноватый» олицетворяет в этом случае у г. Достоевского *Россию,* которая тогда исцелится от всех недугов своих, лично-нравственных и общественных, когда станет более христианскою *по духу своему нацией* (разумеется, в лице своих образованных представителей). Но и это весьма неясно... *Какое* христианство: общеевангельское какое-то или в самом деле православное, с верой в икону Иверской Божией Матери, в мощи св. Сергия, в проповеди Тихона Задонского и Филарета *, в прозорливость и святую жизнь некоторых и ныне живущих монахов?..

Какое же *именно* христианство спасет будущую Россию: первое, неопределенно-евангельское, которое непременно будет искать *форм,* или второе, с определенными формами, всем, хотя с виду (если не по внутреннему смыслу), знакомыми?..

На это мы в «Бесах» не найдем и тени ответа!

«Братья Карамазовы» уже *гораздо ближе* к делу. Видно, что автор сам шел хотя и несколько медленно, но все-таки по довольно правильному пути. Он приближался все больше и больше *к Церкви.*

В романе «Братья Карамазовы» весьма значительную роль играют православные монахи; автор относится к ним с любовью и глубоким уважением; некоторые из действующих лиц высшего класса признают за ними особый духовный авторитет. Старцу Зосиме присвоен даже мистический дар «прозорливости» (в пророческом земном поклоне его Дмитрию Карамазову, который должен в будущем быть по ошибке обвинен судом в отцеубийстве) и т. д.

Правда, и в «Братьях Карамазовых» монахи говорят не совсем то или, точнее выражаясь, *совсем не то*, что в действительности говорят *очень хорошие* монахи и у нас, и на Афонской горе, и русские монахи, и греческие, и болгарские. Правда, и тут как-то мало говорится о богослужении, о монастырских послушаниях; ни *одной* церковной службы, ни *одного* молебна... *Отшельник и строгий постник,* Ферапонт, мало *до людей* касающийся, *почему-то* изображен неблагоприятно и насмешливо... *От тела* скончавшегося старца Зосимы *для чего-то* исходит *тлетворный дух,* в это смущает иноков, считавших его святым.

Не так бы, положим, обо всем этом нужно было писать, оставаясь, заметим, даже вполне на «почве действительности». Положим, было бы гораздо лучше сочетать *более сильное мистическое чувство с большею точностью реального изображения:* это было бы правдивее и полезнее, тогда как у г. Достоевского и в этом романе *собственно мистические* чувства все-таки выражены слабо, а чувства *гуманитарной идеализации* даже в речах иноков выражаются весьма пламенно и пространно.

Все это так. Однако, сравнивая «Братьев Карамазовых» с прежними произведениями г. Достоевского, нельзя было не радоваться, что такой русский человек, столь даровитый и столь искренний, все больше и больше *пытается выйти* на настоящий церковный путь; нельзя было не радоваться тому, что он, видимо, стремится замкнуть наконец в определенные и священные для нас формы лиризм своей пламенной, но своевольной и все-таки неясной морали.

Еще шаг, еще два, и он мог бы подарить нас творением истинно великим в своей поучительности.

И вдруг эта *речь!* Опять эти «народы Европы»! Опять это «последнее слово всеобщего примирения»!

Этот «всечеловек»!

— *И ты тоже,* Брут!

Увы, и *ты тоже!..*

Из этой речи, на празднике Пушкина, для меня, по крайней мере (признаюсь), совсем неожиданно оказалось, что г. Достоевский, подобно великому множеству *европейцев* и русских *всечеловеков, все еще*

* *Примеч.* 1885 г.:
Даже и в его *духовный авторитет по государственным вопросам.* Еще раз позволяю себе обратить внимание читателей на ту весьма полезную книгу, о которой я уже упоминал один раз: *Государственное учение Филарета* (Митроп. Московского) (В. Н.). — вторым изданием вышедшую в Москве в нынешнем году.

верит в мирную и кроткую будущность Европы и радуется тому, что нам, русским, быть может и скоро, придется утонуть и расплыться бесследно в безличном океане космополитизма.

Именно бесследно! Ибо что мы принесем на этот (по-моему, скучный до отвращения) *пир всемирного,* однообразного братства? Какой *свой*, ни на что чужое не похожий, след оставим мы в среде этих *смешанных людей грядущего*... «толпой»..., если не всегда «угрюмою»..., то «скоро позабытой»...

Над миром мы пройдем без шума и следа,—
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда...

Было нашей нации поручено одно великое сокровище — строгое и неуклонное церковное православие; но наши лучшие умы не хотят просто «смиряться» перед ним, перед его *«исключительностью»* и перед тою *кажущеюся сухостью,* которою всегда веет на романтически воспитанные души от всего установившегося, правильного и твердого. Они *предпочитают «смиряться»* перед учениями антинационального эвдемонизма, в которых по отношению к Европе даже и нового нет ничего.

Все эти надежды на земную любовь и на мир земной можно найти и в песнях Беранже, и еще больше у Ж.-Занд, и у многих других.

И не только имя Божие, но даже и *Христово имя* упоминалось и на Западе по этому поводу не раз.

Слишком *розовый* оттенок, вносимый в христианство *этой речью* г. Достоевского, есть *новшество* по отношению к Церкви, от человечества ничего особенно благотворного в будущем не ждущей; но этот оттенок не имеет в себе ничего — ни особенно русского, ни особенно нового по отношению к преобладающей европейской мысли XVIII и XIX веков.

Пока г. Достоевский в своих романах говорит *образами,* то, несмотря на *некоторую личную примесь* или *лирическую субъективность* во всех этих образах, видно, что художник вполне и более многих из нас — *русский человек.*

Но выделенная, извлеченная из этих русских образов, из этих русских обстоятельств, *чистая мысль* в этой последней речи оказывается, как почти у всех лучших писателей наших, почти вполне европейскою по идеям и даже по происхождению своему.

Именно мыслей-то мы и *не бросаем до сих пор векам!..*

И, размышляя об этом печальном свойстве нашем, конечно, легко поверить, что мы скоро расплывемся бесследно во *всем* и во *всех.*

Быть может, это так и нужно; но чему же тут радоваться?.. Не могу понять и не умею!..

III.

Итак (скажет мне кто-нибудь), вы позволяете себе отрицать не только возможность повсеместного «воцарения правды», «мирной гармонии» и «благоденствия» на земле, но даже как будто противополагаете все это христианству, как вещи с ним несовместные, изображаете все это чуть-чуть не антитезами его... Вы забыли даже катехизис, в котором всегда приводится текст: «Бог любы есть...»

«Писатель, которого вы сами высоко цените и которого вы в начале предыдущего письма назвали не только даровитым в вполне русским, но и весьма полезным, шаг за шагом, слово за словом, явился у вас под конец того же письма человеком, почти вредным своими заблуждениями, *чуть-чуть не еретиком!..»* Но чего же вы хотите после этого? Чего же вы требуете от России нашей и от нас самих?

О воцарении «правды» и «благоденствия» на земле я не буду здесь много говорить, потому что по этому вопросу все люди, мне кажется, разделяются, очень просто, на расположенных этому идеалу верить в на пожимающих только плечами при подобной мысли, противной одинаково и *реальным законам природы, и всем главным и самым влиятельным из известных нам положительных религий.*

Для убеждения первых (т. е. верующих в «благоденствие» и «правду») нужно говорить долго и подробно, а это невозможно в статье или письме, имеющем специальную цель; вторые же (не расположенные этому верить) поймут меня и с полуслова. Это — о всемирном «благоденствии» и о человеческой «правде».

О «гармонии» я постараюсь сказать особо, если успею, потому что слово «гармония» я понимаю, по-видимому, иначе, чем г. Достоевский и многие другие современники наши. Теперь же объяснюсь примером, кратко и мимоходом. Пушкин сопровождает Паскевича на войну; присутствует *при сражениях. Много людей убито, ранено, огорчено и разорено.* Русские победителями вступают в Эрзерум. Сам поэт испытывает, конечно, за все это время множество *сильных и новых ощущений.* Природа Кавказа и Азиатской Турции; вид *убитых и раненых; затруднения и усталость* походной жизни; возможность *опасности,* которую Пушкин так рыцарски любил; удовольствия штабной жизни при торжествующем войске; даже *незнакомое ему дотоле* наслаждение восточных бань в Тифлисе... После всего этого, или под влиянием всего этого (в том числе и под влиянием крови и тысячи смертей), Пушкин пишет какие-нибудь прекрасные стихи в восточном стиле.

Вот *это — гармония,* примирение антитез, но не в смысле мирного и братского *нравственного согласия,* а в смысле поэтического и взаимного восполнения противоположностей и *в жизни самой* и в искусстве.

Борьба двух великих армий, взятая отдельно от всего побочного во всецелости своей, есть проявление *«реально-эстетической гармонии»*...

А если бразильский император сидит в Петербурге за столом в обществе русских ориенталистов, до того уже все восточное давно утративших (положим), что их очень трудно отличить со стороны от любого европейского бюргера, — то это не столько гармония, сколько *унисон,* очень мирный *унисон*, скучный, немного деревянный и очень бесплодный, т. е, на нравы и

понятия *самих ориенталистов практически не действующий, их более восточными и оригинальными людьми не делающий.* При таком понимании слова «гармония» я не могу и говорить о ней в смысле гармонического или эстетического братства однообразных народов будущего, если бы я даже в это братство имел право верить *и как реалист, и как христианин.*

В глазах реалиста, т. е. человека, не имеющего права делать предсказания без предыдущих, даже и приблизительных, примеров, подобное благоденственное братство, доводящее людей даже до субъективного постоянного удовольствия, не согласуется ни с психологией, ни с социологией, ни с историческим опытом. В глазах христианина подобная мечта противоречит *прямому* и очень *ясному* пророчеству евангелия об ухудшении человеческих отношений *под конец света.*

Братство *по возможности* и гуманность действительно рекомендуются св. писанием Нового Завета для *загробного спасения личной души;* но в св. писании *нигде не сказано, что люди дойдут посредством этой гуманности до мира и благоденствия. — Христос нам этого не обещал... Это неправда*: Христос приказывает, или советует, всем любить ближних *во имя Бога*; но, с другой стороны, пророчествует, что Его многие не послушают.

Вот в каком смысле гуманность новоевропейская и гуманность христианская являются несомненно антитезами, даже очень трудно примиримыми (или примиримыми *эстетически*, только в области поэзии, как *жизненной*, так и *художественной*, т. е. в смысле *увлекательной и многосложной борьбы*). Удивляться этому или ужасаться такой мысли не следует. Это очень понятно, хотя и печально. Гуманность есть идея *простая*; христианство есть представление *сложное.* В христианстве между *многими другими* сторонами есть и гуманность или любовь к человечеству «о Христе», то есть не из нас прямо истекающая, а *Христом даруемая и Христа за ближним провидящая, — от Христа и для Христа.* Гуманность же простая, «автономическая», шаг за шагом, мысль за мыслью может вести к тому сухому и самоуверенному утилитаризму, к тому эпидемическому умопомешательству нашего времени, которое можно психиатрически назвать mania democratica progressiva. Все дело в том, что мы претендуем *сами по себе,* без помощи Божией, быть или очень добрыми, или, что еще ошибочнее, быть полезными. Я говорю — *ошибочнее,* ибо доброту еще свою, порыв искренней любви и милосердия человек не может не чувствовать, — это *факт невольного сознания.* Но как быть уверенным *в пользе* не только всем, но и многим? Спасая одного, я, может быть, врежу кому-нибудь другому. Христианство мирит это легко именно тем, что, с одной стороны, не верит в прочность и постоянство автономических добродетелей наших, а с другой — долгое благоденствие и покой души считает вредным. Оскорбителю оно говорит: «Кайся: ты согрешил», Оскорбленному внушает: «Эта обида тебе полезна; рукой неправедного человека наказал тебя Бог; прости человеку и кайся перед Богом».

Горе, страдание, разорение, *обиду* христианство зовет даже иногда *посещением Божиим.*

А гуманность простая хочет стереть с лица земли эти *полезные* нам обиды, разорения и горести...

В этом отношении христианство и гуманность можно уподобить двум сильным поездам железной дороги, вышедшим сначала из одного пункта, но которые, вследствие постепенного уклонения путей, должны не только удариться друг об друга, но даже и прийти в сокрушающее столкновение *.

Во всех духовных сочинениях, правда, говорится о любви к людям. Но во всех же подобных книгах мы найдем также, что *начало премудрости* (т. е. религиозной и *истекающей из нее* житейской премудрости) есть «страх Божий», — простой, *очень простой страх* и загробной муки, и других наказаний в форме земных истязаний, горестей и бед.

Отчего же г. Достоевский не говорит *прямо об этом страхе*? Не потому ли, что *идея любви привлекательнее*? Любовь красит человека, а страх унижает. Но, во-первых, перед христианским учением добровольное унижение о Господе (т. е. то самое «смирение», которое так уважает и г. Достоевский) лучше и *вернее для спасения души,* чем эта гордая и невозможная претензия ежечасного незлобия и ежеминутной *елейности.* Многие праведники предпочитали удаление в пустыню *деятельной* любви; там они *молились Богу сперва* за свою душу, а *потом* за других людей; многие из них это делали потому, что очень правильно не надеялись на себя и находили, что покаяние и молитва, т. е. *страх и своего рода унижение,* вернее, чем претензия *мирского незлобия* и чем *самоуверенность деятельной любви* в многолюдном обществе. Даже в монашеских общежитиях опытные старцы не очень-то позволяют увлекаться деятельною и горячею любовью, а прежде всего учат *послушанию, принижению, пассивному прощению обид...* И это все считается до невероятности трудным, в особенности для тех людей, которые воображают себя уже смиренными и в «миру» *собственными усилиями* для монастыря подготовленными. Случаями поразительного падения этих духовных Икаров, нередко весьма искренних и благородных, наполнена история монашества от начала его и до нашего времени.

Да, прежде всего *страх,* потом «смирение»; или прежде всего — *смирение ума,* презрительно относящегося не к себе только одному, но и ко всем другим, даже и гениальным, человеческим умам, беспрестанно ошибающимся.

Такое смирение шаг за шагом ведет к вере и страху пред именем Божиим, к *послушанию учению* Церкви, этого Бога нам поясняющей. *А любовь — уже после.* Лю-

* Уподобление это принадлежит не мне; но оно так прекрасно, что я хотел непременно воспользоваться им. Оно принадлежит Прево-Парадолю, застрелившемуся в Америке. Он прилагал его к Франции и Германии еще до войны 1870 года и предсказывал поражение своей отчизны.

бовь кроткая, себе самому приятная, другим отрадная, всепрощающая — это плод, венец: это или награда за веру и страх, или особый дар благодати, *натуре* сообщенный или случайными и счастливыми условиями воспитания укрепленный. Как в особый дар благодати, я охотно верю искренности и любви, когда дело идет, например, о самом ораторе, т. е. о натуре высоко одаренной; но совсем другое я чувствую, когда я думаю о большинстве слушателей его, восхищавшихся, я уверен, *больше любовью к Европе, чем любовью ко Христу и действительно к ближнему...*

Есть, однако, в числе разных многочисленных родов и оттенков человеческой любви один особый род, который может и неверующего и несмиренного человека *своим* путем привести и к вере, и к смирению, а потом даже и к той любви человечества о *Боге*, которой достигали столь немногие во все времена, да и то приблизительно, подобно тому, как в квадратуре круга приближается подвижной многоугольник к полному и неподвижному кругу Божественной чистоты.

Но об этой любви я не стану говорить своими словами. Прежде меня и лучше меня сказал о ней, почти в одно время с г. Достоевским, другой русский христианин, в речи менее прославленной, но в одном отношении более *правильной,* чем речь г. Достоевского.

Я говорю о К. П. Победоносцеве. Почти в то самое время, когда в Москве так шумно праздновали память Пушкина, ели, пили, убирали памятник венками, рукоплескали, плакали и даже падали в обморок, радуясь, что мы наконец-то «созрели», или, вернее, — *перезрели* до того, что нам остается только заклать себя на алтаре всечеловеческой (т. е. просто европейской) демократии, этот русский христианин, о котором я вспомнил, один, по должности своей, счастливо совпадающей с его чувствами и призванием, посетил далекую Ярославскую епархию, и там, на выпуске в училище для дочерей священно- и церковнослужителей, состоявшем под покровительством в Бозе почившей императрицы, сказал слово, которое *Московские Ведомости* по справедливости назвали прекрасным и возвышенным и которое я бы желал назвать *благородно-смиренным.*

Вот отрывки из этой речи. Сперва г. Победоносцев говорит о том, как поминать покойную их покровительницу:

«Она сама завещала всем любящим *ее поминать ее на литургии, когда приносится бескровная Жертва на престоле Господнем...*»

«...До последних дней жизни она поминала с глубокою признательностью тех, кто ввел ее в Церковь и показал *ей нашу церковную красоту. Любите вы выше всего на свете нашу Церковь, так, как любит человек, однажды узнавши, верховную красоту и ничего не хочет променять на нее...*»

И еще:

«Только через Церковь можете вы сойтись с народом просто и свободно и войти в его доверие».

Потом:

«Одно прочно — простые дела милосердия: алчущего напитать, жаждущего напоить, нагого одеть, а выше всего темную душу осветить светом богопознания, холодную согреть огнем любви, — вот дела, которые пойдут вслед за нами».

В чем же разница между этими двумя речами, одинаково прекрасными в ораторском отношении?

И там «Христос», и здесь «Божественный Учитель». И там, и здесь — «любовь и милосердие». Не все ли равно? — Нет, разница большая, расстояние неизмеримое...

Во-первых, в речи г. Победоносцева Христос познается не иначе, как *через Церковь: «любите прежде всего Церковь».* В речи г. Достоевского Христос, *по-видимому,* по крайней мере, до того помимо Церкви доступен всякому из нас, что мы считаем себя вправе, даже не справясь с азбукой катехизиса, т. е. с самыми *существенными* положениями и *безусловными* требованиями православного учения, приписывать Спасителю никогда не обещанные им обещания «всеобщего братства народов», «повсеместного мира» и «гармонии».

Во-вторых, — о «милосердии и любви». И тут для внимательного ума большая разница. «Милосердие» г. Победоносцева — это *только личное* милосердие, и «любовь» г. Победоносцева — это именно та непритязательная любовь к «ближнему», — именно к *ближнему*, к *ближайшему*, к *встречному*, к тому, кто под рукой, — милосердие к *живому, реальному,* человеку, которого слезы мы видим, которого стоны и вздохи мы слышим, которому руку мы можем пожать, действительно как брату, в *этот час...* У г. Победоносцева нет и намека на собирательное и отвлеченное человечество, которого многообразные желания, противоположные потребности, друг друга борющие и исключающие, мы и представить себе не можем даже и в настоящем, не только в лице грядущих поколений...

У г. Победоносцева это так ясно: любите Церковь, ее учение, ее уставы, обряды, *даже догматы* (да, даже *сухие* догматы можно, благодаря *вере,* любить донельзя!). Будет вам *приятна церковь*, или (скажем проще) понравится вам ходить почаще к обедне или посещать *внимательно* монастыри, — вы захотите лучше понять учение; понявши учение, будете, *по мере сил вашей натуры,* жить по-христиански или, по крайней мере, понимать все по-христиански, как понимал по-христиански столь *дурно живший мытарь.* Церковь скажет вам вот что: «не претендуйте постоянно пылать и пылать любовью...» Дело вовсе не в ваших высоких порывах, *которыми вы восхищаетесь,* — дело, напротив того, в покаянии и даже в некотором унижении ума. Не берите *на себя лишнего,* не возноситесь всё этими высокими и высокими порывами, в которых кроется часто столько гордости, тщеславия, честолюбия. Будьте свободолюбивы, если вам угодно, на почве политической (хотя и это не совсем правильно, ибо апостол говорит, что даже иноверному и несправедливому начальству надобно повиноваться), но, ради Бога, на почве религиозной учитесь скромно у Церкви и, даже, еще проще и прямее говоря, учитесь у русского духовенства, у этого сословия, столь несо-

вершенного и нравственно, и умственно. Оно весьма несовершенно, это правда; быть может, оно по условиям исторического воспитания вышло несколько суше, несколько грубее нас, *по-дворянски* воспитанных мирян, это правда... Но оно *знает учение* Церкви; и даже (путей у Бога много!) самая эта сухость его могла располагать его сопротивляться *порывистым новшествам*. И еще: разве для горячих порывов необходимы только новшества? Или разве православие еще не достаточно у нас забыто и в светском обществе, и в ученом, чтобы не иметь возможности стать опять новым и увлекательным?.. Прекрасный сосуд не разбит еще, не расплавлен дотла на пожирающем огне европейского прогресса. Вливайте в него утешительный и укрепляющий напиток вашей образованности, вашего ума, вашей личной доброты, и *только*, — и вы будете правы.

По-видимому, в некоторых местах речи своей г. Достоевский говорит почти в том же смысле, в исключительно личном. В этих местах он является *по-прежнему* вполне христианином, — только христианином, *чего-то ясно и прямо не договорившим и что-то другое, лишнее*, вместе с тем, *пересказавшим*.

Например:

«Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость! Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной «ниве»... Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой — и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя и — станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и *других свободными сделаешь, и узришь счастье*, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его. Не у цыган и нигде — *мировая гармония*, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить».

Не договорено тут малости: *не упомянуто о самом существенном — о Церкви. Пересказано лишнее* — о какой-то *окончательной (?) гармонии*.

Но оставим эту гармонию, о которой я уже говорил и которая испортила, по-моему, все прекрасное дело Ф. М. Достоевского. Посмотрим лучше, что такое это смирение перед «народом», перед «верой и правдой», которому и прежде многие нас учили.

В этих словах: *смирение перед народом* (или как будто перед мужиком в специальности) — есть нечто очень сбивчивое и отчасти ложное. В чем же смиряться перед простым народом, скажите? Уважать его телесный труд? — Нет; всякий знает, что не об этом речь: это само собою разумеется и это умели понимать и прежде даже многие из рабовладельцев наших. Подражать его нравственным качествам? — Есть, конечно, очень хорошие. Но не думаю, чтобы семейные, общественные и вообще *личные*, в тесном смысле, качества наших простолюдинов были бы все уж так достойны подражания. Едва ли нужно подражать их сухости в обращении со страдальцами и больными, их немилосердной жестокости в гневе, их пьянству, расположению столь многих из них к постоянному лукавству и даже воровству... Конечно, не с этой стороны советуют нам перед ним «смиряться». Надо учиться у него «смиряться» *умственно, философски смиряться, понять*, что в его *миросозерцании больше истины*, чем в нашем...

Уж одно то хорошо, что наш простолюдин Европы не знает и о благоденствии общем не заботится: когда мы в стихах Тютчева читаем о долготерпении русского народа и, задумавшись внимательно, спрашиваем себя: «В чем же именно выражается это долготерпение?» — то, разумеется, понимаем, что не в одном физическом труде, к которому народ так привык, что ему долго быть без него показалось бы и скучно (кто из нас не встречал, например, работниц и кормилиц в городах, скучающих по пашне и сенокосу?..). Значит, не в этом дело. Долготерпение и смирение русского народа выражалось и выражается отчасти в охотном повиновении властям, иногда несправедливым и жестоким, как всякие земные власти, отчасти в преданности учению Церкви, ее установлениям и обрядам. Поэтому смирение перед народом для отдающего себе ясный отчет в своих чувствах есть не что иное, как *смирение перед тою самою Церковью, которую советует любить г. Победоносцев*.

И эта любовь гораздо осязательнее и понятнее, чем любовь *ко всему человечеству*, ибо от нас зависит узнать, чего хочет и что требует от нас эта Церковь. Но чего заатра пожелает не только все человечество, но хоть бы и наша Россия (утрачивающая на наших глазах даже прославленный иностранцами государственный инстинкт свой), этого мы понять не можем наверно. У Церкви есть *свои незыблемые правила* и есть *внешние формы* — тоже свои собственные, особые, ясные, видимые. У русского общества нет теперь ни *своих* правил, ни *своих* форм!..

Любя Церковь, знаешь, чем, так сказать, «угодить» ей. Но как угодить человечеству, когда входящие в состав его миллионы людей между собою не только не согласны, но даже и *не согласимы вовек!..*

Эта вечная несогласимость нисколько не противоречит тому стремлению к однообразию в идеях, воспитании и нравах, которое мы видим теперь повсюду. *Сходство прав и воспитания только уравнивает претензии, не уменьшая противоположности интересов*, и потому только усиливает возможность столкновения.

Любить Церковь — это так понятно!

Любить же *современную* Европу, так жестоко преследующую даже у себя римскую Церковь, — Церковь все-таки великую и апостольскую, несмотря на все глубокие догматические оттенки, отделяющие ее от нас, — это просто грех!

Отчего же в нашем обществе и *в безыдейной* литературе нашей не было заметно сочувствия ни к Пию IX, к кардиналу Ледоховскому, ни к западному монашеству

вообще, теперь везде столь гонимому? Вот бы в каком случае могли совместиться и христианское чувство, и художественное, и либеральное.

Ибо, с одной стороны, католики — это единственные представители христианства на Западе (и об этом прекрасно писал тот самый Тютчев, который хвалил долготерпение русского народа); с другой — истинная гуманность, живая, непосредственная, не может относиться только к работнику и раненому солдату. Человек высокого звания, оскорбляемый и гонимый толпою, полководец побежденный, подобно Бенедеку или Осман-паше, может пробудить очень живое и глубокое чувство почтительного сострадания в сердцах, не испорченных односторонними демократическими «сантиментами».

А поэзии, конечно, в папе и Ледоховском больше, чем в дерзком и дюжинном западном работнике.

Я думаю, если бы Пушкин прожил дольше, то был бы за папу и Ледоховского, даже за Дон-Карлоса... Революционная современность претворяет в себя постепенно всю ту старую и поэтическую, разнообразную Европу, которую наш поэт так любил, конечно, не нравственно-доброжелательным чувством, в прежде всего художественным, каким-то пантеистическим...

Я вспоминаю одну отвратительную картинку в какой-то иллюстрации, кажется, в «Gartenlaube». Сельский мирный ландшафт, кусты, вдали роща, у рощи скромная церковь (католическая). На первом плане политипажа крестный ход; старушки набожные, крестьяне без шляп; в позах и на лицах именно то «смирение», которое и в нашем простолюдине, в подобных случаях, нас трогает. Впереди — сельское духовенство с хоругвями. Но эти добрые, эти «смиренные перед Христом» люди не могут дойти до Его храма. Поезд железной дороги остановился зачем-то на рельсах, и шлагбаум закрыт. Им нужно долго ждать или обходить далеко. Прямо в лицо священникам, опершись на перила вагона, равнодушно глядит какой-то бородатый блузник.

Политипаж был, видимо, составлен с насмешкой и злорадством...

О, как ненавистно показалось мне спокойное и даже красивое лицо этого блузника!

И как мне хочется теперь в ответ на странное восклицание г. Достоевского: «О, народы Европы и не знают, как они нам дороги!» — воскликнуть не от лица всей России, но гораздо скромнее, прямо от моего лица и от лица немногих мне сочувствующих: «О, как мы ненавидим тебя, *современная Европа*, за то, что ты погубила у себя самой все великое, изящное и святое и уничтожаешь и у нас, несчастных, столько драгоценного твоим заразительным дыханием!..».

Если такого рода ненависть — «грех», то я согласен остаться весь век при таком грехе, рождаемом любовью к Церкви... Я говорю: «к Церкви», даже и католической, ибо если б я не был православным, то желал бы, конечно, лучше быть верующим католиком, чем эвдемонистом и либерал-демократом!!! Уж это слишком мерзко!!..

Примечание 1885 года

Есть люди весьма почтенные, умные и Достоевского близко знавшие, которые уверяют, что он этою речью имел в виду выразить *совсем не то*, в чем я его обвиняю; они говорят, что у него при этом были даже некие *скрытые мечтания апокалиптического характера*. Я не знаю, что Ф. М. *думал* и что он *говорил в частных беседах* с друзьями своими; это относится к интимной биографии его, а не к публичной *этой* речи, в которой и тени намека нет на что-нибудь не только «апокалиптическое» (т. е. *дальше* определенного учения Церкви идущее), но и вообще очень мало истинно-религиозного — гораздо меньше, чем в романе «Братья Карамазовы». Так как в недостатке смелости и независимости Ф. М. Достоевского уж никак обвинять нельзя, то эту речь надо, по моему мнению, считать просто ошибкой, необдуманностью, промахом какой-то нервозной торопливости; ибо в его собственных сочинениях, даже и ранних, можно найти много мыслей, совершенно с этим культом «всечеловека», «Европы» и «окончательной гармонии» несовместных.

Например, в «Записках из подполья» есть чрезвычайно остроумные насмешки именно над этой окончательною гармонией или над благоустройством человечества. Если Достоевский имел в виду все-таки *что-то другое*, так надо было прямо это сказать [или] хоть намекнуть на это, а то почему же люди могут догадаться, что такой умный, даровитый, опытный и смелый человек говорит в этой речи одно, а думает другое, — говорит нечто очень простое, до плоскости простое, а *думает* о чем-то очень таинственном, очень оригинальном и очень глубоком?.. Догадаться невозможно.

Нередко, впрочем, случается и то, что писатель сам в жизни уже дозрел до известной идеи и до известных чувств, но эти идеи и чувства его еще не дозрели до литературного (или ораторского — все равно) *выражения*. Он еще не нашел для них соответственной формы.

Я готов верить, что поживи Достоевский еще два-три года, он *еще гораздо ближе*, чем в «Карамазовых», подошел бы к Церкви и даже к монашеству, которое он любил и уважал, хотя, видимо, очень мало знал и больше всё хотел учить монахов, чем сам учиться у них.

Лично, я слышал, он был человек православный; в храм Божий ходил, исповедовался, причащался и т. д.; он дозрел, вероятно, сердцем до элементарных, так сказать, верований православия, но писать и проповедовать правильно еще не мог; ему еще нужно бы учиться (просто у духовенства), а он спешил учить!

Впрочем, большинство наших образованных людей, даже и посещающих храм Божий и молящихся, так невнимательно и небрежно относится к основам учения христианского, что, пожалуй, речь более православная не так бы и понравилась, как эта речь, которая польстила нашей религиозной и национальной бесцветности и как бы придала ей (этой бесцветности) высший исторический смысл.

Ошибка оратора, неясность и незрелость его мыслей на этот раз, вероятно, и доставили ему такой шумный, но вовсе не особенно лестный успех.

Для того, кто этой речи покойного Достоевского не слыхал и не читал, или кто забыл те ее самые существенные строки, которые меня так неприятно удивили, — я эти строки здесь помещаю. Вот они:

«Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (а конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, «всечеловеком», если хотите. И все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю после петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой? Не думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило. О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди, поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение *в европейские противоречия уже окончательно*, указать *исход* европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, *а в конце концов*, может быть, и *изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!*»

(«Венок на памятник Пушкину», 1880, стран. 243—258.)

Я спрашиваю по совести: можно ли догадаться, что здесь подразумевается некая таинственная церковно-мистическая и даже чуть не апокалипсическая мысль о земном назначении России?

Что-нибудь одно из двух — или я прав в том, что эта речь промах для такого защитника и чтителя Церкви, каким желал быть Ф. М. Достоевский, или я сам непроницателен в этом случае до невероятной глупости. Пусть будет и так, если уж покойного Достоевского во всем надо непременно оправдывать. Я и на эту альтернативу соглашусь скорее, чем признать за этой космополитической, весьма обычной по духу в России выходкой какое-то *особое* значение!

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] **Торквемада** (ок. 1420 — 1498), с 80-х гг. XV века — глава испанской инквизиции (великий инквизитор).

[2] **Жозеф де Местр** (1753 — 1821), граф, французский публицист, политический деятель, религиозный философ-католик, знаменитый идеолог европейского клерикально-монархического движения.

[3] Более Ницше, чем сам Ницше *(франц.)*.

[4] **Алкивиад** (ок. 450 — 404 гг. до н. э.), афинский стратег, выдающийся полководец периода Пелопонесской войны, дерзкий политик и воин.

[5] **Гамбетта Леон** (1838 — 1882), французский политический деятель, лидер левобуржуазных республиканцев, премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881—1882 годах. У Леонтьева (как, впрочем, и у Салтыкова-Щедрина) имя Гамбетты часто выступает как нарицательное, символизируя буржуазную пошлость, «демократическую» бездуховность и т. п.

[6] Имеется в виду книга И. А. Ильина «О сопротивлении злу силою» (1925).

[7] Статьи К. Леонтьева печатаются с возможным приближением к авторской пунктуации и авторскому написанию. Статья «Национальная политика как орудие всемирной революции» дается по тексту одноименной брошюры К. Леонтьева, изданной в 1889 г. в Москве; статья «О всемирной любви» — по 8-му тому собрания сочинений К. Леонтьева (издание В. М. Саблина, Москва, 1912). В публикации выправлены очевидные опечатки в указанных изданиях.

[8] **Фудель Иосиф Иванович** (1864 — 1918), православный священник, русский религиозный писатель, корреспондент и поклонник К. Леонтьева.

[9] **Грамматократия** *(гр.)* — власть образованных.

[10] **Легитимисты** — сторонники наследственной верховной власти.

[11] **Фанариоты** — греки, осевшие в Турции после завоевания турками Константинополя.

[12] **Альфред де Мюссе** (1810—1857), французский поэт-романтик.

[13] «Старый режим и революция» *(франц.)*.

[14] **Телеология** *(гр.)* — учение о цели, целеполагании, целесообразности, которые, по этому учению, присущи всему, в том числе — природе, будучи установленными самим Богом. Согласно *утилитарной телеологии*, мир создан ради целей человека, и правильно поставленная человеком цель оказывается залогом желаемого практического результата развития (благоденствия, процветания человеческого общества). Сюда входит и теория предустановленной гармонии, якобы достижимой при идеально постулированной цели.

[15] **Тьер Адольф** (1797 — 1877) — французский государственный деятель, историк, автор «Истории французской революции». В 1871 — 73 гг. — президент Франции.

[16] Государственный переворот *(франц.)*.

[17] **Генерал Джон Монк** (1608—1669), командовавший шотландской армией, обеспечил призвание в 1660 г. на английский престол Карла II Стюарта.

[18] **«Варшавский Дневник»** — русская правительственная газета, издававшаяся в Варшаве.

[19] Парикмахер *(франц., устар.)*.

[20] Солдат *(франц.)*.

[21] Искушение *(лат.)*.

[22] **Киновия** *(гр.)* — братский общежительный монастырь. Афонский киновиат — афонское монашество.

Публикацию статей
Константина Леонтьева подготовила
Татьяна ГЛУШКОВА.

КРИТИКА



АРСЕНИЙ ГУЛЫГА

РУССКИЙ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ РЕНЕССАНС

Русский религиозно-философский ренессанс — небывалый взлет духовности, который переживала наша страна на протяжении полувека. Начиная с семидесятых годов прошлого века (когда расцветал талант Ф. Достоевского и Л. Толстого, мужала мысль К. Леонтьева, Вл. Соловьева, Н. Федорова) центр мирового философствования переместился в Россию. И так продолжалось до двадцатых годов столетия нынешнего, когда высланы были за границу крупнейшие наши мыслители, наша национальная гордость — С. Булгаков, Н. Бердяев, И. Ильин, Л. Карсавин, С. Франк, Н. Лосский, Б. Вышеславцев. Л. Шестов покинул Россию несколько ранее. С. Трубецкой умер до революции. В. Эрн, В. Розанов, Е. Трубецкой — в годы революции. П. Флоренский и Г. Шпет — в заключении. А. Лосев прошел сквозь лагеря и вынужден был молчать до смерти Сталина. К этому надо добавить десятки менее громких имен (Д. Чижевский, Б. Яковенко, Н. Болдырев, Е. Спекторский, С. Левицкий, В. Зеньковский и др.) — профессоров и доцентов философии, богословов и публицистов, казненных, замученных, изгнанных. Характерна в этом отношении судьба литературного героя приват-доцента натурфилософии Петербургского университета Корнилова («После бури» С. Залыгина). Он сражался в стане белых, чудом ушел из-под расстрела, скрывал свою специальность и свое имя, инсценировал самоубийство, чтобы остаться в живых. Жесткая метла антирусского геноцида вымела отечественную философию из университетских аудиторий.

К тридцатым годам философские факультеты в нашей стране были закрыты. Когда в 1938 году снова стало возможно учиться «на философа», оказалось, что учить некому. На весь факультет в Москве был один профессор, владевший предметом,— Б. Черньшев. (Мы, учившиеся до войны, вспоминаем о нем с великой благодарностью.) В годы войны на него взвалили «ошибки» в освещении немецкой философии, и он умер сравнительно молодым.

А изгнанники продолжали свою деятельность за рубежом — писали замечательные книги, которые издавались, переводились на другие языки, влияя на развитие западноевропейской мысли. От нас все это скрывали. Впрочем, не от всех: в 1954 году издательство «Иностранная литература» выпустило мизерным тиражом для бюрократической элиты в переводе с английского книгу Н. Лосского «История русской философии». Распространялась книга бесплатно «по особому списку». Чтобы сами знали, а другим не говорили (вернее, рассказывали басни о загнивании идеализма). Книга очень хороша (и перевод неплох), хотелось бы увидеть ее опубликованной «открытым» способом. Есть еще две хорошие книги, достойные внимания и издания,— В. Зеньковский «История русской философии», Париж, 1950, т. 1—2, и С. Левицкий «Очерки по истории русской мысли», т. 1—2, Франкфурт/М. 1981.

А вот к немецкой работе В. Гёрдта, получившей восторженные рецензии в ФРГ (W. Goerdt. Russische Philosophie.— Freiburg/München, 1984), следует отнестись весьма и весьма критически. Автор гонится за сенсацией (ныне уже, слава богу, неактуальной) и советским «диссидентством» уделяет свое первоочередное внимание. Книга объемом почти в 800 страниц содержит лишь в сноске краткое упоминание о Н. Федорове; о П. Флоренском сказано мимоходом — меньше, чем о погубившем его доносчике Э. Кольмане. В. Гёрдт выступает против «мнимо-романтического выведения «сущности» русской философии из русского народного характера, русского образа мысли, русской души» (с. 43); ныне профессор

Гёрдт на пенсии, но продолжает следить за нашей духовной жизнью.

18 августа 1989 г. в солидной швейцарской газете «Нойе цюрихер Цайтунг» он опубликовал пространное, но довольно поверхностное обозрение наших последних споров «Возвращение из небытия. «Ренессанс» русской философии в период гласности и перестройки». Гёрдт и здесь выступает против концепции «русской души». По его мнению, не существует никакой специфической русской философии.

Справедливости ради отметим, что В. Гёрдт не выражает всеобщего мнения на Западе. В газете «Франкфуртер альгемайне» (24 мая 1989 г.) — совсем иной подход к делу. Известный славист Дитрих Гайер в статье «Нести мертвого бога в сердце. Возрождение русской идеалистической философии» с большим одобрением пишет о наших попытках увидеть в отечественной философии национальные черты.

Я упомянул об откликах в ежедневной прессе, чтобы показать, какой широкий резонанс получает на Западе процесс нашего духовного обновления. А оно идет. Сняты замки с хранилищ национальной мудрости. Русская философия из «спецхрана» перекочевала в «общее пользование». В серии «Философское наследие» вышел объемистый двухтомник Вл. Соловьева (тираж, увы, 30 000, цена на черном рынке — 150 рублей), в качестве приложения к журналу «Вопросы философии» появился том Бердяева (хорошо подготовленный и прокомментированный А. Поляковым), двухтомник Вл. Соловьева, сочинения К. Кавелина. Газеты и журналы наперебой публикуют русских идеалистов и материалы о них. Теперь в общее дело включается и «Наш современник», что заслуживает одобрения и поддержки.

Не из одного только исторического любопытства обращаемся мы к своему философскому наследию, есть более основательная причина: мы ищем в нем ту точку опоры, которая нужна для нравственного воспитания. Что бы ни утверждали рационалистически ориентированные мудрецы, мы знаем: философия каждого народа окрашена в национальные тона. Россия не составляет исключения. Тысячелетняя культура народа не могла не отразиться в философии. И «русская душа», со всеми своими сложностями и противоречиями, открытая православному Богу, встает со страниц наших мыслителей. Не замечать этого нельзя. И именно поэтому мы уповаем сегодня на философскую традицию: наши души очерствели, надо вернуть им традиционные ценности, разбудить напоминанием о былом, возродить для будущего. И не только слово наших мыслителей — сама трагическая судьба их должна содействовать воспитанию.

Русский философский ренессанс — составная часть мировой культуры. Корни его не только в родной почве, но и в тех учениях, которые вынашивала европейская мысль, прежде всего — в немецкой философской классике. Без Канта, Фихте, Гегеля и Шеллинга нельзя понять наших мыслителей. Они сделали самостоятельный рывок вперед, но стартовой площадкой, помимо домашней духовности служила зарубежная образованность. Фундаментальный труд о Фихте создал Вышеславцев, о Гегеле — Ильин, Кант был у всех на устах и в уме, с ним спорили, его опровергали, порой проклинали, но обойтись без него не могли. А что касается Шеллинга, мечтавшего о переходе в православие, то в России он оставил более глубокий след, чем у себя на родине; русская философия — шеллингианка.

Чего достигли, на чем остановились немцы? Я не могу здесь вдаваться в подробности, остановлюсь лишь на существенной для русской мысли проблеме человека. «Что такое человек?». Для Канта — это главный вопрос философии, да и для его последователей и наследников это тоже главный вопрос. Ответ на него нельзя дать средствами науки, таков итог немецкой классической философии.

Нет, человека ты никак
Истолковать не в состоянии, —

упрекает Фауст Мефистофеля (в котором можно увидеть олицетворение всемогущего знания). Этот упрек как бы произносит философия науке. Кант великолепно показал, как возникает научное знание, но он же и обрисовал границы, за которые оно не может выйти, — душа, мир в целом, Бог. Гегель призвал на помощь диалектику, привел в движение понятийный аппарат, но за очерченные Кантом границы не вышел. Его мир, его Бог — это каркас логических конструкций. Шеллинг (а у нас — Ильин) обнаружил тайну гегельянства — панлогизм.

Критикуя Гегеля, Шеллинг выдвинул идею принципиально новой, «положительной» философии, которая не объясняла бы мир, а изменяла бы его, творила его. (Для этого, разумеется, ничего не надо ломать, никого — расстреливать, речь идет о мире духовности.) Шеллинг многие годы бился над своей идеей, был недоволен тем, что выходило из-под пера, и поэтому ничего не публиковал. Проблема оставалась открытой.

И перешла целиком в русскую философию. Усвоив дух Достоевского, русские мыслители решили задачу Шеллинга. Они все заняты разработкой «положительной философии», как задумал ее Шеллинг. Это философия творящего духа, философия ценностей, святынь, философия любви. Для освоения ее мало понятийного аппарата — нужно интуитивное постижение истины в ее животворной полноте.

На первом месте — Бог, абсолют, идеал, без которого невозможна мораль, то главное, что делает человека человеком, чудо нравственного закона, объяснить который был не в силах Кант. Бог — это любовь, преобразующая жизнь человека, а затем и Вселенной.

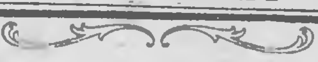
Великое завоевание немецкой классики — идея активности субъекта. Но у Канта субъект абстрактен, это индивид вообще; у Фихте и Гегеля — это вид, общность (без учета составляющих ее компонентов). Русские же поставили проблему, которая сегодня называется «интерсубъективностью», взаимосвязи личностей — действующих, думающих, переживающих (в том числе и неосознанно — это особенно у Достоевского). Единство общего и единичного, при сохранении полного богатства последнего, — «соборность». Такого термина нет на Западе. К сожалению, наши справочники и энциклопедии его тоже сегодня не фиксируют, хотя это одна из главных ипостасей отечественной мудрости.

И еще одна ее ипостась — космизм. Не только полеты в космос. Хотя я уверен, что мы стали пионерами освоения межпланетного пространства потому, что наша философская мысль была еще в прошлом веке устремлена в космос: общественное сознание готовило научно-техническое решение проблемы. Гегель в космос не заглядывал, для успокоения его Абсолютного духа хватало пределов Пруссии. Кант, хотя и создал передовую для своего времени космогоническую гипотезу, но на звездное небо всегда смотрел как на величайшую загадку и помыслить не смел, что человек в состоянии устремиться «к звездам».

Русские заговорили о месте человека в космосе, о связи микро- и макрокосмоса. Предчувствие социального катаклизма заставило задуматься о «конце истории», но не как гибели мира, а как его преображении. Апокалипсис — всего лишь предупреждение, нужно не допустить его, история должна иметь «счастливый конец»: человек уступит место сверхчеловеку, преодолевшему смерть. Одни считали, что это научно-техническая задача, другие видели в этом исполнение божественных предначертаний. Так или иначе, но была поставлена проблема космической ответственности человека. В наш атомный век она обрела особый, актуальный смысл.

Итак, любовь, соборность, космическая вовлеченность — три проблемы, три признака русской религиозной философии, выдвинувших ее на мировой и вполне современный уровень. Это то общее, что объединяет в одно целое различные, порой резко отличающиеся друг от друга фигуры нашего культурного ренессанса конца прошлого — начала нынешнего столетия.





Круг чтения

ВЯЧЕСЛАВ МОРОЗОВ

ЛЮБВИ И ПРАВДЫ ЧИСТЫЕ УЧЕНЬЯ

НАД СТРАНИЦАМИ «ЛИТЕРАТУРНОГО ИРКУТСКА»

«Литературный Иркутск» знают не только в стране. Добавить привычно-размазанное «но и за рубежом» — было бы правдой, но лишенной важного уточнения: во всех странах мира, где есть русские поселения. Свидетельство тому — редакционная почта, две большие рецензии в «Новой русской мысли» (США), литературные обозрения радио Ватикана, радиостанции «Свобода». Осторожно предположу, что русские люди за рубежом лучше знакомы с «Литературным Иркутском», нежели русские, живущие в России или проживающие в какой-нибудь беспокойной братской союзной республике. Откровенный национализм «малых народов» грешно сказать, что приветствуется, но и не пресекается. Представители «Саюдиса» выезжают в ФРГ в составе культурной делегации СССР и на встречах с непросвещенными немцами разъясняют, почему лозунг «Русские, вон из Литвы!» сегодня актуален. Тираж террора, террор тиража... В предвыборной кампании этого года в речах некоторых кандидатов в депутаты звучало требование закрыть «Литературный Иркутск» как «шовинистическое издание». Ей-же богу, пора уже отвечать за свои слова, принародно сказанные! Я имею в виду — по Закону. «Плюрализм» покамест соответствует строчкам из кварты Алексея Маркова:

> **Меня поносят в микрофон,**
> **А я в ответ кричу из зала...**

Написано это, правда, с десяток лет назад, но и сегодня многим до микрофона не дотянуться. Тираж «Литературного Иркутска» застыл на цифре 10 тысяч. Думаю, увеличься тираж на два-три порядка, и то растворился бы в читательской массе, как шоколадка в голодной слюне. Тут приходит на память полупритча-полуанекдот. Мудреца спросили: когда лучше всего принимать пищу? Тот ответил: у кого она есть — когда захочет кушать, у кого нет — когда добудет. То же самое — с проблемой бумаги у иркутян. По стране гуляют ксерокопии и машинные перепечатки статей из «Литературного Иркутска». А номер, посвященный 1000-летию крещения Руси, мне приходилось видеть скопированный целиком — от корки до корки.

В подзаголовке значится, что «Литературный Иркутск» — печатный орган Иркутской писательской организации. С июльского номера 1989 года определился редактор газеты — Валентина Сидоренко; до сей поры указывалось, кто готовил очередной номер и фамилии членов редколлегии. В мартовском номере исчез привычный многим поколениям клич «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», который еще в 1988 году набирался малоприметной нонпарелью в верхнем правом уголке. Но уже в следующем за мартовским номере, как бы во искупление греха, девиз этот отчетливо и броско возглавил клише. В последнем, декабрьском номере он исчез опять — и теперь, надо думать, насовсем — до появления другого, точно отражающего суть газеты, ее лицо. А точнее все-таки — душу. Периодичность выхода не указана, поскольку уверенности как в сегодняшнем, так и в завтрашнем дне нет ни у Валентины Сидоренко, ни у членов редколлегии. Добавлю: ни у Валентина Григорьевича Распутина — несмотря на его звания, заслуги, депутатский статус, полномочия, всенародное признание и всемирную известность. Несмотря на поддержку Иркутского обкома партии.

Редактор «Литературной России» Эрнст Сафонов на мартовском (1989) пленуме СП РСФСР пояснил собравшимся, что бумажные фонды находятся в союзном ведомстве. И сколько отпустить бумаги России, производящей едва ли не всю бумажную продукцию в стране, решать не ей — решать это будет добрый (или недобрый) дядя из какого-то союзного ведомства. Кто — до этого Э. Сафонов докопаться так и не сумел. Недобрый этот дядя наверняка плюралист, демократ (разумеется, коммунист) и противник всяческих «шовинистических изданий».

До чего ж мы притерпелись к оплеухам!.. К словесам, ставшим привычными для слуха и падающим на удобренную почву мозговых извилин. Представлю часть авторов «Литературного Иркутска», дабы читатель мог предположить хотя бы возможности их, опираясь на знакомство с творчеством каждого. Это Валентин Распутин, Владимир Крупин, Станислав Куняев, И. А. Манжигеев, Виктор Тростников, протоиерей Лев Лебедев, протоиерей Евгений Касаткин, архиепископ Иркутский и Читинский (ныне — Литовский) Хризостом, игумен Андроник (Трубачев), профессор ИГУ Н. Тендитник, поэт-фронтовик Алексей Зверев. Наконец, это... апостол Павел, Антоний Великий, Сергий Булгаков, Иван Забелин, архиепископ Лука (Валентин Войно-Ясеневский), преподаватель Московской Духовной академии Максим Козлов, Иоанн Златоуст, Павел Флоренский. А также безвестные русские люди, чьи бесхитростные рассказы о житье-бытье в лихие для страны времена записали собиратели фольклора В. П. Зиновьев, И. Зиновьева, Н. Платонова, М. Савченко, О. Шкандрий.

Целый номер (июль, 1989) газеты посвящен бурятскому народу: истории, вероисповеданию, культурным, семейным традициям, проблемам национального укрепления — и составлен при активном участии бурятского поэта Баяра Жигмытова.

Стоит сказать особо, что «Литературный Иркутск» — газета безгонорарная, и это предполагает сотрудничество с ней прежде всего подвижников, людей бескорыстных. При этом редколлегия не считает нужным повышать цену за номер: двадцать копеек. Позиция эта — принципиальная: работаем не ради наживы, а «во имя». Газета неподписная, и подписной ее сделать пока невозможно — в силу изложенных выше причин. Ищите и обрящете — если сильно повезет... Для тех же, кто воочию так и не увидел ни одного номера, поясню, что это шестнадцатиполосник формата «Недели» или «Литературной России». А для тех, кто номера в руках не держал, но готов с чьих-то недобрых уст понести дальше подвеску-ярлычок, напомню слова Юрия Селезнева, сказанные в защиту В. Белова: «А знаете, вы или не читали Белова, или же... Простите, вы не умеете читать». Ну, а коль не умеете — учитесь. Только сперва очистите душу от скверны.

«Душа по природе — христианка», — говорил Тертуллиан, но он имел в виду чистую, неискушенную душу. К неискушенной душе, к добрым чувствам и чистым помыслам с первой страницы каждого номера звучит обращение к читателю. Это своеобразные духовно-нравственные проповеди, начатые «Литературным Иркутском» задолго до аналогичных телевизионных, и тематически предваряющие номер. Приведем отрывки из некоторых обращений.

«Номер открывается тринадцатой главой послания святого апостола Павла к коринфянам. Мы утверждаем, что в высших своих проявлениях русский дух был носителем сокровенного смысла этого послания, и с остудою «Возлюби» начиналось его падение, и разыгралась очередная трагедия на русской земле. А полнее всего дух этот воплотился на Руси в старчестве. Поэтому символом стал «Пустынник» Михаила Нестерова.

Материалы последних лет нашего времени не внушают, увы, надежд на близкое светлое будущее России. И на вековечный русский вопрос «Что делать?» ответим строками живоносного послания древнего христианского апостола. Россия испокон была землею созидания.

Начнем с «Возлюби...»

Это из майского (1989) номера. А вот из декабрьского.

«Если согласиться с профессором, удивительным русским мыслителем и писателем И. А. Ильиным, Родина — это «...И то, во что излился дух. Родина есть нечто от духа и для духа. И тот, кто не живет духом, тот не будет иметь Родины; и она останется для него навсегда темной загадкой и странной ненужностью. На безродность обречен тот, у которого душа закрыта для Божественного, глуха и слепа. И если религия прежде всего призвана раскрыть души для Божественного, то интернационализм безродных душ коренится прежде всего в религиозном кризисе нашего времени». (...)

То, что наше Отечество в опасности, может быть, в самой большой на всем протяжении этого тысячелетия, смутно или явно понимают сейчас многие. Но мы попытались указать, что причины трагедии лежат не в политических или социальных кризисах, они коренятся гораздо глубже — в области духа, связаны с его высотами и безднами. Трагедия эта предсказана человечеству еще в начале его времени. Вернее, человечество, отпав от Творца, само встало на путь, ведущий к гибели. И Россия, возможно, сильнее других сопротивлялась этому пути. И слишком скорбна, потаенна и сокровенна ее судьба, чтобы о ней судили! И то, что в самом народе, пусть в исключительных, но нередких сердцах еще живы искры истинного духа, готового на воспламенение, вселяет всем надежду на спасение России».

И на этой же странице — начало очерка Валентина Распутина «Сумерки людей», название которого полярно перекликается с работой Ф. Ницше «Сумерки богов». Этот номер условно можно назвать духовно-экологическим, хотя экология и духовность в принципе понятия нерасторжимые. Равно как духовность и нравственность, духовность и культура — и так далее. Не могу себе представить, что «великие стройки коммунизма» проектировали духовно развитые люди. Проблемы Арала, Байкала, Ямала, Волги, Катуни, Ладоги ныне у всех на слуху и, наверное, кое-кому изрядно поднадоели. Между тем — воз и ныне там. Даже самоубийства в знак протеста мельком упоминаются в прессе, а читатель и к этому чудовищному аргументу в доказательство правоты начинает потихоньку привыкать. Покручинится, повздыхает, пособолезнует — в лучшем случае... В конце концов не фильм ужасов просмотрел. О повороте северных рек — теме, навязшей в зубах, есть любопытное упоминание у

доктора геолого-минералогических наук П. В. Флоренского («Человек и природа», 1989, № 9): «...Выступления против проекта переброски рек находят неожиданное соответствие в почти столетней давности научной работе моего прадеда, Александра Ивановича Флоренского, которая была посвящена проблеме обводнения Каспия».

Надо, надо перечитывать «папирусы»!..

Забытый ныне писатель прошлого столетия Я. П. Бутков так говорил на сей счет: «Если бы Природа производила людей, сообразуясь с будущим значением их в обществе, она предупредила бы многие бедствия, удручающие род человеческий». А русский мыслитель Н. Ф. Федоров оптимистично полагал, что «природа в нас начинает не только сознавать себя, но и управлять собою: в нас она достигает совершенства или такого состояния, достигнув которого она уже ничего разрушать не будет, а все в эпоху слепоты разрушенное восстановит».

То, что мы подошли к грани, за которой начинается преисподняя, показал и Московский глобальный экологический форум, на котором генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр отчетливо произнес: «Человечество находится на краю гибели». Советский биолог А. Яблоков, назвав граждан планеты «гражданами Всемирных Загрязненных Штатов», привел такие цифры: «В крови современных людей количество свинца в сотни раз больше допустимой нормы. Сокращение озона на 1 процент ведет к увеличению числа заболевших раком кожи на 5 процентов. Только в нашей стране по этой причине заболевают раком около 10 000 человек ежегодно».

Наверняка каждый из живущих на земле читал или слышал самые мрачные прогнозы будущему человечества, своей стране, своему народу, своим кровным потомкам — роду своему. Но человечество в целом, народ — слишком устойчивая система, чтоб его пронять даже предсмертным криком. «Сказать: учитесь, развивайтесь — это все равно что воскликнуть: покайтесь, братья! — размышлял Г. В. Плеханов. — Время идет, а мы что-то плохо каемся. Очевидно, существуют какие-то общие принципы как нашей неразвитости, так и нашей нераскаянности. Пока не открыты и не указаны эти общие причины, до тех пор проповедь знания не принесет и сотой доли тех плодов, которые она способна принести».

Одним из этих общих принципов, как мне кажется, является принцип формирования общественного мнения, умелое манипулирование им, расстановка акцентов и нагнетание *атмосферы*. Безусловно, сюда нужно подключить и категорию времени: в течение какого срока происходит это формирование. Чем дольше срок — тем гуще *атмосфера*. Не буду ссылаться ни на один источник, но скажу, что в качестве совершенно особого понятия слово это использовалось неоднократно десятками авторов. Например, когда со страницы газеты читательница вопрошает: «В какой атмосфере воспитываются наши дети?!» — всем ясно, что речь идет не о химическом составе воздуха. И если и скажу, что мы живем в атмосфере глобального равнодушия к русской (и иным национальным) культуре, то читатель тоже поймет.

Отдельные усилия отдельных людей, ратующих за ее спасение и возрождение, небесполезны, но в то же время зачастую плачевны: на пути стена непонимания. Вспомним пушкинского Петю Гринева, не получившего практически никакого воспитания (смотри первую главу «Капитанской дочки»), но обладавшего при том несгибаемым понятием о Чести, Достоинстве, Долге! Ведь хоть зашибись — не найдешь у Пушкина даже намека на то, что эти высокие качества в нем кем-то воспитывались намеренно. Лишь — отцовский наказ перед разлукой, несколько слов. Думаю, начитайся Петя нашей лево-радикальной прессы об армии, пропитайся он эстрадной иронией, не щадящей (чуть не сказал — родной) чужой матери, насмотрясь «пóрников», заучи с десяток эстрадных шлягеров — словом, вкуси он в полной мере все блага нашей цивилизации, — иную повесть пришлось бы писать А. С. Пушкину...

«Отчего туги двери покаяния? — спрашивал в одной из проповедей протоиерей Родион Путятин. — Оттого же, между прочим, отчего всякие двери могут делаться туги: долго не отворяй дверей каких-нибудь, долго не ходи в них — они и окрепнут, туги сделаются, и не скоро отворишь их».

Из мартовского номера — обращение к читателю: «...Культура неразрывно связана с памятью. Память вложена и в символику храмов, народного костюма, в узоры на рушниках. Деревенские сказительницы, знавшие сотни песен и легенд, семейские уставщики-ревнители духовных и нравственных устоев в своем толке, плакальщицы на похоронах, знатоки свадебных обрядов — все это были собиратели первородной культуры, драгоценные ее ларцы. (...)

Так случилось, что культура, сорвавшись с горних материнских вершин, истрепалась, как всякая блудная дочь, и выродилась в антикультуру с самодовлеющей разрушительной идеей смерти!

Поэтому важно сейчас неустанно и кропотливо разгребать забитые нашим самонадеянным невежеством родники духовности и собирать по крупицам и возвращать народу бесценный человеческий опыт».

Готов подписаться под каждой строкой этого «шовинистического» обращения, изменив лишь концовку: ...*каждому* народу *его* бесценный опыт. Конкретности для.

Помещенный здесь очерк В. Г. Распутина «Культура: левая, правая где сторона?» подписчики «Нашего современника» могли прочесть в № 11 за 1989 год (название переиначено), но тем не менее хочется привести оттуда несколько строк, созвучных приведенным выше в их дополняющих. «То, что называет себя иной раз культурой, что рядится в ее одежды, не имея сути, бывает или самозванством, или подражательством, проходимством. Это волк из известной народной сказки, перековавший грубый голос на тонкий, чтобы выдать себя за мать семерых козлят».

Но этот этап, уважаемый Валентин Григорьевич, уже позади. Сегодня волк не скрывается, что он — волк, и убеждает козлят, что мать их, коза, — дура набитая, серая животинка, которой давно указан путь на живодерню!.. А он, волчара, их духовный папа и пришел затем, чтоб усладить козлиную житуху и сделать будни сплошными праздниками.

Константин Сергеевич Аксаков справедливо считал, что «без зерна не вырастишь дерева, без зерна можно сделать только искусственно раскрашенное дерево, с натыканными глиняными плодами и бумажными цветами». То, что «зерном» любой культуры считается духовное накопление того или иного народа, — казалось бы, сомнений не вызывает. Но не стоит забывать при этом, что современные возможности позволяют лепить искусственные плоды отнюдь не из неаппетитной глины, а цветы — не только из бумаги, а современные поклонники «массовой культуры» (до чего же дикий и неестественный термин!) взросли на отравленном молочке и в сочетании «натуральный дерматин» не способны разглядеть усмешку. Митрополит Иларион в «Слове о Законе и Благодати» (1-я пол. XI века) утверждал, что русский народ уже достиг той степени развития, на которой идеал духовной свободы открыт и его сознанию, и это дает ему право исполнять свою историческую миссию: утверждать идеал свободы и равноправности всех народов. Сейчас — конец века XX. Идеал духовной свободы, каким понимал его Иларион, вывернут наизнанку: икона повернута ликом к стене, а досточтимые «искусствоведы» делают вальяжный жест: сами, мол, видите — обыкновенная деревяшка, молитесь на нее, если желаете...

Чему учили «отцы Церкви»? В чем смысл «русской идеи»? Какова роль православия в формировании русской культуры? Знаем ли мы об этом?.. Да, сейчас в любой газете можно найти без особого труда сообщение о тех или иных делах церковных. Но что, кроме голой информации, может извлечь из них читатель! Но вот читает атеист ли, верующий ли слова Антония Великого: «Люди обычно именуются умными по неправильному употреблению сего слова. Не те умны, которые изучили изречения и писания древних мудрецов, но те, у которых душа — умна, которые могут рассудить, что добро и что зло; и злого и душевредного убегают, а о добром и душеполезном разумно радеют...» — и не находят в них никакого «мракобесия», никакого «опиума для народа».

Но что ж такое «душа» в религиозном понимании? Архиепископ Лука отвечает: «...Душу можно понимать как совокупность органических и чувственных восприятий, следов воспоминаний, мыслей, чувств и волевых актов, но без обязательного участия в этом комплексе высших проявлений духа, не свойственных животным и некоторым людям». Я замечал, что чаще всего неприятие тех или иных мыслей находится в прямой зависимости от того, *кто* их автор. Этот стереотип мышления по крепости не уступает базальту или доломиту, особенно у политизированной части населения. Доложи, что сказал это Маркс, — кивнет: «Великолепно сказано!» Поправься: извини, мол, перепутал: это архиепископ Лука. — сплюнет и пробормочет: «Зачем ты эту дребедень читаешь». Однажды, каюсь, провел такой эксперимент: поклоннику Пастернака прочел известнейшее стихотворение «На ранних поездах», выдав его за стихотворение Станислава Куняева. Поклонник оказался липовым, поскольку не узнал руки Бориса Леонидовича. Оценка была следующей: «Обыкновенное славянофильское дерьмо!» Я сказал, что ошибся и что стихотворение это принадлежит Пастернаку. Мой визави усмехнулся: «Пастернак (пауза!) никогда не написал бы подобного бреда». Комментировать сие не буду... Возвращаясь к Луке Феликсовичу, скажу, что этот нематериалист написал более 50 научных трудов по медицине, а труд его «Очерки гнойной хирургии» удостоен в свое время государственной премии.

По словам В. Г. Распутина, «поначалу для нашей аудитории духовная тематика в подаче религиозных деятелей была неожиданностью, а для некоторых — даже шоком». Замечу, что интервью с проститутками, наркоманами и педерастами (нашими! отечественными!), замелькавшие на страницах молодежной (и не только) прессы и на экранах телевизоров, подобного шока не вызвали. Любопытное сопоставление!..

«Высшей битвой» называл Н. В. Гоголь битву «за нашу душу». И возразить тут нечего. С переменным успехом сопровождала эта битва все развитие русской культуры, все течение русской жизни. И сегодня, когда она едва ли не проиграна, пусть не своевременно, но грянул гром — и многие перекрестились.

— Наша газета — совершенно определенной направленности. Духовной направленности, — говорит Валентин Григорьевич. — Сегодня мне это кажется наиболее важным, наиважнейшим. И хотя трудностей впереди все больше, сворачивать с начатого пути мы не намерены.

Я спросил: откуда исходит наибольшая опасность закрытия «Литературного Иркутска»? Ответ Распутина был неожиданным:

— От общественного террора.

То есть опять-таки — атмосфера. Агрессивная атмосфера неприятия, подавляющая, подминающая, выкликающая: «А нарррод не желлает!..» Как не вспомнить по этому поводу строки М. Ю. Лермонтова:

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья, —
В меня же близкие мои
Бросали бешено каменья.

«СЛОВО»-91

В последний год редакция «Слова» вместе с подписчиками, — полемизируя и обсуждая, — искала новый образ и тип литературно-художественного, иллюстрированного «тонкого» журнала, отвечающего высоким духовным потребностям читателей. Однако подобные издания редкость не только у нас, а и в мировой практике. Но нам кажется, что мы все же приближаемся к желаемой модели.

Широкое представительство авторов книжных новинок, разнообразие и неожиданность литературных произведений, в том числе мало или совсем недоступных, возвращаемых из зарубежья и спецхранов, из-под идеологических пломб, — вот наш принцип. Мы не всегда имеем возможность печатать целиком большие произведения. Потому наше правило — представлять авторов и указывать верный адрес в выборе литературных, исторических, философских первоисточников. Это делает наше издание единственным, уникальным своеобразным литературно-художественным «дайджестом» — путеводителем в современном отечественном и мировом книжном мире.

В оставшихся до конца года номерах читатели познакомятся:

— с отрывками из воспоминаний Айседоры Дункан и «Параллельной истории СССР» Луи Арагона;

— с продолжениями романа А. Дюма (отца) «Последний платеж», повести Д. Жукова «Встречи с ясновидцами», исторического произведения Д. Мордовцева «Великий раскол»;

— с окончаниями воспоминаний фрейлины ее величества Анны Вырубовой и личного секретаря Григория Распутина Арона Симановича.

Наряду с постоянными рубриками, которые вызвали наибольший интерес читателей, такими, как «Духовники», «Русская мысль», «Исповедь», «История», «Народные мемуары», «Планета», «Жития святых», «Вечные спутники», «Таинства магии», «Истоки»,

«СЛОВО» — 91 ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ РАЗДЕЛЫ

— «Террор и гражданская война» (продолжение рубрики «От Февраля до Октября») — свидетельства очевидцев и участников по материалам редчайших изданий 20-х годов, таких, как «Архив русской революции» Гессена (Берлин), «Архив гражданской войны» (Берлин), «Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев» (сост. С. А. Алексеев, М. — Л., Госиздат). Журнал предоставит свои страницы Центральному государственному архиву Октябрьской революции, который откроет постоянный раздел — не публиковавшиеся в нашей стране материалы зарубежных архивов русской эмиграции;

— «Народная жизнь» — своеобразный «Домострой XX века», сведения, как строить, как созидать свой дом, свою семью, свою жизнь, основываясь на вековых традициях, на философских и нравственных идеалах народа, причем часть публикаций составят материалы из готовящейся «Русской энциклопедии»;

— «Популярные издательские серии», где читатель познакомится с наиболее интересными, актуальными книгами, готовящимися к печати.

«СЛОВО» — 91 ТРАДИЦИОННО ПОСВЯЩАЕТ

№ 6 — Александру Сергеевичу Пушкину,
№ 9 — Льву Николаевичу Толстому,
№ 12 — Федору Михайловичу Достоевскому.

А в № 5 отметило 100-летие Михаила Булгакова публикацией оригинальных материалов о жизни и творчестве писателя.

В «СЛОВЕ» — 91 БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ

— заинтересованный разговор о Слове, о живой речи, о языке литературном и языке нашего общения;

— вернисажи художников и фотомастеров, книжных графиков и иллюстраторов, которым в каждом номере отводится цветная вкладка;

— викторины, игры, конкурсы, связанные с выдающимися книгами, известными писателями, их творчеством и судьбой. По традиции победителей ждут призы.

В следующем году будет продолжена «Библиотечка журнала «Слово», начатая репринтными книгами-приложениями «Окаянных дней» И. А. Бунина и «Воспоминаний» фрейлины ее величества Анны Вырубовой.

В старом каталоге «Союзпечати» в разделе центральных журналов ищите «Слово» под прежним названием «В мире книг», индекс 70110.

«ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ»
—писательская газета для всех

На страницах еженедельной газеты Союза писателей России:

— народная жизнь: политические события, социальные проблемы, уклад, традиции;
— экономика, нравственность, экология;
— история Отечества;
— новинки прозы и поэзии;
— литературный процесс: развитие и болевые точки;
—литературные споры и размышления;
— культура: вчера, сегодня, завтра;
— панорама современного искусства;
— мир глазами писателя;
— из неопубликованного и забытого;
— русское зарубежье;
— хроника деятельности Фонда восстановления храма Христа Спасителя;
— гипотезы, догадки, предположения;
— суд, мораль, право, уголовная хроника;
— библиотека приключений, детектива, фантастики;

Подписка на «Литературную Россию» не ограничена.

Подписной индекс еженедельника ищите в каталоге в разделе республиканских изданий.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1990 И В 1991 ГОДУ ВЫ ПРОЧТЕТЕ В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

РОМАНЫ

Юрий БОНДАРЕВ. "ИСКУШЕНИЕ"
Валентин ПИКУЛЬ. Роман о Сталинграде

ПРОЗУ МОЛОДЫХ

В. АСТАФЬЕВ представит повесть Юрия МИТРОФАНОВА **"Снежная пыль"**
В. РАСПУТИН – повесть Николая ПОПКОВА **"Чужая песня"**

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Виктора АСТАФЬЕВА, Василия БЕЛОВА, Николая БЛОХИНА, Бориса ЕКИМОВА, Владимира КРУПИНА, Юрия ЛОЩИЦА, Валентина РАСПУТИНА, Вадима САФОНОВА, Владимира СОЛОУХИНА, Николая СТАРШИНОВА, Анатолия ТКАЧЕНКО, Бориса ШИШАЕВА, Бориса УКАЧИНА, Николая ШИПИЛОВА и других.

"Б. САВИНКОВ и В. РОПШИН. ПИСАТЕЛЬ и ТЕРРОРИСТ" – статья **Дмитрия Жукова** о судьбе "генерала террора" – Б. Савинкова (литературный псевдоним – В. Ропшин) и об истории терроризма в России начала XX века.

ТРАГЕДИЯ РОССИИ И ГИБЕЛЬ ПОЭТА –
к 95-летию со дня рождения С. ЕСЕНИНА: **А. Ремизов** – "Слово о погибели Русской земли", воспоминания о Есенине **А. Ахматовой**, новые материалы о жизни и смерти Сергея Есенина из советских архивов и библиотеки Конгресса США.

"РУСОФОБИЯ": ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ – новая статья **Игоря Шафаревича.**

ТРЕТИЙ ПУТЬ – исследование о религиозно-этических корнях русской экономики **Юрия Бородая.**

МАФИЯ В ПЕРЕСТРОЙКЕ? – статья **Анатолия Салуцкого** о современной политической ситуации.

ЛЕЧЕНИЕ ШОКОМ: ВЫЖИВЕТ ЛИ РОССИЯ? – актуальная работа доктора экономических наук **Алексея Сергеева.**

СУМЕРКИ ЛЮДЕЙ – эссе **Валентина Распутина.**
ОТ ПУШКИНА к БУЛГАКОВУ – ТЕМА БЕСОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ – новое исследование **Петра Паламарчука.**

ПОСЛЕДНИЙ ШАГ К НИГИЛИЗМУ – критические заметки **Вадима Кожинова** о литературе "третьей волны" эмиграции.

А. СОЛЖЕНИЦЫН – ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ – новая статья **Владимира Бондаренко.**

Под рубрикой "Не хлебом единым" –
Фудель – Церковь в сталинских лагерях; **о. Лев Лебедев** – о высокой и трагической судьбе русской Церкви;

"БУДУЩЕЕ РОССИИ И КОНЕЦ МИРА", "ПРАВОСЛАВИЕ – РЕЛИГИЯ БУДУЩЕГО" – религиозная публицистика американского иеромонаха **о. Серафима** (Роуза);

"РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ВНОВЬ ПОД УГРОЗОЙ..." – статья **Игоря Бочковского-Скарбека;** работы Оптинских старцев.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ П. А. СТОЛЫПИНА – исследование **В. Жадилягина.**